И. КАЛИНИН

РУССКАЯ ВАНДЕЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1926

Сергей Пожарский

И. КАЛИНИН

РУССКАЯ ВАНДЕЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

Гиз № 11475.
Ленинградский Гублит № 18027.
$22^3/_4$ л. Отп. 5,000 экз.

Русская эмиграция на Балканах с весны 1922 года раскололась. Одна ее часть, по преимуществу эмигрантские низы, уяснив себе правду новой русской жизни, отрясла прах от белогвардейского стана и устремила свои взоры к родным берегам; другая — попрежнему мечтала о походе на Москву и о восстановлении в России старых порядков, включительно до прежнего образца солдатских пуговиц.

Идеологическое расхождение в коренном вопросе об отношении к Советской власти не могло не породить ожесточенной распри между частями эмиграции. И, действительно, с осени 1922 года в Болгарии, где сосредоточилось громадное число бывших врангелевцев, среди русских возникло нечто в роде гражданской войны. В ответ на призыв возвращаться на родину с веткою мира, сторонники каленого железа и намыленной веревки организовали ряд покушений на тех более или менее видных лиц, которые возглавляли репатриационное движение.

Из числа этих последних особой ненавистью ревнителей России № 2 пользовался автор настоящей книги, бывший военный юрист, полк. Иван Михайлович Калинин, служивший в период гражданской войны по своей специальности на Дону. Покинув в 1921 году врангелевские лагери, он немедленно выступил с устной и печатной агитацией против вовлечения эмиграции в новые военные авантюры. В 1922 году, преследуемый по пятам сворою агентов Врангеля, не гнушавшихся прибегать ко всевозможным средствам расправы с «изменником долгу», — И. М. Калинин объехал все более крупные эмигрантские центры для чтения своего доклада «Что нам делать», в котором указывал на необходимость примирения с Советской властью, как на гражданский долг каждого русского человека.

В ноябре 1922 года под аккомпанемент злобных выкриков белогвардейщины, только что уничтожившей из-за угла Ал. Мих. Агеева, тоже видного деятеля по репатриации, в г. Софии собрался съезд эмигрантских низов, который окончательно отмежевался от всякой связи с прошлым

изданием особой декларации. На съезде была избрана делегация в Москву, с целью ходатайствовать перед центральным Советским правительством о скорейшей перевозке в Россию новых советских граждан. Тов. Калинин прибыл в Москву в составе этой делегации и, по окончании своей миссии, остался в России, получив полную возможность работать на том поприще, которое ему было по сердцу, т.-е. научном и педагогическом.

Редакция.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Записки современника, подобные изданным ранее «Под знаменем Врангеля», «В стане братушек» и издаваемой сейчас «Русской Вандее», должны быть признаны очень ценными: для того поколения, которое гражданскую войну сознательно не переживало и в ней не участвовало, они дают то, что не сможет дать никакой историк, — бытовую картину классовой битвы, которую вела и проиграла против рабоче-крестьянского государства вооруженная контр-революция.

Изображение быта разлагающейся контр-революции автору удалось хорошо. Ярко и живо описанные сценки, нравы и типы, сопровождаемые к тому же многочисленными выдержками из литературных документов контр-революции, рисуют яркую картину отвратительного гниения старой России. Историк это сделать не сможет, так как уже теперь, хотя прошло с тех пор всего пять лет, мы настолько далеко шагнули вперед, что из памяти начинают исчезать события той эпохи, которую описывает автор. В этом основная ценность издаваемых записок.

Однако, теперь мы не можем уже ограничиваться наблюдением только того, что плавало на поверхности и бросалось в глаза современнику.

Так, например, говоря о Махно, автор изображает его как простого бандита, привлекающего на свою сторону раздачей награбленного имущества. Такая оценка махновщины должна быть признана верной по отношению к махновщине второй четверти 1921 года. Но было бы ошибкой за бандитизмом Махно 1919 — 1920 года не заметить массового крестьянского восстания против генеральско-помещичьей диктатуры. Это крестьянское восстание, поскольку оно не было подчинено организованному руководству пролетариата, давало почву для проявления бандитизма, но не бандит Махно бил здесь бандитов Деникина, а крестьянство било здесь помещиков. Этого мы не должны забывать, когда читаем заметки И. Калинина о Махно и зеленых.

Автор и не мог дать такого освещения, какое даем мы, так как он дает только свои непосредственные наблюдения, ценные прежде всего именно своей непосредственностью. Но читатель должен, читая записки И. Калинина, помнить об этих классовых процессах.

Что лежало в основе той борьбы, которую описывает автор? Наиболее кратко формулируя, можно ответить: борьба за крестьянство между буржуазно-помещичьим блоком с одной стороны и пролетариатом — с другой. Краткое рассмотрение основных моментов этой борьбы мы и должны предпослать запискам И. Калинина. Без этого будут неясны причины тех смен побед и поражений на фоне общего развала контр-революции, картину которого так живо изобразил автор.

«Триумфальное» наступление красных сил в начале 1918 года, приведшее к самоубийству Каледина и к уходу в степи жалких остатков донской армии и «первопоходников»-добровольцев, сменилось воссозданием донской армии Краснова с помощью германского империализма в середине 1918 года.

Причина этого — не только помощь германского империализма. Эта помощь попала на подготовленную почву казацких восстаний, возникших тогда, когда на очередь дня стал вопрос об использовании полученного в Октябре, т.-е. и о борьбе за землю с иногородними. Здесь триумфальное шествие Октября, смахнувшее без всякого труда Каледина, сменилось обостренной гражданской войной казачества в союзе с Деникиным с одной стороны и крестьянства в союзе с пролетариатом — с другой.

В первом из этих двух враждебных друг другу союзов с самого начала были заложены корни разложения.

Казачество в массе своей не хотело возрождения старой помещичьей монархии. Оно желало сохранения привилегий, полученных от монархии, но не хотело монархии, т.-е. тех обязательств, которые накладывала монархия на казачество. Оно хотело сохранить привилегии особого военного сословия, но не хотело нести тяжести военной службы.

Наиболее зажиточная часть казачества и раньше сумела привилегии взять себе, а обязанности переложить на массу трудового казачества. Теперь на этой почве развивалась борьба внутри казачества, его расслоение, разлагавшее сословную цельность и приводившее к борьбе казаков Буденного против казаков Мамонтова.

На этих противоречиях выросли казацкие правительства Дона и Кубани с их «парламентами», похожими, говоря словами Маркса, «на того чилийского чиновника, который

посредством кадастрового межевания полей хотел основательнее урегулировать земельные отношения в то самое время, как подземный гром уже возвестил о вулканическом извержении, которое должно было взорвать почву под самыми его ногами».

Почва, как мы видим, сама по себе была в достаточной степени непрочной. К тому же элементы разложения коренились в самом союзе казацких правителей с Деникиным. Автор дает чрезвычайно яркие материалы об этом.

Союз с деникинщиной неудержимо вел к разложению казацкую контр-революцию.

Что из себя представляла деникинщина? Это была вооруженная организация буржуазно-помещичьего блока, в котором гегемония принадлежала крепостникам-помещикам. Партия буржуазии — кадеты — играла довольно видную роль в стане Деникина. Но что осталось от их «либерализма»? Что осталось от их «борьбы» с крепостничеством? Напрасно мы старались бы найти у кадетов хоть тень их буржуазной самостоятельности. Ее не было. Автор очень удачно изображает деникинщину: «если не бывший царский генерал-адъютант или сенатор, то эластичный, с черносотенной прослойкой кадет, напуганный революцией».

Деникинщина — это не только борьба с пролетарской диктатурой, но и борьба с февральской революцией, со всякими реформами, подрывающими интересы крепостников-помещиков. Буржуазия уже по одному этому не могла повести за собой крестьянство, что она сама шла за злейшим врагом крестьянина—крепостником-помещиком. И если были периоды, когда крестьянская масса выступала на борьбу с пролетарской диктатурой, — так было весной 1919 года, и это дало возможность Деникину начать свое наступление на Москву, — то все же при выборе между диктатурой пролетариата и диктатурой помещика крестьянство даже в своей зажиточной части становилось на сторону пролетариата. Ибо иного выхода не было.

Деникинщина ежечасно ставила крестьянина в то положение, которое привело его к союзу с пролетариатом в Октябре 1917 года, так как ставила его лицом к лицу со старым знакомым — крепостником-помещиком. Этот момент недостаточно освещен автором. Пожалуй поэтому автор выбрал не совсем верное название своей книги — «Русская Вандея». Именно на отсутствии Вандеи, т.-е. монархического движения крестьянства, сломал себе голову Деникин, а вместе с ним и буржуазная, казацкая контр-революция.

Жаль, что автор не дает в этой книге тех течений в деникинщине, которые пытались наметить путь к построе-

нию монархии не на основе помещичьего землевладения, т.-е. сделать возможным союз монархии с крестьянством. Из этих течений выросла позднее врангелевщина. К чему привела эта попытка, нам известно, и тот же автор в другой своей книге («Под знаменем Врангеля») дает не менее яркую картину разложения врангелевщины.

Отсутствие Вандеи в «Русской Вандее» — вот основа, на которой плавала та гниль, которую великолепно изобразил автор.

К этому нужно добавить еще, что монархическая контрреволюция означала не только подавление крестьянства, но и подавление национальных и казацких автономистских окраин. Это приводило к тому, что Деникин должен был завоевывать Москву, так как без Москвы, без этого центра великодержавия, нечего было думать о подавлении «хведерастов». А для того, чтобы завоевать Москву, нужно было наметить такую опору в окраинах (против которых был направлен поход на Москву), чтобы подавить с ее помощью крестьянское движение не махновского, а советского типа. Для наступления на Москву нужно было укрепить тыл (мнение Сидорина), а для укрепления тыла по-деникински нужно было завоевать Москву.

Из этого круга противоречий вывела Деникина... Красная армия. Теперь Деникина эти противоречия наверно не мучают. Они отошли в область истории.

Но и теперь интересно и полезно читать описание той гнили, которая выросла на основе этих противоречий.

Ан. Анишев.

I.

В КОНЦЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Мировая война для России кончилась.

Кавказская армия, оккупировавшая Турецкую Армению, расползлась вскоре же после Брестского мира. Сформированные на замену ей в начале 1918 года национальные корпуса, — армянский, грузинский, русский,—не выдержали натиска турок, которые чуть не голыми руками отобрали не только свою территорию, но и приобретенные Россией по Сан-Стефанскому договору Карсскую и Батумскую области.

Закавказьем со времени Октябрьского переворота управлял так называемый особый закавказский комиссариат, состоявший из представителей трех главнейших национальностей края — грузин, армян и татар, — по преимуществу меньшевиков и эс-эров. Военная неудача, в связи с бесконечными междупартийными спорами, и вечная национальная вражда вызвали быстрый распад этого эфемерного государственного образования. К лету 1918 года Грузия, Армения и Азербейджан представляли из себя самостоятельные республики.

В Грузии воцарились меньшевики.

Вчерашние российские министры в социалистическом кабинете Керенского, гг. Церетели, Чхенкели и др., очутившись у себя на родине, поспешили провозгласить лозунг: «Грузия для грузин» и начать преследование иноплеменников. Для русских людей, проживавших в этой новоявленной республике или постоянно, или временно, в связи с мировой войной, настали черные дни. Бесчисленные общегосударственные учреждения спешно ликвидировались. Десятки тысяч русских остались без хлеба.

На беду на Северном Кавказе началась гражданская война. Да и вообще выехать туда мешали разбойники-горцы, которые засели в ущельях по Военно-Грузинской дороге и никому не давали ни прохода, ни проезда. Пароходство по Черному морю замерло еще с осени 1914 г.,

а железная дорога от Баку вдоль Каспийского моря была почти сплошь разрушена.

В Тифлисе, где более всего скопилось русского люда, образовалась пробка.

Перед всеми «великодержавниками»—так травила меньшевистская пресса русских—стоял роковой вопрос:

— Что делать? Куда деться?

А самое главное:

— Чем наполнить завтра свой желудок?

О том, что происходило внутри России, эти новейшие кавказские пленники имели весьма смутное представление. Сущность Октябрьского переворота мало кто уяснял себе. Больше судили скондачка, а еще больше—вторя меньшевистской волынке.

По обыкновению плохо разбиралась в политических вопросах военщина, привыкшая мало думать и много делать по приказанию начальства.

Когда в штабе Кавказской армии, квартировавшем в г. Эрзеруме, было получено известие об Октябрьских событиях в Петрограде, некоторые офицеры искренно радовались, хотя природа большевизма для них осталась неведомой. При посещении штаба мне нередко приходилось слышать такие речи:

— Слава тебе, господи! Наконец, кажется, пришла твердая власть. Будет хоть какой-нибудь порядок.

Истеричный, многоречивый и расхлябанный Керенский вызывал у большинства настоящих военных людей гадливое ощущение тошноты. Твердый, решительный голос большевиков и их энергия импонировали всем тем, кто сами не расхлябались в хаосе мировой войны и февральской революции. Надо было явиться в Закавказье гг. Чхеидзе, Чхенкели, Церетели и др., чтобы привить здесь злобу к большевикам и окрасить в белый цвет многих офицеров Кавказской армии, которые при иных условиях спокойно продолжали бы служить новой власти, как служили только-что свергнутому правительству Керенского.

Но г. г. меньшевики-грузины, достойные сподвижники «главноуговаривающего», оставшись не у дел в Петрограде, поспешили прибыть на родину и открыли здесь свою говорильню, в результате которой Закавказье сначала отвергло Октябрьскую революцию, а затем и вовсе отложилось от России.

После всех этих меньшевистских экспериментов русские на Кавказе остались без родины, без авторитетной власти, которой могли бы подчиняться, и без куска хлеба.

Нечего и говорить, что обездоленный русский элемент, к тому же ранее привыкший к положению хозяев, каждую

минуту заставлял чихать новых грузинских владык, зло подтрунивая над ними и над всеми порядками новорожденного государства.

— Кукурузная республика!

Так окрестили русские детище меньшевиков чуть ли не в первый день появления его на свет.

Это крылатое словечко оказалось жизнеспособнее и долговечнее меньшевистской Грузии.

Посмеяться было над чем, особенно когда Грузию оккупировали немцы, призванные Чхенкели, Церетели и К° для защиты ее от турок и от большевиков.

— Наши «союзники» пришли! — радостно восклицали головотяпы.

Союзники, однако, повели себя завоевателями.

Каждый немец, занимавший мало-мальски ответственный пост, без стеснения требовал к себе грузинских министров, благо их насчитывалось шестнадцать. Одних только министров без портфеля было трое.

Министры-меньшевики совершенно зря лили рекой шампанское и до утра отплясывали лезгинку для потехи союзников. Последние охотно разделяли эти удовольствия, но еще охотнее реквизировали разное добро, доставшееся Грузии в наследство от русской армии, и отправляли его в голодающий Faterland.

Грузия тоже истощалась. Начал сказываться недостаток хлеба.

Боны все ниже и ниже падали в цене. По странной случайности фальшивые закавказские деньги появились в обращении на сутки раньше, чем настоящие. Фальшивомонетчики работали чуть не открыто в одной из лучших типо-литографий на Головинском проспекте.

Для усиления государственных доходов правительство разрешило свободную продажу питей и, сверх того, само начало торговать винами из национализированных удельных подвалов. В Тифлисе, по мере того как убывал хлеб, пьяное море все более и более выходило из берегов. В Душетском уезде, в каких-нибудь 30—40 верстах к северу, грохотали пушки, усмиряя восстание крестьян, недовольных меньшевистскими порядками. А в столице, отрезанной ото всего мира, за исключением далекого Faterland'а, царил небывалый разгул. Казалось, все миллионное население города только и делает, что пьет, поет и пляшет, справляет длительный карнавал.

Больше всего прожигали свою жизнь и свои последние гроши русские офицеры. Их подчиненные, «серая скотинка», давно уже перекочевали за Кавказский хребет и частью пробрались к родным очагам, частью вступили в ряды

Красной армии и воевали против казаков и корниловских добровольцев, восставших против власти Советов. Другие в Тифлисе ударились в спекуляцию, хотя правительство велеречиво объявило, что всякий спекулянт есть тот же контр-революционер. Конечно, никакому другому наказанию, кроме этого позорного титулования, спекулянты не подвергались.

Сам последний главнокомандующий Кавказского фронта генерал Лебединский подал крайне некрасивый пример своим подчиненным. Грузинское правительство пока еще терпело этого высшего русского военачальника как главу ликвидирующихся военных учреждений. Предвидя скорый конец своей эфемерной власти, ген. Лебединский открыл довольно шикарный сад-ресторан под названием «Стелла». Днем он очень усердно подписывал приказы о производстве того или иного офицера в следующий чин; вечером наживался от произведенных, которые не могли не ознаменовать этой высочайшей милости пирушкой в начальнической «Стелле».

Число питейных заведений, открытых золотопогонными предпринимателями и обреченных на весьма скорую гибель, росло обратно пропорционально средствам предполагаемых посетителей. На каждой мало-мальски приличной улице красовалось по дюжине изящных, уютных ресторанов, украшенных мебелью генеральских гостиных. Все незастроенные местечки на берегах мутной Куры покрылись цепью досчатых балаганчиков, где продавалось все, до женской любви включительно.

Быстро наживались офицеры — владельцы комиссионных магазинов, по преимуществу опытные хозяйственные крысы. Недальновидная строевщина продавала при их посредстве порою последний нательный крест, рассчитывая, что в магазине своего брата-офицера можно выручить более, чем у авлабарских [1] армян.

Деморализация все более и более охватывала русские круги. Мыслящие, более культурные люди открыто обвиняли главнокомандующего, предпочитавшего виноторговлю заботам о судьбе подчиненных. Его влиятельный голос мог бы подсказать то или иное решение офицерам, которым приходилось «самоопределяться».

Тифлисская пресса приложила в свою очередь все свои старания к тому, чтобы внести еще больший сумбур в умы военщины, выбитой из обычной колеи и не знавшей, где голову преклонить.

---

[1] Квартал г. Тифлиса, где находится базар.

— Неслыханные зверства большевиков! Поголовное истребление интеллигенции в Советской России! Поголовное уничтожение офицерства! — вопили газеты в роде желтого «Тифлисского Листка».

Писали, что на ст. Армавир большевики вытащили из вагона известного на Кавказе генерала Раддаца и перепилили его пополам. Позднее я узнал от спутников этого генерала, человека нервного и впечатлительного, что он сам застрелился, когда красногвардейцы, войдя в вагон, заметили офицеров и стали срывать у них погоны.

Сведения о большевистских порядках передавались одно чудовищнее другого. Люди, только-что выбравшиеся из дебрей Турецкой Армении и мало знакомые с ценностью сообщений «собственных корреспондентов», невольно верили всей той ахинее, которую преподносили газеты. Проверить не было никакой возможности.

У большинства пропадала охота выбираться в Россию. Но и «огрузиниваться» никому не хотелось, так как, при незнании местного языка и в виду недоверия грузинских властей к русским людям, этот акт не сулил выгод.

В самом начале формирования особой грузинской армии глава ее, генерал Квинитадзе, чувствуя необходимость в технических работниках, предложил всем чинам старого штаба Кавказского фронта продолжать работу в качестве слуг грузинского правительства. К своему удивлению он встретил резкий отпор.

— Не понимаю, — откровенно заявил генерал, — чего вы церемонитесь? Ведь служили сначала царскому правительству, затем Керенскому, потом закавказскому комиссариату. Отчего бы не попробовать счастья на службе республике Грузии! Не все ли равно?

Штабное офицерство, жители Тифлиса, находилось в лучших условиях, чем вернувшаяся с фронта в незнакомый город строевщина, давно уже не получавшая жалованья. При этом на штабных оказывало некоторое влияние общественное мнение русских кругов. Наконец, самое главное, они уже непосредственно чувствовали в штабе хозяйскую руку офицеров-«кинто», в отношении которых им готовилась роль простых пешек.

Всем этим, вместе взятым, объясняется проявление штабного патриотизма.

В начале 1918 года закавказский комиссариат сформировал было немногочисленный «русский» корпус под командой полк. Драценко. Этот первый опыт офицерского кондотьеризма не дал желанных результатов. Пока еще существовал закавказский комиссариат, правивший осколком России, но все же России, «русский» корпус кое-как

сражался против турок. Когда же грузины формально отделились от России и началась «грузинизация», этот корпус сделался опасным для существования молодого самостоятельного государства. Меньшевики боялись, как бы им не воспользовались русские контр-революционные генералы или большевики для свержения местной власти. Поэтому опасное войско удалили из Тифлиса и разоружили после ряда скандалов.

Негодование меньшевиков на русских офицеров возросло до апогея, когда некий летчик, русский офицер, поступивший в грузинскую армию, уселся в одно прекрасное утро на аэроплан в Навтлуге, предместье Тифлиса, поднялся выше облаков и улетел через Кавказский хребет к большевикам.

Ген. Квинитадзе заклеймил этот поступок громовым приказом.

На тифлисских улицах стало все больше и больше появляться оборванцев в офицерских погонах. Иные из них открыто нищенствовали. Знаменитый Александровский сад и Давидовская гора, воспетые в общеизвестных кавказских песенках, давали ночное убежище этим неудачникам. Многие из них хотели заняться каким-нибудь честным трудом, даже физическим, но предложение всякого труда во много раз превышало спрос, так как производство замерло.

Создавалась довольно удобная почва для вовлечения этого элемента во всевозможные авантюры.

Северный Кавказ все более и более приковывал к себе внимание безработных вояк. В Тифлисе уже слышали имена Деникина и его сподвижников, генералов Дроздовского, Покровского и полковника Шкуро. Читали и «Сводки штаба всевеликого войска Донского», неведомыми путями доходившие до Закавказья.

В июле в Тифлис прибыл полк. Л. А. Артифексов, молодой и энергичный георгиевский кавалер. Он на свой страх и риск пробрался через Северный Кавказ в Добровольческую армию, разведал, что это за организация, и теперь явился сюда в качестве посла от Деникина.

Вот что узнало от него тифлисское офицерство:

«Добровольческая армия, основанная ген. Алексеевым и Корниловым, объединяет всех русских воинов и всех честных людей, которые не могут перенести Брестского мира и не могут примириться с режимом насильников-большевиков. Ее цель — только восстановить порядок в России. Ей чужда какая бы то ни было партийность. В марте она потерпела поражение под Екатеринодаром, где пал Корнилов, но теперь в Задонских степях она реоргани-

зуется, пополняется и скоро двинется в Кубанскую область. Дисциплина в ней старая. Погоны сохранены. Все получают небольшое содержание».

Самое последнее сведение больше всего заинтересовало изголодавшихся людей.

Кто дает деньги армии, с какою целью,—публика уже не спрашивала. Так как в Тифлисе хозяйничали, под прикрытием меньшевиков, немцы, то в газетах нельзя было прямо сообщить о том, что эта армия, как противница Брестского мира, поддерживается Антантой.

Вслед за полк. Артифексовым прибыли и другие добровольческие эмиссары. Они встряхнули застывшее тифлисское офицерство, которого насчитывалось в этот момент до 10 тысяч человек.

— Не стыдно ли гранить здесь мостовые, когда там идет борьба не на жизнь, а на смерть, с разбойниками, захватившими власть? Здесь вы—парии, бездомные бродяги, в то время как там вы будете на своем месте, будете совершать святое дело спасения родины, и худо ли, хорошо ли, но вас обеспечат.

И наконец добавляли:

— Главнокомандующий Добровольческой армией генерал Деникин приказал объявить всем, что если кто не примет участия в этой освободительной войне, тот в дальнейшем не получит места в русской армии.

Имя генерала Деникина, хотя не совсем заслуженно, пользовалось популярностью среди офицерства. Ему ставили в заслугу слова, сказанные в 1917 году на офицерском съезде в Могилеве:

— Революция оплевала душу русского офицера, задела его святая-святых.

Многие находили, что генерал, рискнувший столь смело говорить при тогдашних обстоятельствах, должен обладать большим мужеством и несокрушимой энергией. Такие личности издалека всегда производят впечатление на массу. Военщина, привыкшая к повиновению, более всего подчиняется авторитету сильных духом вождей. Деникина сочли за твердого поборника прав офицерства, выразителем мыслей и чаяний всего военного класса.

Как было оставаться равнодушным к призыву такого вождя, особенно когда он обещает жалованье! Раз Деникин ведет офицерство против большевиков, значит, это так и нужно. Значит, это согласуется с интересами офицерства.

Не трудно было сказать, чем закончится тифлисское сиденье обломков старой царской армии.

С одной стороны—никому неведомые, точно из-под земли вынырнувшие большевики, которые не признают офицер-

ского звания, про которых пишут такие ужасы, которые помирились с немцами, этими врагами рода человеческого. С другой — армия генерала Деникина, известного патриота и борца за офицерские интересы; тут свой мир, свои люди, своя стихия; тут подчинение не каким-то проходимцам и оборванцам, а тем же самым генералам, которым привык подчиняться офицер.

До понимания сущности Октябрьской революции и начавшейся против нее борьбы в тот момент малообразованная военная каста не доросла. Было ясно, что, как только откроется удобный путь с Кавказа, офицерство перекочует на сторону генералов, а не большевиков.

К концу лета 1918 года Добровольческая армия, отдохнув и оправившись, вышла из пассивного состояния. Защищенная с севера освободившимся от большевиков Доном, она снова двинулась на Кубань и заняла Екатеринодар, а затем Новороссийск. Установилась связь Северного Кавказа с Закавказьем морем, через Поти.

Тифлисское офицерство не замедлило начать «самоопределяться». Для Добровольческой армии это была громадная помощь. Без большого преувеличения можно сказать, что ее успехи в конце 1918 и начале 1919 годов находятся в прямой зависимости от присоединения к ее составу почти всего офицерства бывшего Кавказского фронта.

Помимо тысяч юных бойцов, Добоволия получила из Закавказья великое множество спецов всякого рода, старых опытных работников, как-то: генштабистов, военных инженеров, ветеринаров и т. д. У Колчака, напр., на этот счет дело обстояло совсем скверно. Осенью 1919 года Деникин, по просьбе «правителя России», даже предполагал переправить в Сибирь большую партию специалистов, но успех большевиков нарушил связь с Колчаком, и предприятие лопнуло.

Деникин нажился за счет старой Кавказской армии. Но нельзя сказать, чтобы он получил вполне доброкачественный материал. Восьмимесячное тифлисское безделье и нищенское существование развратили даже тех, кого еще не развратила мировая война. Иные «ревнители долга перед поруганной большевиками родиной», привыкнув в Тифлисе спекулировать, искали у Деникина только теплых мест, дающих возможность потуже набить карман.

В строй обрекали себя только юнцы, офицеры военного времени, не всегда достаточно грамотные и ни к какому другому делу не способные. Из них-то и вырабатывался тип «профессионалов гражданской войны», лозунг которых звучал ясно и выразительно:

— Война ради войны!

А еще немного позже:

— Война до победы, грабеж до конца!

На это пушечное мясо охотилась не одна только Добровольческая армия, верная служанка Антанты.

Немцы отлично видели, что эта организация держит сторону их врагов. В их интересы вовсе не входило увеличивать рост той вооруженной силы, которая существовала на деньги Антанты. Прекрасное средство изобрел немецкий агент, донской атаман Краснов. Он издал ряд приказов о создании войсковых групп, аналогичных Добровольческой армии и имеющих ту же цель, т.-е. борьбу с Советской властью, но только в союзе с немецким, а не с антантовским империализмом.

На Дону началось формирование так называемых Воронежской, Саратовской и Астраханской армий при поддержке немецкого командования. Предполагалось хорошей платой привлечь офицеров и разных гулящих людей в эти армии, уменьшив тем самым приток людей к Деникину.

Покупатели пушечного мяса стали конкурировать и в Тифлисе. Грузинское правительство волей-неволей должно было покровительствовать вербовщикам в красновские армии, тогда как в Добровольческую армию желающие могли выбраться только тайком. «Астраханцев» вербовал генерал М., «саратовцев» — некий граф, — оба с немецкими фамилиями.

— Что это за армии, какая их цель? — невольно задавали вопрос вербовщикам офицеры.

— Цель их та же, что и у Деникина.

— Тогда почему же разделение?

Вербовщики на этот вопрос отвечали уклончиво.

— А, была — не была! лишь бы выбраться из «кукурузной» республики. Там увидим, где лучше. Тогда и «самоопределимся», — рассуждала с плеча молодежь, не привыкшая много шевелить мозгами.

От завербованных не требовали никаких обязательств. Правда, и им не давали ничего.

— Есть у вас на проезд деньги? — обычно спрашивали вербовщики.

В большинстве случаев ответ получался отрицательный. Из неимущих составляли особую партию, которую отправляли через Поти и Керчь в Ростов под начальством старшего в чине.

Так началась переброска живого товара на Дон и на Северный Кавказ. Постепенно ее организовали en grand. Чем дальше шло время, тем все более и более солидные лица снимались с места и устремлялись в туманную даль, чтобы там, за Кавказским хребтом, под видом службы отечеству, обрести себе кусок хлеба.

Расплата за свое политическое недомыслие была крайне жестока. Только немногим удалось, спустя полтора года, вернуться под негостеприимное небо Колхиды в качестве отребьев разбитой деникинской рати. Тысячам же других, не сложивших своей головы в бесславных боях на юге России, пришлось долгие годы влачить позорное отщепенское существование в разных углах земного шара.

II.

НА «ПАНАГИИ ВАЛЬЯНО».

К моменту февральской революции я занимал должность помощника военного прокурора Кавказского военно-окружного суда.

Временное правительство, озабоченное насаждением «революционного порядка» в войсках, создало должность полевого военного прокурора фронта и его товарищей при командующих армиями. На Кавказском фронте, где действовали всего лишь одна, правда, громадная, армия в Турецкой Армении и два корпуса в Персии, полевым прокурором первоначально был назначен генерал Плансон, человек совершенно ничтожный и безвольный, я же—его товарищем.

В то время, как мой начальник жил в Тифлисе, я находился в Эрзеруме и, как умел, водворял порядок в армии, при чем в этом деле мне не мало препятствовали те, которые носили на груди эмблему закона. У меня в управлении даже было заведено особое дело «о неповиновении корпусного суда 1-го кавказского корпуса приказу главнокомандующего об отъезде в свой корпусный район».

Когда Грузия отделилась от России и было предписано расформировать Кавказский военно-окружный суд, военные юристы заволновались. Однажды, кажется, в мае, состоялось немноголюдное общее собрание, на котором представитель закавказского профессионального союза государственных служащих сообщил, что будто бы Советская власть приглашает к себе на службу разных спецов.

К стыду своей корпорации я должен сказать, что при всем своем образовании немногие знали большевистскую программу и понимали разницу между большевиками и меньшевиками. Первых считали антигосударственной партией. Далее, увлекшись в период керенщины преследованием «большевизма», к которому тогда относили всякую распущенность, всякое озорство, блюстители закона просто не могли себе представить, как это возможно служить у ниспровергателей всякого гражданского правопорядка.

Тифлисская пресса, рисовавшая ужасы Совдепии, тоже делала свое дело.

Старики генералы и полковники при всем этом были до мозга костей реакционеры; да и более молодые, очень быстро разочаровавшись в революции, черносотенствовали не хуже старья. Мне, например, не могли простить, что я в г. Эрзеруме не только навещал Совет солдатских и рабочих депутатов, но очень часто действовал в контакте с ним по борьбе с преступностью, сотрудничал в печатном органе этого Совета и т. д. За это некоторые перестали со мной здороваться; другие с петушиным задором грозили расстрелять меня при восстановлении монархии, противником которой я открыто заявлял себя и до революции.

При таком состоянии умов собрание вынесло постановление о том, что военные юристы на службу к большевикам итти не желают.

Суд прекратил свое бытие. Председатель его, генерал Габриолович, 70-летняя развалина, назначенный на эту должность тоже временным правительством после десятилетнего пребывания в отставке, куда-то скрылся с горизонта, словно растаял в воздухе. О его судьбе я и до сего времени ничего не знаю.

Каждому приходилось думать о себе.

В июле в Тифлис пробрался с Терека некий педагог, по фамилии Краснов, но ничего общего не имевший с донским атаманом. Он от имени большевистского комиссариата народного просвещения Терской области приглашал русских преподавателей на службу. Я и мой товарищ, подполк. Н. Н. Басин, немедленно подали заявления, при чем я приложил свои скромные научные работы в области этнографии.

До революции моей заветной мечтой было дождаться конца мировой войны, выйти в отставку и продолжать свои научные исследования под руководством академика А. А. Шахматова.

Теперь, казалось, наступило это время.

Если бы мне тогда же удалось перебраться на Терек, а оттуда в Петроград, моя судьба была бы несколько иная. Но Краснов уехал во Владикавказ, где вскоре началось восстание под начальством полк. Соколова. Сообщение с Тифлисом снова прекратилось. Ответа из Владикавказа не последовало.

А жизнь в Грузии для русского человека день ото дня становилась все невыносимей. В целях самосохранения от голодной смерти нужно было бежать отсюда. Куда — безразлично. Лишь бы подалее от привитого меньшевиками грузинского шовинизма.

К сентябрю Черное море начали бороздить пароходы, русские и немецкие. Правда, случайные. Регулярного движения не существовало. Хищные судовладельцы, пользуясь смутой, рвали с пассажиров, сколько хотели. Дороговизну объясняли риском, потому что море кишело минами.

Так или иначе, кто хотел, теперь мог покинуть некогда пламенную, а теперь холодную для нас Колхиду.

Небольшой торговый пароход «Панагий Вальяно» готовится отплыть из Потийского порта с грузом соли и живого товара. Его перед войной сдали в архив в виду порчи машины, но теперь кое-как приспособили для плавания.

— В прежнее время,— объяснял капитан, бывший лейтенант военного флота,— ни один моряк не рискнул бы вывести этот опорок из бухты. А теперь ездим, каждую минуту ожидая гибели. Потому что есть хочется. Согласны хоть на бумажном кораблике плавать.

На пароходе нет кают, нет решительно никаких удобств, но он переполнен. На грязной палубе валяются сотни две русских вояк. Преобладают строевые офицеры, и преимущественно молодежь. «Прапорщики от сохи»,— так именовала солдатня малокультурных офицеров военного времени.

Один из этой скороспелки невольно приковывает мое внимание. Еще совсем мальчик по лицу, но по походке, по манерам—обстрелянная птица. На его брюках защитного цвета несколько черных заплат, крайне грубо пришитых. Хозяйская, знать, работа. Порыжелые сапоги убедительно просят каши. Вообще, наряд неказистый.

— Что же вы, поручик, так обеднели?

— Потому что верой и правдой служил, только сам не знаю кому.

— В какой части?

— В прошлом году в корпусе генерала Абациева, того самого, знаете, который в молодости чистил сапоги Скобелеву, а в мировую войну первым жег Кара-Килиссу Алашкертскую, чем только и прославился. Когда перед Рождеством наш полк распылился, сподобил меня господь бог наняться в армянский национальный корпус. Защищал Эрзерум. Даже ранен был слегка, но не турками, хотя они штурмовали эту крепость.

— А кем же?

— Своими, т.-е. армянами. Вот-то бой был, наверно такого и военная история не знает. Турки повели наступление редкой цепью на крепостные валы и открыли огонь из пары пулеметов. Тут все наше воинство драпануло вон из города через Карсские ворота. Здесь-то,

в теснине, и завязался настоящий бой между своими же. Каждому хотелось скорей выбраться из ворот. Немало пало народу. Я, здорово помятый, вылез на дорогу. Тут какой-то конный герой, утекая без памяти, швырнул свою винтовку в сторону и попал мне дулом в глаз. Едва-едва не окривел. Тем и кончилась моя служба в доблестных войсках ген. Андраника. [1] Какую смену белья имел, все в Эрзеруме досталось туркам. В Тифлисе кормился в счет будущих благ. Ночевал больше на Авлабаре в духанах.

— А теперь куда?

— Как куда? В славную Астраханскую, нарезную, скорострельную, с дула заряжаемую армию. Нас тут целая фракция, этак душ тридцать.

— Расскажите что-нибудь про эту армию.

Подпоручик безнадежно махнул рукой и вольно или невольно плюнул.

— А кто ж ее знает!

Помолчав мгновение, чтобы откашляться, угрюмо добавил:

— Надо же где-нибудь служить.

— А разве это обязательно? Можно заработать кусок хлеба и не на военной службе.

— Вам говорить легко. Вы с образованием, можете служить и на гражданской. А что я? Куда деться, когда я и трех классов гимназии не окончил. Что я найду лучше военной службы? В Астраханской, говорят, здорово платят. Быть-может,—усмехнулся он, заметив, что я с грустью рассматриваю крокодиловы пасти его сапогов, — там обувь себе новую заведу.

— А вот этот, — я указал на матерого, уже поседевшего полковника, примостившегося у борта, — тоже в армию?

— Старик — отставной, но тоже записался. В бюро, где регистрировали неимущих, бедняком притворился и кричал, что один пойдет на роту большевиков. Очень злился на них. Распромерзавцы, говорил, такие-сякие, всех их своими руками повесил бы на Иване Великом или где-либо повыше. Только вряд ли он воевать будет. Нищим прикинулся и соврал. Смотрите, сколько у него багажа: два сундучища и чуть не дюжина корзин. Соврал, пожалуй, и на счет охоты воевать.

— Этот-то дедка?—вмешался в наш разговор хилый, чахоточного типа, чиновник-краснокрестовец. — Этот немного навоюет. Я хорошо его знаю, гуся лапчатого. «Союзным

[1] Армянский революционер из партии «дашнакцутюн». В мировую войну организовал добровольческие армянские отряды, действовавшие против турок. В конце 1917 года закавказский комиссариат произвел его, партизана, прямо в генералы. В 1918 году он руководил борьбой армянских национальных частей против турок.

городовым»[1] служил, всю войну хлеб на Кубани закупал для армии. Нажился в роде Ротшильда. Разве капиталы свои отвезти куда хочет, а только не воевать. Да и стар — куда ему в бой.

Нудно, скучно ждать, когда, наконец, капитан объявит, что скоро двинемся. Болтать надоедает. Время к вечеру,— от ничегонеделания сказывается усталость. Хотя сентябрь, но жгучее южное солнце успело за день в каждом атоме этой живой массы породить ленивую истому.

В сумерки по палубе проносится грозный слух:

— Сейчас на пароходе какой-то хохол умер. Так и не доехал до своего пана гетмана.

Человеческая каша забубнила:

— Где? Где? Где?

— На корме, говорят... Погрузился на пароход три дня тому назад... Тифлисский... Не то бывший городовой, не то, чорт его знает, кто такой.

— Дело яманное.[2] Проканителимся с карантином суток трое. Немцы не позволят отплыть сегодня.

Германские власти очень боялись заноса холеры на Украину. Поэтому требовали от всех, кто уезжал с Кавказа, свидетельства о противохолерной прививке.

Опасения пассажиров оказались излишними. Пароходная администрация быстро столковалась с грузинскими властями. Для последних несколько сот рублей оказались гораздо важнее, чем здоровье немецких солдат на Украине.

Труп тихонько вынесли с парохода, и карантинное начальство все нашло в порядке. «Панагий Вальяно» начал готовиться в путь.

— Прощай, «кукурузная»!

— Эх, намять бы когда-нибудь бока этим Чхеидзе и Церетели.

А кто-то, невидимый в темноте, затянул фальшивым голосом избитый куплет:

Плачьте, красавицы града Тифлиса,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последним гудком парохода
Мы покидаем Кавказ.

Красавицы никакие не плакали. Только два таможенных досмотрщика, совершенно равнодушных к отъезжающим, провожали глазами пароход. Но когда загудел третий свисток, откуда-то, кажется, с берега Риона, раздались одновременные рыдания двух ишачков.

---

[1] Так в мировую войну солдаты звали служащих Союза Городов.
[2] Яман — по-татарски худо, нехорошо.

С карантинными властями поладили. Зато, едва направились к выходу в море, запротестовала береговая стража. С конца мола посыпались, на русском и на грузинском языках, угрозы пустить нас ко дну.

— Кой чорт! В чем дело?

— До рассвета запрещен выход.

Пароход стал на якорь. Капитан спешно отправился на шестерке к молу, где возле тусклого фонаря шевелились какие-то фантастические фигуры.

Через час он вернулся и сообщил любопытным:

— Все улажено. Можно ехать. Грузинский закон более не возбраняет.

— За какую сумму?

— Пустяки. Всего лишь двести, ихними же бонами.

— Там триста, здесь двести... Шутка ли везде так смазывать!

— Такое наше дело. Коммерция. Без накладных расходов на смазку много не наживешь.

На другой день, уже за Сухумом, Черное море демонстрировало перед нами шторм. Несчастный пароход качался как детская люлька. Старая, туберкулезная машина едва дышала. Мы с трудом пробегали по 5 миль в час.

— Если машина остановится совсем, то мы погибли, — утешил капитан взволнованную публику. — Тогда наша скорлупка сделается игрушкой волн. Можем потонуть. Может и на берег выкинуть.

— Господи Иисусе! — истово перекрестился старый полковник, давно уже пластом лежавший на своих сундуках. — Лишь бы не прибило где-нибудь возле Сочи. Там, говорят, грузинские солдаты ген. Кониева обирают всех от темени до пяток. Пропадет последнее барахло.

— Хорошо тому, у кого оно есть. А когда в одном кармане блоха на аркане, в другом вошь на цепи, тому горя мало, — назидательно произнес мой сосед, обнищавший подпоручик, и с этими словами бухнул прямо на грязную поверхность палубы.

— Нашему брату что... Шинелью закутался, кулак в изголовье, и дуй до утра во все носовые завертки.

— Босота! — презрительно пробурчал старик, вытягивая ко мне голову, спрятанную в башлык кожана. — Ну и офицеры пошли в наше время. А бывало...

— Вы сами где служили?

— До отставки лет восемь тянул лямку воинского начальника. Служил, можно сказать, по совести. — Зато именья у меня всего манишка да записная книжка...

Через трое суток наш ноев ковчег кое-как добрался до Керчи. В бухте ни одного судна. На пристани

сиротливо бродит какой-то герой ранних произведений Горького.

— А тут что у вас за республика? Какая власть?

— Здесь у нас своя республика, крымская.

— А до России еще далеко?

— До России? Весь свет проедешь, — не найдешь такой. Была да вся вышла.

В порту хозяйничают немцы. Вскоре после того, как пароход причалил, на пристани появился отряд немецких солдат во главе с молоденьким, красивеньким лейтенантом. Позже я узнал, что его фамилия была Вихман. Просто Вихман, без фона. Германское офицерство за время грандиозной мировой войны разаристократилось.

— Вы все арестованы! — объявил нам лейтенант через переводчика-еврея.

Среди офицерства воцарилась суматоха.

— Как? За что?

— Говорили, что немцы идут против большевиков, с которыми и мы едем драться, а тут вот тебе, нà тебе...

— Ловушка!

— Безобразие!

— Господа! — громко передает переводчик распоряжение Вихмана. — Согласно действующих здесь правил вы будете обезоружены. Предъявите солдатам ваши шашки, револьверы, винтовки. За утайку оружия полагается расстрел.

Дипломатические переговоры с лейтенантом не привели ни к чему. Пришлось подчиниться приказу.

— Бэри шашку, бэри киньжал, а-аставь нажну! — протестует офицер-горец, владелец старинного кривого ятагана, украшенного серебряной резьбой.

Толстомордый ландштурмист силой вырывает у него оружие. В глазах джигита сверкают молнии.

— Каспада, запротэстуем! — апеллирует он к толпе, размахивая вокруг головы руками, словно ветряная мельница.

Предложение не находит отзвука.

— И какая же это сволочь призвала эту чухонскую мразь в Россию! — срывается только единственный протест с языка моего соседа, новоявленного Вальтера Голяка.

Солдаты кайзера с презрением прошли мимо него: у будущего «астраханца» не оказалось и шашки, которую он утратил в том же славном бою, в воротах Эрзерума.

У меня в кармане лежал крошечный браунинг, имевший свою небольшую историю. В 1915 году, в г. Карсе, из него застрелилась молоденькая сестра милосердия. Военный следователь, произведя следствие и не найдя никаких признаков чьей-либо виновности в трагической смерти девушки, направил дело на прекращение, приложив браунинг

в качестве вещественного доказательства. Дело прекратили. У покойной не нашлось родственников, которым можно было бы передать револьвер, и он пролежал в прокуратуре до 1918 года. При расформировании суда я был назначен председателем комиссии по сортировке и рассылке вещественных доказательств. За неимением у меня револьвера, я взял эту смертоносную, бесхозяйную крошку себе.

— Zeigen sie, bitte, ihre Waffen,[1] — просопел толстомордый немец, уставив в меня свои бесцветные глаза.

Я запустил руку в карман кителя и готов был вынуть стальное бебе, как вдруг раздался громкий окрик лейтенанта:

— Da befinden sich die Flinten.[2]

Вихман стоял перед громадными сундуками полковника и молотил по ним своим стэком.

Солдаты, оставив меня в покое, бросились к начальнику.

Старик, перепуганный до смерти, силился заслонить от немцев свое добро.

— Я... я отставной, — жалобно лепетал он. — Еду в Ростов, чтобы купить себе, например, шубу на зиму, а не воевать... Боже упаси меня на склоне лет заниматься этакой глупостью... Я совсем статский человек.

Лейтенант, не обращая внимания на вопли старика, приказал солдатам вскрыть сундуки. Те хотели было уже ломать крышки, как полковник дрожащими руками вынул откуда-то из-за пазухи ключи и обнажил свое богатство перед изумленными зрителями. Один сундук был сплошь набит кардонками с парфюмерией, другой — бязью и сукнами. Раскрыли корзины — там всевозможные предметы роскоши, какие за бесценок сбывались в Тифлисе русскими. Среди груды безделушек белело громадное страусовое яйцо в серебряной оправе.

— Der Kaufmann?[3] — спросил лейтенант, всматриваясь в полковника.

Переводчик повторил вопрос по-русски.

— Что вы, что вы! Тридцать лет служил вере, царю и отечеству и ни разу не посрамил чести мундира этаким делом.

— Зачем же все это везете? У вас целый магазин.

— Видит господь бог, каюсь: думал в Ростове или на Кубани променять все это на хлеб. Семья у меня, что батальон... Внуки, племянники... Все голодают в Тифлисе.

---

[1] Покажите, пожалуйста, ваше оружие.
[2] Тут находятся винтовки.
[3] Купец.

— Спекулянт! — презрительно процедил сквозь зубы нищий подпоручик.

Презрительно махнул рукой и лейтенант.

Солдаты отошли от старика, который с необычной для его лет живостью начал перевязывать веревками свой багаж.

Я за время этой истории успел таки спрятать за голенище сапога свой миниатюрный браунинг.

Когда обезоружение кончилось, нас, офицеров, — всего набралось душ полтораста, — вывели под конвоем на пристань.

— Ein, zwei, drei...

Пересчитали. Затем усадили в катера.

— Бабушка! Погадай-ка, куда нас везут? — крикнул толкавшейся на пристани нищенке «некто в белом». Так за время пути зубоскалы прозвали одного прапора, который днем ходил в нижней рубахе, ночью — в светлой офицерской шинели.

Старуха грустно покачала головой.

— Ох, голубчики родненькие! Онодысь тоже вот этак партию увезли... Сказывают, всех застрелили супостаты. Не без того, как на расстрел вас везут.

Для усиления впечатления бабка начала вытирать слезы со своих красных глаз.

Однако ни ее словам, ни ее слезам никто не верил.

— Что за чушь! За что нас на расстрел? Кажется, пока мы ничего не сделали худого немцам. И что значит вся эта глупая история?

В городе нас выстроили в две шеренги, повернули направо и повели в комендатуру. Человек шесть или семь солдат конвоировали внезапных пленников.

Из среды конвоиров выделялся один, с круглым кошачьим лицом и длинными усами. Это был поляк. Он то и дело покрикивал на офицеров без всякого повода, ругался на ломаном русском и на ломаном же немецком языках, а однажды даже замахнулся прикладом на нашего судейского генерала Забелло.

Полячок точно радовался случаю, когда он мог безнаказанно глумиться над русскими.

— Ты такой же славянин, как и мы, — сказал я ему по-немецки, — а поступаешь с нами гораздо хуже, чем немцы, общие враги славянства.

Гоноровый пан несколько утихомирился. Разумеется, не от того, что я пристыдил его за хамское обращение с беззащитными братьями по крови, а из опасения, как бы я, зная по-немецки, не пожаловался его начальству.

В комендатуре нас продержали добрых два часа, а то и более. Потом опять водворили на пароход и оставили там

на ночь, воспретив выходить даже на пристань. Три часовых заняли посты у сходней. Поляк опять стоял тут. Не чувствуя близости своего начальства, он опять хамил и даже нацеливался в тех, кто свешивался за борт.

— Ну и мерзавец! — возмущались пленники. — Уж пусть бы безобразничали немцы, было бы не так досадно: дрались с нами, наши враги. А этот ведь поляк! Брат по крови! Эх ты, растуды тебя славянская идея, — стоило ли сражаться во имя твое.

Утром снова мытарство через керченскую бухту в комендатуру. На этот раз все выяснилось.

Весь сыр-бор загорелся из-за «астраханцев». Узнав от капитана, что на пароходе имеется худо ли, хорошо ли организованная офицерская группа, немцы всполошились. Они боялись добровольцев, которые уже хозяйничали по ту сторону залива. Название «Астраханская армия», в которую ехала организованная группа, для керченских немецких властей пока еще не говорило ничего, так как они не совсем хорошо знали затеи Краснова и своего высшего командования.

Снеслись по радио с Киевом, с Тифлисом и, быть-может, с Новочеркасском, узнали, что за Астраханская армия, после чего разрешили всем следовать дальше. Оружия, однако, не вернули. Не вернули к себе и нашего доброго расположения, о чем немцы, наверно, мало сожалели. Беспричинный арест, унизительные прогулки по городу под конвоем, придирки поляка, наряженного в прусскую фуражку, — все это оставило после себя скверный осадок.

— Готовят мстителей! — злобствовал нищий вояка.

Богатый отставной полковник, напротив, призывал на их головы благословение, довольный, что они не реквизировали его товара.

Мы продолжали путь.

В Бердянске новая немецкая штука. С каждого пассажира потребовали по 50 копеек за разрешение сойти на берег за покупкой провизии.

А в Мариуполе, когда пароход уже поднял сходни, какая-то баба истерично вопила по нашему адресу и грозила кулаками с пустынной пристани:

— Поганое офицерьё! Сичас ваша взяла, но думаете надолго? Скоро конец вашему царству, кровопийцы... В море вас всех перетопим, ироды иродовские, анафемы анафемские.

Под аккомпанемент этого сквернословия, извергаемого фурией, мы направились к Таганрогу.

III.
СТОЛИЦА ВОЛЬНОЙ КУБАНИ.

В Екатеринодаре, в столице рожденной после февральской революции Вольной Кубани, кипела жизнь как никогда.

Полтора месяца тому назад Добровольческая армия очистила город от большевистских войск и сделала его своим временным центром.

Притиснутые к стенке в период полугодового властвования большевиков, сытые, буржуазные слои населения снова начинали расцветать в лучах блеснувшего для них старого режима. Равным образом, весь громадный тыл маленькой армии Деникина, соскучившийся по городской жизни в период скитания по задонским степям и теперь обосновавшийся в жизнерадостном городе, спешил вознаградить себя с лихвою за старое, за новое, за три года вперед.

Бесчисленные обломки старого режима, — генералы, гвардейские офицеры, всевозможные администраторы, — выражаясь древне-русским языком, всяких чинов люди, — хлынули сюда волной из Закавказья, гетманской Украины и других мест, проведав, что тут может быть пожива. Территория деникинского государства пока еще ограничивалась частью Кубани (в южной ее половине еще хозяйничали большевики) и крошечной Черноморской губернией, тоже не в полном объеме. Но всякий «бывший человек» рассчитывал здесь на то же благополучие, какое имел в старой России.

Когда я прибыл в Екатеринодар в середине сентября,[1] меня просто ошарашила здешняя политическая атмосфера, особенно после Закавказья.

В меньшевистской Грузии, где жизнь хотя и напоминала сплошной карнавал, где царила самая разнузданная спекуляция и где торгаши купались как сыр в масле, слово «свобода» все-таки склонялось во всех падежах и носилось, как дух божий, над бездной. В Тифлисе глаз присмотрелся и к красным флагам, и к портретам Маркса, с которыми оборванные, голодные грузинские добровольцы и милиционеры беспрерывно манифестировали, в сопровождении разнаряженных буржуазных зевак, мимо шумных ресторанов и роскошных магазинов. Там лились красивые речи с балконов, с автомобилей, с тумб, и разные Чхенкели, Гегечкори, Жордании упивались до самозабвения пышными фразами о счастии человечества под знаменем меньшевизма.

---

[1] Везде в этой книге автор придерживается старого стиля, который применялся на юге России при белых.

— Батюшки! Кого я вижу... Добрый день, товарищ Хейфец! — радостно закричал я, увидя на Екатерининской улице, недалеко от вокзала, своего закавказского знакомого.

Этот Хейфец, служащий одного из лазаретов Красного Креста, в 1917 году занимал пост председателя Совета рабочих и солдатских депутатов в г. Эрзеруме.

— Тсс... что вы, что вы... здесь ведь не Турция... Разве можно здесь говорить «товарищ»? Тут за этакое слово в расход выведут. Вы только что приехали сюда, что ли?

— Только что.

— Ну, так держите язык за зубами насчет того, что происходило в Эрзеруме. Тут не только мне всыплют, но и вас по головке не погладят за то, что вы, прокурор, работали в полном согласии с нами.

— Да что, разве здесь развилось такое черносотенство?

— Не приведи бог. Поживете — увидите. Все старье, вся заваль и гниль, все обиженные революцией, все выгнанные со службы еще при Керенском, тучами налетают сюда и приносят самую ярую ненависть даже к порядкам временного правительства.

— А это что за странные субъекты по той стороне улицы? Как-будто офицеры, но с какими-то двухцветными погонами и ужасающими нашивками на рукаве?

— Это корниловцы. Так сказать, Добровольческая гвардия. Половина погона у них красная. Означает, что, мол, мы — борцы за свободу. Другая половина черная. Это, видите ли, траур по свободе, загубленной большевиками. Красная шапка, надо понимать, символизирует конечную победу свободы. Так установил покойный Корнилов еще в 1917 году. Теперь же о свободе здесь не рекомендуется заикаться.

Над городской комендатурой развевался трехцветный флаг.

— Если вы, г. полковник, приехали поступать в армию, то извольте немедленно отправиться к дежурному генералу, — заявил мне комендантский адъютант, тоже в какой-то экзотической форме.

— Я пока никуда поступать не собираюсь.

— Дело ваше. В таком случае через десять дней извольте покинуть пределы, занимаемые Добровольческой армией.

— Но если я поступлю на частную службу или по ведомству просвещения?

— Главнокомандующий отдал приказ о мобилизации решительно всех офицеров.

— Позвольте, армия называется Добровольческой. По логике вещей она должна комплектоваться теми, кто добровольно поступает в нее.

— Вы — офицер и обязаны исполнить долг перед родиной, — довольно резко возразил мне поручик.

Я вышел на главную улицу, название которой за пять последних лет менялось трижды. До 1913 года она называлась Красной, но после 300-летнего юбилея Дома Романовых отцы города переименовали ее в Романовский проспект. В период революции, разумеется, ей возвратили прежнее крамольное имя.

На Красной—толпы офицерства, всех родов оружия, всех полков и всех чинов. Одни в новенькой, с иголочки, форме; они блистают, как мотыльки, на осеннем солнышке. Другие— резкий контраст. В рваных рубахах и неуклюжих интендантских сапогах с разинутыми пастями на носках.

Вся эта орава, покамест безработная, гудит, волнуется, делится рассказами о своем недавнем прошлом. Больше же всего публику беспокоит вопрос, где бы голову преклонить на ночь. Город безнадежно забит приезжим людом. Армянские беженцы, вывезенные, кажется, из Трапезунда, расположились табором возле своей церкви.

По временам в офицерских группах, которые то лавиной катятся по улице, то останавливаются где-нибудь на перекрестке, слышны довольно оригинальные разговоры.

— Вот в Астраханской платят, так платят!

— Где? Где?

— В Астраханской. Там ротный получает триста рублей.

— Но ведь она, говорят, с немецкой ориентацией...

— Господа, послушайте новость: только что вышел приказ об упразднении в Добровольческой армии подполковничьего чина. Будет, как раньше в гвардии. Шутка ли: теперь из капитанов можно прямо махнуть в полковники.

— Так ка́к, Женя, махнем в Астраханскую?

— Повременим. Здесь можно спекульнуть на чине. Я ведь капитан.

Патриотический порыв редко звучал среди этих практических рассуждений. Массы офицерства, не разбираясь, для чего генералы затеяли гражданскую войну, смотрели на нее как на продолжение мировой, настоящих целей и причин которой они тоже не понимали, но от которой, худо ли, хорошо ли, но кормились.

Эта безыдейность рельефнее всего сказывалась в стремлении каждого занять тыловую должность. Термин «ловчить», т.-е. всеми правдами и неправдами избегать отправки на фронт, выработался в период бессмысленной мировой бойни. Теперь и здесь «ловчили» по инерции.

Только офицеры-аристократы или дети помещиков и капиталистов хорошо понимали истинную сущность гражданской войны. Под видом спасения «святой, великой

России» шла борьба за их привилегии, за их земли, банки, фабрики, за их вишневые сады и многоэтажные дома. Но этот убежденный, идейный элемент давно уже привык к тому, чтобы в борьбе за его благополучие подставляла свои бока под вражеские удары голытьба, и считал себя в праве занимать должности только в штабах, комендатурах, в административных учреждениях, — словом, в безопасном тылу.

В общем, в Екатеринодаре никто из пришлого люда не рвался на фронт, к великому ужасу матерых добровольцев, уже понюхавших пороха гражданской войны.

Основание Добровольческой армии положил бывший верховный главнокомандующий, генерал М. В. Алексеев. После Октябрьской революции он прибыл на Дон и 2 ноября выпустил свое воззвание к офицерству о необходимости войны с большевиками. 19 ноября на Дон прибыл бежавший из Быхова ген. Корнилов, которого донские «демократические» власти сначала встретили не особенно любезно.

— Добро пожаловать, — приветствовал его атаман Каледин, — ...на два дня проездом. [1]

Тогдашние руководители донского казачества, сами не признававшие Октябрьского переворота, все-таки боялись запятнать себя союзом с одиозным генералом.

Однако, общая опасность большевизма сблизила Корнилова и Каледина. Началось формирование Добровольческой армии. Дело шло туго. Никому более не хотелось воевать.

В Ростов набежало до 16 тысяч одних только офицеров, но из них в армию записалось сначала лишь 200 — 300 человек, да и те избегали боевой работы.

— Записи есть, бойцов нет! — говорил Корнилов. [2]

Охотнее «добровολились» юнкера, кадеты, гимназисты, студенты, все, в ком бурлила молодая кровь и чья кипучая энергия искала выхода в какой-нибудь авантюре.

Навербовав в Ростове тысячи три разного сброда, Корнилов и Алексеев предполагали было отсюда начать «освобождение России от красной нечисти». Обстоятельства сложились так, что 10 февраля им самим пришлось освободить от своего присутствия Ростов и удалиться со своим отрядом в задонские степи.

О завоевании России не приходилось думать. У добровольческих вождей одно время даже возникала мысль пробиться вдоль берега Каспийского моря в Персию. Но ее откинули, надеясь, что отрезвится от большевистского угара казачество.

---

[1] «Поход Корнилова», А. А. Суворин-Порошин, г. Ростов, 1919 г.
[2] Там же.

Ожидая всеобщего восстания кубанцев, Корнилов провел своих добровольцев до Екатеринодара, штурмовал город, но неудачно, при чем и сам погиб во время боя. Остатки его сброда, под начальством Деникина, бежали обратно в задонские степи.

Этот набег на Кубань был окрещен «Ледяным походом» и описан А. А. Сувориным, таскавшимся в корниловском обозе, подобно куче других отребьев старого режима.

Весеннее восстание донцов и помощь, оказанная им немцами, спасли Добровольческую армию от неминуемой гибели. Дон сорганизовался под главенством Краснова в самостийное государство. Добровольцы, сидя за его спиной, отогрелись, отдохнули, подкрепились бродячими шайками партизан и летом совершили второй набег на Екатеринодар, на этот раз весьма удачный. Отрезанные от центра, благодаря восстанию донцов, красные войска, хотя и многочисленные, но дезорганизованные, без опытных командиров и руководителей, отступили к югу, ближе к Тереку.

В тот момент, когда я прибыл в столицу Кубани, Добровольческая армия упивалась своим блестящим успехом, который омрачали только козни кубанских самостийников.

Пробудившийся, в период временного правительства, казачий сепаратизм на Кубани вылился в более острую форму, чем в других местах, благодаря тому, что значительная часть кубанского казачества малороссы. Когда в начале 1918 года волна большевизма захлестнула и Екатеринодар, кубанский атаман Филимонов, войсковое правительство во главе с эс-эром Л. Л. Бычем и правительственный отряд казаков и горцев под командой Покровского удалились из города. Вскоре эта бродячая кубанская государственность встретилась с отрядом Корнилова. 17 марта, в станице Ново-Димитриевской, под грохот орудий, состоялось совещание кубанских и добровольческих вождей, после чего отряд Покровского влился в армию Корнилова.

Вот содержание документа, который был подписан в Ново-Димитриевской и который породил весьма сложные взаимоотношения между Кубанью и Добровольческой армией:

1. В виду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены кубанским правительством отряду, для объединения всех сил и средств, признается необходимым переход кубанского правительственного отряда в полное подчинение генерала Корнилова, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым.

2. Законодательная Рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией.

3. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования постоянной Кубанской армии.

В минуту смертельной опасности кубанские политики вручили свою реальную силу добровольческим генералам, т.-е. кастрировали себя бесповоротно. После соглашения в Ново-Димитриевской они уныло поплелись в обозе Добровольческой армии. Когда же последняя, спустя полгода, заняла, наконец, Екатеринодар, Рада и правительство въехали в свою столицу скорее в качестве трофеев Деникина, нежели в роли победителей.

Но им хотелось царствовать, устраивать свою казачью государственность, даже не взирая на то, что территория Вольной Кубани сейчас совпадала с территорией Добровольческой армии и что их войско попрежнему подчинялось Деникину. На дипломатическом языке такое соотношение двух политических организаций называлось союзом; на деле получилась конкуренция и свалка.

На знамени Добровольческой армии, в пику домогательствам окраин, красовался лозунг:

— Единая, великая, неделимая.

Кубанские казачьи политики добивались, самое минимальное, широчайшей автономии для своих областей.

В Доброволии, не взирая на показной либерализм Корнилова, с самого начала, даже среди бойцов, стало преобладать сугубо черносотенное направление.

Казакоманы, по большей части, были порождением керенщины.

Добровольцы, воспитанные во время двух походов в чудовищной ненависти к большевикам, по инерции ненавидели и «полубольшевиков», к числу которых они относили всех либерально мыслящих людей, в том числе и казачьих политиков. Последние же, как пародия на эс-эров и меньшевиков, были соглашателями по натуре, готовыми соглашаться даже и с Советской властью, если бы она обещала им княжить и володеть в своем казачьем государстве.

— Священная война против большевиков до победы! — кричали добровольцы-фронтовики.

Тыловые герои Добровольческой армии, совершившие оба похода в обозе, отличались еще большим воинственным пылом и прямо-таки зоологической ненавистью к большевикам.

Пришельцы, особенно из Закавказья, с удивлением слушали непонятные им рассказы «первопоходников» о той

кровожадной жестокости, с которой армия Корнилова сражалась против красных войск.

— «По безобразной толпе большевистской сволочи... Прицел такой-то... Рота, пли!» Иначе мы, ротные, и не командовали в походе, — с нездоровым сладострастием похвалялся мне один, уже не молодой, образованный офицер, однако совсем потерявший свою индивидуальность среди этого опьяненного кровью люда.

Из уст в уста перекочевывали рассказы о подвигах во время Ледяного похода одной из многочисленных женщин-амазонок, баронессы Бодэ, которая собственноручно приканчивала решительно всех пленных красногвардейцев.

Бросалась пришельцам в глаза и другая особенность добровольцев, еще более резкая, так как задевала самолюбие новичков. Прославляемые выше меры прессою участники кубанских походов, особенно первого, уже считали себя спасителями отечества. Хотя красный медведь даже и на Кубани еще далеко не был затравлен, но эти господа уже претендовали на лучшие куски его шкуры. Наплыв пришельцев, особенно старых спецов, обескураживал их. Каждый боялся, что кто-либо из новичков, но более опытный служака, займет его место.

Больше всего дрожали за свое положение должностные лица военно-административной службы. В корниловской армии, пока она одиноко блуждала по степям, назначение на должности происходило чисто случайно. Познания, опыт, тем более нравственные качества не играли никакой роли. Надо было заткнуть дыру, и в нее совали первого попавшегося. Студент-недоучка делался старшим врачом, прапорщик из околоточных — военным следователем.

Теперь, с наплывом людей, было из кого выбирать. Поэтому добровольцы-тыловики не очень-то мило встречали новичков.

Ведь могут отбить должность. Конкуренты!

— Бог вас знает, где вы были, пока мы тут создавали русское государство! Может, вы в это время у большевиков служили, а теперь подавай вам места. Дудочки!

Так нарождался «добровольческий сепаратизм», наделавший впоследствии не мало вреда белому стану.

IV.

ВЕРХИ ДОБРОВОЛИИ.

Приехав в Екатеринодар с небольшим запасом денег, я, к счастью, довольно удачно нашел свободную комнату у своих знакомых, родителей уже гремевшего теперь вовсю полковника А. Г. Шкуро.

Самого препрославленного героя я еще не знал, с семьей же его познакомился в 1917 году, в самом начале революции, когда я здесь провел два месяца по своим служебным делам и когда будущая знаменитость воевала где-то на германском фронте в чине есаула.

Отец «народного героя», старый «дид», отставной войсковой старшина Григорий Федорович Шкурà, личность тоже в своем роде замечательная. Он привлекал внимание всякого как своим внешним видом, так и своей, необычной для его лет, живостью манер, болтливостью языка и чисто хохлацким, лукавым юмором.

У старика, ветерана войны 1877 года, одна нога была укорочена, и он ходил, точнее бегал, на костыле. Точно так же не все обстояло благополучно с левой рукой, которую он носил на перевязи. Голый, морщинистый лоб «дида» украшала пробоина, видимо, след турецкой пули.

Этот престарелый калека всегда кипел, как щелок, и минуты не мог посидеть на одном месте. То он появлялся на базаре среди торговок, ругая дороговизну, то ловил на перекрестках молодых офицеров и держал к ним речь на политические темы. Так как его органы слуха от старости тоже имели кой-какие дефекты, то разговор с ним сразу же превращался в крик и привлекал внимание городовых, что не смущало деда и не прекращало словоизвержения.

Старый Шкурà жил зажиточно. Помимо большого офицерского надела земли в районе станицы Пашковской, подле Екатеринодара, он имел приличный дом-особняк в городе, на Динской улице. Средства позволили ему выстроить два одноэтажных дома и своему старшему сыну Андрею на Крепостной улице, близ берега Кубани.

Обрадовавшись мне как новому собеседнику, старик сейчас же поспешил рассказать о своих злоключениях в период господства Советской власти в Екатеринодаре. Он отлично владел обоими языками, русским и украинским, при чем до революции в интеллигентном обществе говорил только по-русски. В марте же 1917 года в нем вдруг проснулся хохол-самостийник, вернее, он стал изображать из себя такового, и везде и всюду заговорил только по-украински. Теперь, когда на Кубани царило двоевластие, раздвоился и старый Шкурà, то тараторя на одном языке, то на другом, сплошь и рядом вклеивая русские слова в украинскую речь и наоборот.

— Як Андрюшка начав воюваты, знакомые хлопци из Совдепа мне бачут: «Григорий Хведорович! Втикай: заберут у темницю. Я тоды узяв у сусида пипа рясу, перерядився та-й сев у поезд. Ой, лихо, думаю, меня всякий

чоловик знае. Дуже приметен. Тильки выручила судьба. Тоды не было фотогену, у вагонах була тьма кромешная, а жарко, як у пекли. Жинки товкают меня: «У, пип, бисов сын, живодер». Мовчу. Ти още пуще. «Прошло ваше царство, долгогривые». Все время мовчу. Так и домандровал до Новороссийска.

В Новороссийске его приютил знакомый еврей-шапочник и скрывал в самых непотребных местах до конца господства большевиков.

— Почему у вас стены и пол пробиты в роде как взрывом?

— А це було прежде. Приходят до мене красногвардейци. Подавай, бачут, старый, рушници. Один дуже пьяный, в руках гранату держит. «Баламут ты этакий, брось цю штюку». Вин дурной и в самом дели бросыв на пол. Дымом заволоклась уся хата. Я вылетел на балкон як птиця.

Далее старик добавил, как он, очухавшись, бросился бежать из дому, однако прихватив узелок с золотыми монетами, как обронил в саду это сокровище и утерял его навеки.

— Скильки там було карбованцив... Прадиды копили, и диды... Усе пропали. Мабуть, красногвардейци взяли. Сто болячек им у спину.

Тут он начал весьма неискренно жаловаться на свою теперешнюю скудость.

Днем старик почти всегда пропадал из дому. Вечером он возвращался с целым ворохом всевозможных сплетен и базарных слухов, которыми угощал своих домашних.

Однажды «дид» вернулся необычайно взволнованный.

— Нет, это безобразие! — кричал он, еще прыгая по саду и приближаясь к веранде, на которой я сидел в плетеном стуле.

— Безобразие! — повторил он, тряся своей маленькой, ощипанной головой, за невозможностью размахивать руками, из которых одна действовала костылем, другая беспомощно висела на перевязи.

— Вы знаете... Нехай бис его заберe. Этот наш батька атаман кубаньский, бисов сын Хвилимонов... моего Андрюшку хочет суду предать за грабежи. А? Як вы кажете?

Я сделал вид, что необычайно удивлен и даже возмущен в лучших своих чувствах, хотя о подвигах знаменитых «волков», шкуринских партизан, много наслышался еще в Закавказье.

— Нет, это я так не оставлю... Я знаю, что треба зробыть! — не унимался «дид», усаживаясь в кресло.

— Я пийду к нему, этому... как его... Хвилимону или, мабуть, Лимону и побачу с ним. Я брехну ему в лицо:

«Александр Петрович! А ты помнишь, когда ты служил у меня в сотне хорунжим и прокутил сто рублей казачьего жалованья? Я предал тебя суду али нет? Не предал, а покрыл грех. Свои карбованци за тебя выложил. А ты что теперь хочешь зробыть с моим Андрюшкой».

«Дид» на другой день исполнил задуманное.

— То-то, вражий сын, нехай знае старого Шкуру! — торжествующе сообщил он на следующий день мне и другому квартиранту, сербскому офицеру. — Еще ни один из нашего роду не бувал под судом от тих пор, як мои диды прийшли з Запорожья, с Сичи, на вольную Кубань.

Он вдохновился, вспомнив прошлое, и начал рассказывать нам о славе своего рода. Перед нами проносились, одна другой красочней, картины дикого Запорожья и кровавых битв казацкой вольницы с ляхами и турками, выплывали из тьмы веков величавые образы куренных, кошевых, гетманов, во всей своей дикой красоте.

— Вот она откуда, эта бешеная удаль и буйный пошиб у его Андрея! — невольно приходило в голову.—В современном казачьем офицерике проснулась кровь предков, зипунных рыцарей Дикого Поля.

В заключение старик провел нас в свою спальню. Там, над самой его кроватью, на стене, висела поверх ковра небольшая коллекция старинного оружия.

— Хочу умереть козаком, — продолжал шестидесятилетний вояка. — От цю пистоль та-й цю шаблюху нехай сыны положат на мою домовину. Нехай старый Грицько Шкура̀ предстанет пред господом с оружием, как и его диды. И Андрюшке и Володьке даю тот же завет. Тильки воны, бисовы хлопци, оба у меня бесплодные. У Володьки жинку на походе бомбой убило. А Андрюшка... (Тут старик безнадежно махнул здоровой рукой)... Тому некогда бабиться... Воюет... Жинку с весны потерял... Мабуть, и в живых нема Тасиньки.

Тут старик счел нужным дотронуться носовым платком до своих подслеповатых глаз.

Таков был отец вождя «волков», очень больно кусавших русское крестьянство в 1918 — 1919 годах.

Съездив на несколько дней в Новороссийск, где у меня водились давнишние друзья-приятели, я возвратился в квартиру старого «дида» и был поражен неприятным сюрпризом. Городская комендатура предлагала мне немедленно же покинуть Кубанскую область, так как я за десять дней своего пребывания в Екатеринодаре не поступил ни в Добровольческую армию, ни в военные учреждения Кубани.

Положение мое стало затруднительное. Средства почти иссякли. Приходилось что-либо предпринимать.

Было ясно, как божий день, что раз здесь мобилизуют всех офицеров, то и мне не избежать общей участи. Но я не имел ни малейшего желания воевать, будучи в достаточной степени равнодушен к тем туманным лозунгам, которые провозглашала Доброволия.

Решив предупредить события, я отправился к генералу-от-кавалерии Абраму Михайловичу Драгомирову, только что назначенному председателем особого совещания при главнокомандующем, т.-е. главой деникинского правительства. Мне хотелось узнать, будет ли в районе Добровольческой армии организован военно-окружный суд, подобный тому, в котором я привык служить за годы мировой войны.

В приемной у генерала сидело душ пятнадцать.

Мое внимание привлек бритый и наголо выстриженный господин, низенького роста, коренастый, с малоподвижным, почти деревянным лицом и с крайне неприятными лисьими глазами. На нем чернел костюм статского человека, но некоторые манеры выдавали в нем военного.

— Да ведь это Макаренко! — решил, наконец, я, всмотревшись пристально в бритого барина.

Генерал Макаренко — преемник знаменитого главного военного прокурора ген. Павлова, убитого в 1906 г. террористом Николаем Егоровым. Этот сухомлиновский лакей, подобно своему, более талантливому, предшественнику, тоже приложил все свое старание, чтобы развратить, оподлить, деморализовать военно-судебное ведомство, чтобы превратить военный суд в послушное орудие административного воздействия. С его именем тесно связаны многие язвы нашей службы, и ни один военный юрист-практик не поминал добром главу своего ведомства.

Когда разразилась мартовская революция, Макаренко арестовали вместе с министрами. Носился слух, не знаю, насколько верный, будто царь в последний момент предполагал создать «министерство усмирения» во главе с Протопоповым, который предложил ген. Макаренко занять пост министра внутренних дел. Быстрое падение царизма разрушило всю эту затею, если она существовала в действительности.

— Скажите, — обратился я к адъютанту Драгомирова, желая проверить себя, — кто этот маленький статский? Не генерал Макаренко?

— Да он, вы не ошиблись.

— Чего он тут болтается?

Адъютант удивленно посмотрел на меня. Мой непочтительный вопрос покоробил его. Чтобы нагнать на меня жару, он важно произнес:

— Его превосходительство генерал-лейтенант Макаренко назначается министром юстиции.

Тут уж я удивленно посмотрел на ротмистра.

Макаренко в это время пригласили к Драгомирову.

— Как? — готов я был кричать вслух. — Это воплощение ненавистного старого режима, прогнанный в начале революции, как вреднейший для России человек, здесь будет в составе правительства и станет насаждать правосудие. Что ж это будет за обновление? Во имя чего же ведется гражданская война?

Тогда я еще плохо знал верхи Доброволии.

Тонкий светский человек, Абрам Михайлович принял меня более чем любезно. Узнав, что я профессионал военно-судебного дела, еще более усугубил свое внимание.

— Как же, как же! Нам нужны такие люди. Мы будем строить Россию на началах права и законности...

— Которые будет насаждать ген. Макаренко,—подумал я.

Меня крайне интересовало, какова же в конце концов политика Доброволии, стоит ли последняя за Учредительное Собрание, какую собирается проводить программу и т. д.

— Скажите,—задал я вопрос генералу,—какие цели преследует ваша армия?

Драгомиров иначе понял мои слова.

— Цели? Наша ближайшая сейчас цель—итти на Волгу, на соединение с Колчаком, чтобы общими силами ударить на большевиков, с юга и востока.

Таков, надо полагать, был первоначальный стратегический план Деникина. Драгомиров даже не считал нужным скрывать его.

В 1918 году этому плану не удалось осуществиться из-за отсутствия достаточных сил, а в 1919 году его отвергли из нежелания делиться лаврами и портфелями с министрами Колчака.

Драгомиров отправил меня к начальнику деникинского штаба ген. Ив. Пав. Романовскому, злому гению Доброволии. Черносотенцы его считали масоном; либералы — черносотенцем. В действительности он представлял из себя тупого, недалекого солдата, притом довольно надменного, свыше меры честолюбивого. Он являлся родоначальником добровольческого сепаратизма и всегда ревниво оберегал первородные права Доброволии.

25 сентября, утром, я зашел в приемную Романовского. Там тоже сидело несколько человек, из которых иные,

несомненно, только что прибыли в Екатеринодар на ловлю счастья и чинов.

Вот сырой, толстый генерал. Видно и по лицу, и по одежде, что судьба уже потрепала его, но еще не смирила. Придавила, принизила, но не укротила, не вышибла олимпийского духа. Надменный вид. Ядовитая улыбка.

Это бывший астраханский губернатор,—так он сам отрекомендовался мне.

Сидя в приемной у какого-то, едва вынырнувшего из неизвестности, генерала, этот бывший сановник старается как можно любезнее говорить с посетителями в малых чинах. Но по его злобному лицу чувствуется, что дай опять этому Юпитеру власть, и он снова начнет метать громы и молнии, сгибать в бараний рог, показывать кузькину мать.

Вот и другой тип. Тоже довольно солидный, осанистый генерал-от-кавалерии Смагин. Он величественен и невозмутим. Потому что «у дел». Он, не много, не мало, посол всевеликого войска Донского при ставке главнокомандующего. Он даже не садится, а стоит у двери кабинета, зная, что, как только явится Романовский, ему прием вне очереди.

Потрепанный, безработный губернатор смотрит на него с завистью. И с несомненной ненавистью. И, несомненно, уже готов шипеть по адресу благообразного, прилично одетого Смагина:

— Самостийники! Приструнить бы вас надо.

Через два года судьба сравняла их. Бывший губернатор сделался нахлебником сербов, ген. Смагин — болгар, которые дали ему пенсию, как участнику войны 1877 года.

Романовского ждали довольно долго. Когда он наконец прибыл и увел к себе в кабинет посла войска Донского, дежурный офицер сообщил нам:

— Господа! Генерал Романовский сейчас от Алексеева. Полтора часа тому назад не стало Михаила Васильевича.

Эта новость никого не поразила. Основатель Добровольческой армии уже несколько недель находился на краю могилы.

Дождавшись очереди, я вошел к Романовскому и подал ему записку Драгомирова, который писал:

«Я полагаю, что в дальнейшем нам придется формировать военно-судебные учреждения, и такие специалисты, как предъявитель сего, нам будут крайне необходимы».

Драгомиров, чуждый «добровольческого сепаратизма», ошибся.

— Извините! Мы даем у себя места только тем, кто был с нами в походе, — холодно заявил мне Романовский, когда я сказал ему, что если Добровольческая армия требует

от меня поступления на военную службу, то пусть меня назначат служить по специальности.

Ответ и тон Романовского смутили меня.

— Генерал Драгомиров сообщил мне, что правительство примет все меры к насаждению права и законности. Не будете же вы формировать суды из неюристов?

— Пока что мы довольны тем судом, который у нас есть.

Генерал был прав.

Тот военный суд, который пока что имела Добровольческая армия, вполне соответствовал ее мстительно-реставраторской идеологии. Во главе этого суда, почему-то называвшегося корпусным и действовавшего наподобие военно-полевого суда, [1] стоял некий полковник Ив. Ив. Сниткин, грубый бурбон, выгнанный еще задолго до войны из военно-судебного ведомства за алкоголизм. Очутившись в корниловском отряде, он, как единственный офицер с военно-юридическим образованием, занял должность председателя корпусного суда. О том, что это было не судилище, а простая расправа, повествует А. Суворин-Порошин в своей книге «Поход Корнилова».

Еще ничего не зная о подвигах этого господина, а равно и не зная его личности, я пошел было познакомиться с этим судебным деятелем, своим коллегой, да и сам потом был не рад своему поступку.

Меня встретил здоровенный, грубый детина, который, не считая нужным предложить стул, рявкнул, узнав, что я военный юрист:

— А где вы шатались в то время, когда мы поднялись против большевиков и проливали кровь за отечество? Небось, сидели в углу и выжидали?

Я попробовал было возразить, что в тот период, когда он «проливал кровь за отечество», я еще находился в дебрях Турции с последними крохами старой Кавказской армии, до конца исполняя свой солдатский долг. Но гроз-

---

[1] Корпусные суды, введенные в действие в 1914 году, в самом начале мировой войны, учреждались при частях армии и организовывались по образцу военно-окружных судов и с компетенцией последних. При них существовали военные прокуроры, допускалось участие защиты, приговоры могли быть обжалованы в кассационном порядке и т. д. Главнейшие должности в этих судах занимали военные юристы, выделенные из военно-окружных судов. Военно-полевые суды — чрезвычайные судилища, имевшие мало общего с нормальными военными судами (военно-окружными, корпусными, временными военными и т. д.). По царским законам, военные юристы в них не допускались, прокуратура в них отсутствовала; защита в лице адвокатуры возбранялась; заседания происходили негласно и т. д. В мировую войну применение военно-полевых судов было чрезвычайно редко, в гражданскую же они вошли в обиход, оттеснив на второй план нормальные военные суды.

ный судия не дал мне договорить и в таком тоне продолжал дальнейший разговор, что я поспешил обратиться в бегство.

Благородное негодование г. Сниткина мне было понятно. Оно объяснялось очень просто: шкурным интересом, боязнью конкуренции. Моя персона при этом играла второстепенную роль. Но по моим следам из Тифлиса могло нахлынуть добрых два десятка военных юристов, притом в солидных чинах. Впоследствии так и случилось, но тогда уже Доброволия значительно выросла и для всех находились должности.

Еще более встревожился, узнав о моем появлении в Екатеринодаре, председатель только что сформированного Кубанского краевого военно-окружного суда ст. сов. В. Я. Лукин, один из стаи щегловитовских птенцов.

Этот типичный судеец - карьерист перед февральской революцией занимал должность прокурора Усть-Медведицкого окружного суда (в Донской области) и пользовался всеобщей ненавистью за свое подхалимство в отношении начальства и за свои иезуитские замашки при обращении с подчиненными. Как ни приноравливался он после падения царизма, как ни украшал свой виц-мундир красной розеткой, его все-таки выгнали со службы как черносотенца.

Прогулка в корниловском обозе по задонским степям и уменье втираться в доверие к сильным мира сего привели к тому, что этот чиновник, не имевший понятия о военном быте, об особенностях военной юстиции и совершенно чуждый казакам, по занятии Екатеринодара добровольцами, возглавил кубанское военно-судебное ведомство.

Если недалекий Сниткин свирепствовал в силу своей солдатской тупости, то достаточно разумный ст. сов. Лукин не ограничился ролью простого вешателя. Руководя, помимо суда, деятельностью судебно-следственных комиссий Кубанского края, он с особенным смаком выискивал измену, т.-е. большевизм, и смешал, таким образом, в своем лице роль и председателя суда, и утонченного охранника.

Он хватал и сажал в тюрьмы тех должностных лиц, кто не саботировал при большевиках. Мой знакомый екатеринодарский адвокат П. П. Боговский был привлечен им к ответственности и затем судим за то, что в период господства Советской власти на Кубани заведывал регистрацией браков и разводов. Он точил зубы на другого моего приятеля, тюремного инспектора Н. Д. Плетнева, исполнявшего свои обязанности и при большевиках. Сестра Шкуро, г. Л. Г. Лео, неоднократно жаловалась мне на свирепость этого служителя Фемиды, который держал за решоткой множество знакомых их семьи, в том числе и док-

тора Мееровича, и просила моей помощи для освобождения невинно заключенных.

Увы! Я и сам попал в число подозрительных.

Лукин как-то разведал о моей близости в 1917 году к Совету солдатских и рабочих депутатов Эрзерумского района. Этого ему оказалось достаточно, чтобы провозгласить меня «большевиком».

Мне приходилось уже думать о том, как бы унести подобру-поздорову свои ноги из Екатеринодара, где вообще царил крайне нездоровый дух, как в этом скоро убеждались все, не зараженные кондотьерскими замашками.

Как-то раз я встретил на улице своего старого сослуживца по пехотному полку, где я тянул лямку до Академии, капитана Петрова, который не преминул поделиться со мною екатеринодарскими впечатлениями.

— Отправился я, — рассказывал он, — к дежурному генералу деникинского штаба и говорю ему: «Вы, ваше превосходительство, сзываете к себе на службу офицеров. Но позвольте предварительно узнать, за что же борется Добровольческая армия. Какова ее политическая программа?» — «А вы видели, — спрашивает он меня вместо ответа, — какой флаг развевается над нашим штабом?» — «Видел». — «Какой же?» — «Русский трехцветный». — «Это должно вам сказать все. Мы боремся за Россию». Мне оставалось только пожать плечами. Ведь под трехцветным флагом могла скрываться Россия и царско-самодержавная, и кадетско-конституционная, и буржуазно-республиканская и т. д.

Безвыходность положения заставила капитана Петрова, человека крайне либерального со школьной скамейки, поступить в Добраволию и служить в ней до 1920 года, когда он, с моего ведома и благословения, бежал из Крыма в Одессу на парусном судне.

27 сентября хоронили Алексеева.

Кубанское правительство, в знак признательности к организатору Добровольческой армии, освободившей Кубань от большевиков, объявило день его похорон днем траура. Воспрещалась всякая торговля, тем более увеселения. В правительственных учреждениях и учебных заведениях отменялись занятия, чтобы дать возможность каждому отдать долг усопшему, «первому добровольцу», бывшему верховному главнокомандующему и просто честному человеку.

Распоряжение кубанских властей о закрытии всех торговых заведений в день погребения вождя добровольцев плохо выполнялось. Когда я шел на похороны, кажется, по Димитриевской улице, из харчевен и чайных, окна

которых прикрывались ставнями, доносились пьяные песни и звуки тальянки.

У Екатерининского собора, в котором происходило отпевание, я впервые увидел строй добровольцев. Среди них преобладали молодые офицеры. С непривычки резали глаз целые роты офицеров, в самых различных формах, с винтовками на плече. Одежда у большинства не отличалась свежестью. На ногах у многих зеленели английские обмотки.

Матерые добровольцы, не новички, носили свою «цветную» форму.

Корниловская поражала наибольшей пестротой.

Кто расписан как плакат?
То корниловский солдат.

Такое двустишие сложилось про корниловцев для «Добровольческого журавля». [1]

Жур мой, жур мой, журавель,
Журавушка молодой.

А. Порошин-Суворин, описывая эмблему корниловских ударников, нашитую на левом рукаве, в виде щита из голубого шелка, на котором белый череп с костями и мечи и красная разрывающаяся граната, поясняет:

— «Череп с костями и мечами — бессмертие посредством оружия; граната — признак всех гренадеров, к которым принадлежит корниловский полк. Девиз полка, предложенный полк. Нежинцевым: [2] «Лучше смерть, чем рабство». [3]

Марковцы (офицеры и солдаты полка имени ген. Маркова, быховского сидельца) блистали белыми фуражками; дроздовцы или «дрозды» (офицеры и солдаты отряда полк. Дроздовского, пробившегося на Дон с Румынского фронта весною 1918 г.) приятно щекотали глаз своей малиновой формой.

Смерть организатора Добровольческой армии не внесла никаких изменений в положение вещей на юге России.

Контр-революционное ядро было создано. В дальнейшем, благодаря политическому невежеству русского офицерства, привычке военной массы раболепно следовать за старшим в чине, а также благодаря безработице, выпавшей на долю военщины, Доброволия стала быстро пополняться и расти. Она, как ком снега, чем далее катилась, тем все более увеличивалась в размере. Правда, этот ком был рыхлый. Но его тяжесть дала себя знать русскому пролетариату.

---

[1] «Журавель» — песня, состоящая из различных двухстишных куплетов и припева.

[2] Любимец Корнилова, командир ударников, убит в бою под Екатеринодаром.

[3] См. «Поход Корнилова».

Здесь, в Екатеринодаре, уже с очевидностью проскальзывала тесная связь Доброволии с Антантой. Краснова, который стоял во главе Дона и якшался с немцами, ругали что есть силы. Известное письмо донского атамана кайзеру о помощи против большевиков рассматривалось как изменнический акт по отношению великой и неделимой.

Доставалось и «гетману всея Украины».

— От смотрите же, ну не бисов ли сын Павло Скоропадський! — тараторил однажды старый Шкура, показывая мне в номере одного екатеринодарского журнала фотографический снимок, изображавший прием Вильгельмом гетмана, при чем сверху красовался заголовок: «Хозяин и Работник».

В последние дни своей жизни в Екатеринодаре я был зрителем совсем диковинного судебного процесса. Ст. сов. Лукин (кстати сказать, он носил такие широкие погоны, что репортеры считали его за военного и в отчетах титуловали генералом) судил группу кубанских офицеров, не много, не мало, за попытку отторгнуть от России часть ее территории, именно Таманский полуостров, древнерусскую Тмутаракань.

Вина этих продавцов России в розницу так обрисовывалась обвинительным актом.

Генералы кайзера, чтобы захватить возможно больший район южной России для производства реквизиций хлеба, в мае 1918 года высадили на Таманский полуостров небольшой отряд, который выбил отсюда большевиков. Под прикрытием германских пулеметов местное казачье офицерство сорганизовалось и мобилизовало казаков, чтобы оборонять пределы полуострова от советских войск. Образовался отряд, в командование которым вступил полк. Перетятько. Начальником штаба он избрал полк. Комянского. Оперативной частью ведал есаул Григорий Иванович Горпищенко, молодой, энергичный и честолюбивый человек. В виду слабости старших начальников, Горпищенко сделался фактическим хозяином отряда, подружился с немцами и весьма недружелюбно относился к войсковому правительству, болтавшемуся тогда в междупланетном пространстве. Немцы в лице Горпищенко на Таманском полуострове нашли миниатюрное подобие Павла Скоропадского.

Чтобы усилить денежный фонд своего вассального владения, Горпищенко прибег к довольно оригинальному средству. Таманская флотилия (существовала и такая!), под начальством полк. Толмазова, занялась каперством. Суда приводили в Тамань, груз реквизировали, а экипаж и пассажиров передавали в распоряжение начальника контрразведки, подозрительного «инженера» Каштанова. Послед-

ний в первую голову отбирал у пленников все ценное, иных пускал в расход, других освобождал, но, разумеется, без имущества.

В июне на полуостров прибыли уполномоченные от бродячего краевого правительства сотник Балабас и есаул Федоренко, которые начали протестовать против подобного добывания средств таманским главковерхом. Но Горпищенко сейчас же выслал их туда, откуда они прибыли. Сторонники краевого правительства собрали было станичный сбор и пытались узнать, почему высланы Балабас и Федоренко. Штаб отряда, через «инженера» Каштанова, передал им:

— Войсковое правительство гроша ломаного не стоит, так как в феврале оно позорно бежало из Екатеринодара. Войсковой же атаман — вор и мошенник, и если он сунется сюда, то тоже будет арестован.

Казаки почесали чубы и притихли.

Зато безземельное кубанское правительство никак не могло успокоиться. Ему надоела бродячая жизнь и страстно хотелось раздобыть хотя бы клочок своей кубанской земли. Освободившаяся от большевиков Тамань невольно привлекла внимание и Рады, и правительства.

На полуостров снова командировали доверенное лицо, на этот раз в большом чине, генерал-майора Борисевича, с предписанием вступить в командование таманским отрядом. Думали, что этот посол подчинит себе все таманское офицерство.

Однако, коса нашла на камень.

Горпищенко, сам привыкнув распоряжаться по-генеральски, не испугался генерала. Когда Борисевич, набравшись храбрости, захотел расформировать штаб, Горпищенке же приказал итти под арест, немцы схватили его самого и сплавили с полуострова.

Все пошло по-старому.

Между тем Добровольческая армия повела наступление на Кубань. Немцы всполошились. В их интересы вовсе не входило, чтобы хлебные места занимала явно враждебная им организация. Действуя через Горпищенко, они даже решили расширить это тмутараканское государство, нужное им, как база для выкачивания хлеба и других плодов земных.

Во исполнение немецкой директивы, штаб отряда разослал в соседние станицы, где царила анархия, воззвания, в которых станичным сборам предлагалось обсудить вопрос о призыве немецких отрядов и об изгнании как большевиков, так и уполномоченных краевого правительства. Станичных приговоров не последовало.

Штаб этим не обескуражился. Горпищенко решил пожать лавры завоевателя. Двинув свои войска во все стороны, он захватил ряд соседних станиц и город Темрюк.

Дальнейшему победоносному шествию таманского Наполеона помешала Добровольческая армия, занявшая Екатеринодар. Тщетно Горпищенко рассылал воззвания по Кубани о том, что таманский отряд поможет казакам, восставшим против советов, окончательно освободиться от большевиков, если повстанцы прервут всякие сношения с армией Деникина и прогонят правительственных агентов.

Звезда таманского главковерха догорала. Дни самостийного таманского государства были сочтены.

Колонна правительственных войск, т.-е. кубанцев, подчинявшихся в военном отношении Деникину, заняла г. Темрюк. Ее вождь, ген. Карцев, созвал в этом городе казачий съезд для обсуждения вопроса об отношении к краевому правительству, уже утвердившемуся в Екатеринодаре благодаря победам добровольцев.

Горпищенко рискнул отправиться в Темрюк, чтобы изложить на съезде свою программу спасения отечества с помощью немцев. Как только он явился туда, ген. Карцев тотчас же арестовал его вместе с его телохранителем, черкесом Абдул-Земилем, который ранее состоял в той же должности при большевистском комиссаре Белякове, расстрелянном в Тамани.

Этим и закончилось трагикомическое существование таманского государства.

28 сентября есаул Горпищенко, полк. Комянский и Толмазов и унт.-оф. Абдул-Земиль предстали перед краевым военным судом, в котором председательствовал статский юрист. Г. Лукин впервые дебютировал в новой роли.

Официально дело называлось «Мятеж против краевого правительства».

После двухдневного разбирательства суд приговорил Горпищенко и Комянского к четырем годам арестантских отделений, черкеса к двум месяцам тюрьмы, Толмазова оправдал.

Вскоре атаман помиловал и первых двух.

Накануне своего отъезда из Екатеринодара я встретился на Красной с Лукиным.

— Изумительные дела творятся у вас, — сказал я. — Тут кто борется с большевиками при помощи Антанты, а кто при содействии немцев. И одни другим готовы перегрызть глотку, хотя враг общий. Ведь этак не будет добра. Далее, вы называете большевистскую власть рабством, а сами почти открыто несете России старый режим, который душил всех. Можно ли рассчитывать при таких условиях на успех?

— В вас все еще бродит 1917 год! — со сладенькой улыбочкой отвечал мне чиновный иезуит.

Но вскоре он начал косить лицо и читать мне нотацию.

— И не пора ли забыть эти заезженные фразы о том, что царизм кого-то душил, пил чью-то кровь? Разнуздалась, батенька, Россия, — мы ее опять взнуздаем. Все-то у нас пойдет по старенько-ому... Что вы думали? Мальчишки будут умнее умудренных опытом людей? Нас на свалку?

В нем заговорило служебное самолюбие, уязвленное еще февральской революцией. Во мне, молодом судебном деятеле, приветствовавшем свержение царизма, он видел почти личного врага, вследствие чего сделал особенно сильное ударение на слове «мальчишки».

— А удастся взнуздать? Как бы не ошибиться?

— А вот, — он указал на толпившиеся возле комендатуры офицерские группы, — лучшее доказательство вам. Все едут к нам, все наши с руками и ногами. Почему? Потому что все соскучились по старой палке.

— Не увлекайтесь офицерством. Это еще не вся Россия. Царь имел очень много офицеров, а знаете, что случилось? Я, потолкавшись среди этой приезжей братии больше недели, отлично знаю, что среди них нет никакого энтузиазма. Они пойдут воевать, но из-за голода, от безработицы, а не во имя идеи. А у большевиков несомненный революционный пыл.

— О! у нас и в России много союзников. Весь народ ждет нас как избавителей, отдаст последнюю полушку для нашего дела. Мы идем к верной победе. Добровольческая армия...

Тут ст. сов. Лукин оборвал свою речь на полуслове и неимоверно побледнел, так как где-то на окраине, в стороне вокзала, прогремел пушечный выстрел.

Вздрогнул и я от неожиданности.

Через каких-нибудь полминуты снова такой же гул пронесся в редком осеннем воздухе. Затем еще и еще. Рассыпались трели пулеметов, прерываемые время от времени пушечными раскатами.

Над станцией взвились облака дыма.

Лукин стремительно нырнул в толпу офицеров, среди которых уже носился затаенно-пугливый шопот:

— Большевики наступают!

— Местное восстание.

— Теперь капут всему.

— Вот те и спасли Россию.

Волнение охватило всю Красную улицу.

А беспрерывная канонада то и дело заставляла дребезжать окна в магазинах и сжиматься робкие сердца безъидейных искателей куска хлеба.

Наконец выяснилось, что вся эта ужасающая пальба происходит оттого, что подле вокзала загорелись вагоны со снарядами и патронами. При этом — злой умысел налицо.

Здесь, в столице кубанского казачества и Добровольческой армии, среди бела дня, явные сторонники большевиков могли совершенно спокойно выкидывать такие штуки!

Ясно, что их много.

Ясно, что они таятся среди низов.

Ясно, что эти низы не с Добровольческой армией.

Я выехал на Дон. Здесь тоже мобилизовали всех офицеров. Мне ничего другого не оставалось, как поступить на службу в только-что сорганизованный Донской военно-окружный суд. [1]

V.

ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ.

Стражи степи. Зипунные рыцари.

Сильные духом люди, сумевшие разорвать цепи крепостной неволи.

Строптивые гордецы, искавшие независимости там, где царила вечная, но бесславная война, где господствовало право сильного.

Пионеры, проложившие путь тысячам обездоленных, впавших в нищету или в преступление.

Это в отдаленном прошлом.

Расширилось и окрепло московское царство. Не нуждалось оно более в зипунных рыцарях, этой степной пограничной страже.

Потому что в степи вывелись кочевники-враги, потому что граница отодвинулась далеко на юг, потому что и сама степь сильно изменилась. Ее вспахали, засеяли. И всюду выросли, как грибы после теплого дождя, богатые казачьи хутора и станицы. А казак из хищника-воина превратился в воина-земледельца.

Твердой рукой вытравляло царское правительство остатки старых казачьих привычек, вредных для новой государ-

---

[1] Отказ офицеров от поступления в белые армии рассматривался как дезертирство. Так, напр., в июле 1919 г. Новороссийский военно-полевой суд приговорил к двадцати годам каторжных работ прапорщика Н. Н. Дмитриевского, отказавшегося поступать в Добровольческую армию под тем предлогом, что он уроженец г. Петрограда и на юге является иностранцем. («Донские Ведомости», 1919 г., № 170.)

ственности. Огнем и мечом отвечало оно на попытки казачества проявить свою безудержную волю, «тряхнуть Москвою», выискивать зипуны.

Но оно не отняло у казачества его громадных земель и разных угодий, поддерживало в нем любовь к военному ремеслу, не посягало на его своеобразный станичный быт.

С годами казаки стали привилегированным военно-земледельческим классом. Покорным царям войском. Опорой строя, основанного на привилегиях.

Тут же, среди казаков, в их хуторах и станицах, или рядом, селились «иногородние», «хохлы», более поздние пришельцы, явившиеся сюда, когда уже казачество из бесформенной вольницы превратилось в определенный государственный элемент.

Эти тоже претендовали на землю. Но опоздали. Земли были закреплены за войском. Весь излишек земель составлял войсковой фонд, из которого делали нарезки только казакам.

Пришельцы стали париями, низшим классом в казачьих станицах. В лучшем случае — арендаторами, в худшем — батраками.

Так в казачьих областях возникло противоречие классовых интересов.

Февральская революция не только не сгладила его, а еще более подлила масла в огонь. На сцену выступили казачьи поэты, казачьи историки, казачьи этнографы. И наконец — казачьи честолюбцы-политиканы.

Из пыльного арсенала прошлого они выволокли за волосы на свет божий мечту о вольной казачьей жизни. С выборным атаманом, с выборным Кругом или Радой. По заветам предков. Так, чтобы в казачьих областях хозяйничали только казаки. Так, чтобы возникла казачья автономия, казачий демократический строй.

В сумбуре революции общественная структура может на мгновение облекаться в самые причудливые, фантастические формы. В эпоху временного правительства возникли казачий Дон, казачья Кубань, казачий Терек.

Но жизнь скоро показала, что они — грубый анахронизм.

То, что давным-давно отжито, жизнь отринула, и отринула навсегда.

Трагическая история казачества в 1918—1920 годы крайне поучительна. Она показывает, сколь мучительно и сколь бесполезно воскрещение никому ненужной старины, воплощение в жизнь давно изжитой идеи.

Каледина, первого выборного атамана времен революции, окружали не практические дельцы, а романтики. Один из них, Митрофан Петрович Богаевский, учитель по про-

фессии, а по прозванию «донской баян», пытался создать новую казачью идеологию.

Он знал, что между казачеством, как зипунным рыцарством степи, и казачеством, как самым прочным фундаментом самодержавного строя, легло большое расстояние. Он и ему подобные считали, что московские цари, сокрушая казачьи вольности, т.-е. подчиняя казаков центральной власти, нарушили естественное развитие казачества, изуродовали его общественно-политический быт. Поэтам захотелось выкинуть два века из жизни, вернуться к XVII столетию и повести казачество тем путем, с которого его сбил рост московского государства.

Задача оказалась невозможной.

Низы, да и вообще казачий «народ», плохо понимали своих руководителей. Казачьим землеробам был дорог свой станичный быт, но отнюдь не позабытая ими казачья государственность по образцу XVII века.

Вскоре после Октябрьской революции волна большевизма захлестнула и казачьи области, в том числе и Дон. Станичникам на первых порах и в голову не приходило сопротивляться той власти, которая господствовала в центре. На протяжении последних веков они научились уважать центральную власть.

Тщетно донской атаман Каледин и его сподвижники кричали о грозящей казачьим вольностям беде. Низы в этой допотопной «вольности» не нуждались.

Каледин мог выставить против советских войск только... гимназистов. Потому что в партизанские отряды прославленных впоследствии Семилетова и Чернецова входили одни юноши, искавшие выхода своей энергии наподобие героев Майн-Рида. Взрослые не хотели сражаться за химеру.

Партизанские отряды не спасли Дона. Вифлеемские младенцы подверглись избиению.

29 января 1918 года прогремел калединовский выстрел. «Тишайший» Алексей Максимович, поняв тщетность борьбы с исторической необходимостью, покончил счеты с жизнью в своем атаманском дворце.

Его сподвижники, генералы П. Х. Попов, В. И. Сидорин и Э. Ф. Семилетов, с горстью партизан и офицеров, удалились из Новочеркасска в задонские степи. Унесли старую мечту в туманную даль будущего.

Ей еще раз удалось, опять-таки не надолго, воплотиться в жизнь, но, увы! в качестве прикрытия для реставраторских планов новых носителей пернача. [1]

Уже в марте донцы восстали.

---

[1] Пернач — атаманский жезл; то же, что у кубанцев — булава.

Восстали не оттого, что соскучились по воскресшем в 1917 году, а теперь разбежавшемся Круге, не потому, что нуждались в особом гербе, флаге и гимне, а потому, что почувствовали у себя в станицах неудобства нового строя.

Советская власть не считалась ни с какими привилегиями. Казаков и иногородних она расценивала одинаково. Те и другие в ее глазах являлись хозяевами в хуторах и станицах. Запасной земельный фонд, по ее мысли, должен был удовлетворять землею всех, кто в ней нуждался, независимо от того, принадлежит ли он к казачьему сословию или нет.

Казаков все это задело за живое. К тому же подчас неопытные советские администраторы без надобности задевали их за больное место. «Иногородние», добившись равенства, не всегда умеренно торжествовали свою победу, озлобляя казаков.

В станицах назревала междоусобная брань.

И она вспыхнула.

Дело началось под стольным городом Новочеркасском, в подгородней станице Кривянской. «Кривянка» — звали ее попросту. Жителей горожане именовали «кривичами».

27 марта на кривянских улицах гарцовала группа конных матросов. Навстречу им попалась толпа заплавцев, казаков соседней Заплавской станицы.

— Здорово, «козуня». [1]

— Здравствуйте, матросы конной гвардии.

— А что? разве плохо?

— Куда лучше! В роде как медведь на бороне.

Конечно, — пикировка, потом ругань, наконец, драка. Результаты для горсти матросов оказались неблагоприятными. Они в панике бежали в Новочеркасск.

Заплавцы, тоже с разбитыми носами, примчались домой и всех поставили на ноги.

— Матросы бьют казаков! Пора «гарнизоваться».

Атмосфера в станицах давно уже накалилась. Теперь промелькнула искра, casus belli был найден. Кривянский инцидент произвел взрыв.

В 4 часа утра 28 марта «кривичей» разбудил неистовый набат.

На ходу застегивая чекмени, казаки бросились на площадь.

— Что, что случилось?

Оказалось, прибыли делегаты из Заплавской.

— Так и так, у нас уже все «нибилизовались», от мала до велика. Не позволим хозяйничать «иногородним».

---

[1] Козуня или козя — шуточное название казаков.

Ай-да, к походному атаману[1] Попову. А нето отобьем Новочеркасск...

«Кривичи» не надолго задумались.

— Куда заплавцы, туда и мы. Одни ведь братья-казаки.

На следующий день в Кривянке уже лагерь. Подошли отряды из Заплавской, Бесергеневской, Богаевской. Оружия везде пропасть — осталось после прошлогодней демобилизации. Командного состава в станицах хоть отбавляй. Свои же казачьи офицеры.

Войскового старшину Фетисова избрали в предводители. Принцип старшинства в чине пришлось откинуть. В такие моменты достоинство людей измеряется качеством их характера, а не количеством звездочек и полосок на погонах.

Станичники победили, но только на четыре дня. Потом красные снова их выбили из Новочеркасска.

Движение, однако, разрасталось. Под стяг походного атамана ген. Попова стекались станичники, недовольные хозяйничаньем «иногородних».

На Дону закипела братоубийственная распря, в которой силы противников далеко не отличались равенством. Пришлые отряды красных были малы. Красных казаков еще меньше. «Иногородние» сразу же присмирели, когда сорганизовались казаки.

Каждая станица формировала свой полк, который выбирал себе командиров. Восстание быстро передалось во всех направлениях. Казакам никто не мешал «гарнизоваться», так как красные части стояли только в крупных центрах.

23 апреля ген. Попов вступил в Новочеркасск. По словам публициста, «он взял идею спасения казачьих вольностей, унес эту идею в степи и передал с рук на руки возродившейся казачьей власти».

Эта власть — Круг Спасения Дона, наспех собранный по освобождении донской столицы. Он быстро сварганил донскую конституцию и приступил к выборам атамана.

Казачьей «вольности» в это время грозила новая опасность со стороны немцев, воцарившихся на Украине. Выкачивая богатства из России, они нашли, что им вовсе не мешает донецкий уголь и казачий хлеб.

Немецкий отряд ген. фон-Арнима в конце апреля вступил в Ростов. У храма в честь Аксайской богоматери расположилась баварская конница. В 11 верстах от столицы Тихого Дона развернулась линия немецких аванпостов. Крупповские пушки пристально всматривались в громадный, золоченый купол новочеркасского собора.

---

[1] Походный атаман — нечто в роде военного министра или командующего армией. При Краснове этой должности более не существовало.

При таких условиях «Круг Спасения Дона» выбирал себе атамана. Тон задавала «черкасня», депутаты от ближайших к стольному городу станиц, так как их больше всего собралось. Северные округа еще не вполне очистились от большевиков. «Черкасня» всегда пела под дудку властей предержащих. Ее вождь, гвардеец Г. П. Янов, донской аристократ, отлично понимал задачи данного момента.

Немцам на Дону нужен был второй Скоропадский, избранный в гетманы украинскими «землеробами», т.-е. помещиками. Зажиточная «черкасня» выбрала в атаманы личного друга Скоропадского, ген. Петра Николаевича Краснова, обойдя того, кто имел на это большее право, ген. Попова.

Когда-то и Скоропадский, и Краснов служили при дворе императора всероссийского. Теперь оба одинаково начали служить интересам императора германского.

— Я вошел в переговоры с германцами, — рассказывал Краснов 16 августа, на заседании Большого Войскового Круга, о своих первых политических шагах.—Благодаря искусной политике ген. Черячукина в Киеве, Н. Е. Парамонова и В. А. Лебедева в Ростове, за шерсть и хлеб мы получили орудия, винтовки и патроны. И началась настоящая война с большевиками. Я обратился с письмом к императору Вильгельму. Я писал ему, как равный суверенный властитель пишет равному. Я указывал ему на рыцарские чувства обоих воинственных народов, германцев и донского казачества, и просил его содействия в признании нас самостоятельным государством, в передаче нам Украиной Таганрогского и Донецкого округов и в помощи оружием. Взамен этого я обещал, что войско Донское не обратит своего оружия против немцев, будет соблюдать нейтралитет и продаст избыток своих продуктов. Письмо возымело действие. 27 июля был подписан договор между Доном и Украиной о суверенности обоих государств. Этим договором мы обязаны давлению германского командования. [1]

Новый вождь донского казачества принадлежал к числу далеко незаурядных натур.

Это он в царское время писал фельетоны в «Русском Инвалиде» под псевдонимом Гр. А. Д. («Град» — имя его любимой лошади), развивая в них мысль об офицерстве, как особой благородной касте, отстаивая привилегии гвардейцев и возмущаясь «Поединком» А. И. Куприна.

Это он, при последнем издыхании временного правительства, спасал главноуговаривающего от пленения и шел с казаками на Петроград, чтобы задушить Октябрьскую революцию.

---

[1] Газета «Приазовский Край», 1918 г., № 123.

Теперь он выплыл на юге, на своей родине, где до сих пор бывал редко, и здесь замыслил выполнить то, что не удалось на севере.

Человек светский, прекрасно образованный, с несомненным литературным талантом, он сочетал в одном лице деятельного администратора и вдумчивого романиста, неутомимого кабинетного труженика и парламентского оратора. Обладая такими качествами, он сумел в самый короткий срок создать из Дона более или менее солидный государственный организм, по крайней мере, по внешности.

Будучи махровым черносотенцем, ген. Краснов очень ловко воспользовался извлеченной из преданий прошлого идеей казачьих вольностей для создания донского казачьего государства, нужного ему лишь как средство для борьбы с большевизмом в целях реставрации.

При своем уме и разносторонних талантах, он ухитрился превратиться в самодержца «демократического» казачества. Из своих министров (они назывались «управляющими отделами правительства») он создал коллегию послушных секретарей. Круг же им созывался только для того, чтобы ставить штемпеля на правительственных законопроектах.

Краснов умел втирать очки «высоким представителям земли Донской» (так их он звал), преподнося им длинные, талантливые речи, в которых соловьем разливался о казачьей воле, приводил выдержки из прадедовских песен и цитаты из священного писания, рисовал обольстительные эпизоды из древней казачьей жизни.

В минуты неустойки на каком-нибудь фронте он умел поддержать настроение описанием умилительной картины, как 74-летний казак-атаманец [1] Лагутин без седла, на домощенном коне, с деревянной пикой в руках, впереди сотни, вооруженной топорами, атаковал красную гвардию,— или же чем-нибудь другим, в том же роде.

Круг на самом деле начинал верить, что он — державный хозяин земли Донской, что он — высокое представительное учреждение, равное английскому парламенту, которому при открытии первой сессии послал приветствие, но не получил ответа.

Восхищенный воскресением своих казачьих вольностей, Круг покорно плясал под дудку умного атамана.

Если когда-либо появлялась оппозиция, если она начинала поднимать голову, Краснов не стеснялся журить «державного хозяина».

---

[1] Атаманцы—казаки б. лейб-гвардии атаманского полка, формировавшегося из представительных донцов, большей частью с громадными бородами.

— Круг сам вносит страстность в политическую жизнь страны, нарушая спокойную работу правительства. Вокруг Круга клубом плетутся вредные интриги, власть шатается, закон теряет к себе уважение, — грозно говорил тогда атаман, смело бросал на стол президиума атаманский пернач и уходил, зная, что через час явится к нему депутация с мольбою переменить гнев на милость.

Размолвка, конечно, быстро забывалась и все шло по-старому.

В станицах с охотой распевали сочиненный самим Красновым донской национальный гимн, перефразировку старой казачьей песни; с удивлением рассматривали новоизобретенный донской красно-сине-желтый флаг и добродушно хохотали при виде восстановленной донской печати, на которой изображался голый казак, с ружьем в руке, верхом на винной бочке. «Казак все пропьет, даже последнюю рубаху, но не ружье» — таково было старое значение этой оригинальной печати. Позже, когда Доброволия начала зло подтрунивать над этим отблеском старины, Краснов ввел в употребление другую печать, изображавшую оленя, пронзенного стрелой, что обозначало: как ни быстро бегает олень, но казачья стрела его нагонит.

Слушая трескучие фразы атамана и восхищаясь его делами, многие искренно думали, что «не седой ковыль расходился, не заяц степной перелетает с кургашка на кургашек, а восстала седая старина», [1] возродился православный Тихий Дон XVI или XVII века.

— В данное время мы единственная часть великой России, свободная и независимая ни от чьего постороннего влияния! — гордо заявлял иногда вождь Дона и тут же довольно политично начинал восхвалять мудрость «державного хозяина», создавшего Дон.

Чтобы еще более вскружить голову Кругу, Краснов убедил его наименовать донское государство всевеликим войском Донским.

Для такого пышного титула не существовало твердых исторических оснований. Атаман придрался к словам царских грамот XVII века, в которых иногда писали: «Всему великому войску Донскому», т.-е. верховому и низовому.

Донская пресса не переставала петь дифирамбы казачьему характеру и нравам.

«От времени, когда с казачеством сочеталось представление о зипунном рыцарстве, до того момента, когда о казаках говорили в неизменном сочетании с жандармом, легло большое расстояние. Но на том расстоянии сложился

[1] Журнал «Донская Волна», г. Ростов, 1919 г., № 30.

хороший, здоровый, казачий тип, закаленный в лишениях, выносливый, утвердившийся в сознании долга перед родиной, не выносивший рабства или крепостного быта, дороживший своим человеческим достоинством» и т. д., и т. д.[1]

В Новочеркасске усердно создавали донскую государственность, на фронте же война велась очень вяло. Казаки докатились до границ своей области и глубоко задумались.

— Зачем же нам итти дальше? Если переступим границу, нам же будет хуже. В России скажут, что казаки идут завоевывать русскую землю. Нам довольно своей! Только пусть оставят нас в покое.

Первый порыв уже прошел. Притом настало лето, в станицах требовались рабочие руки. Невольно стало сказываться утомление гражданской войной, а кое-где и сознание в ее бесполезности.

Для Краснова наступил опасный момент. Он отлично понимал, что от великого до смешного один шаг, и нажал все пружины. Круг тотчас же вынес постановление о том, что переход границы необходим в целях занятия некоторых пунктов, крайне важных для безопасности Дона.

Это средство плохо помогло. Казаки инстинктивно чувствовали, что, перейдя границу, они уже сами обратятся в нападающую сторону, а это вызовет ярость в России. Они менее всего думали «спасать» русский народ.

— С большевиками ведь можно договориться. Мы их не тронем, а они пусть нас не трогают. Чтобы все было по-старому.

Приказ о переходе границы привел к разложению восставших, которые видели, что в Новочеркасске мудрят, что стремления атамана и правительства расходятся с желаниями станичников.

3 августа, на Царицынском фронте, отряд полк. Антонова, не желая более сражаться с красными, сдал без боя станицы Негавскую, Баклановскую и Верхне-Курмоярскую.

В Усть-Медведицком округе 1-й и 4-й Донские полки и полки Усть-Бело-Калитвенской, Верхне-Кундрючеокой и Нижне-Кундрючеокой станиц мало того, что отказались воевать, но даже стреляли по тем, кто, во исполнение приказа, пошел в бой.

Находились начальники, которые не хотели переходить границы. К числу их относился выборный командир полка Милютинской станицы войсковой старшина Коньков. Он еще до этого прославился своим непослушанием. Как-то раз ему удалось отбить у красных, на станции Арчеда, 60 ведер спирту. После этого уже никакие приказы прави-

[1] Газета «Донские Ведомости», г. Новочеркасск, 1918 г., № 77.

тельственного начальника, ген. Фицхелаурова, не могли заставить его итти в наступление. Ослушника, наконец, убрали в тыл. Впоследствии он снова попал на фронт и пал смертью храбрых.

13 августа в полках Трех-Островянской, Ново-Григорьевской и Сиротинской станиц состоялся митинг.

— Воевать, братва, дальше али нет?

— Будя... Замиряться надо.

— Делегацию бы отправить к красным. Не желаем воевать, ни к чему!

Выборные командиры не протестовали. Правительственный начальник пытался их облагоразумить.

— Ведь мы же всевеликое войско Донское. Мы послали выборных на Круг. Круг, вместе с выборным атаманом, правит нами. Сами же мы создали правительство, так как же ему не подчиняться? Оно знает, когда надо заключить мир.

В конце концов делегацию к красным не послали. Но утром полки разбрелись по домам.

Дело принимало скверный оборот. Краснову приходилось волей-неволей раскрыть свои карты, объявить, во имя чего же ведется борьба, какова ее конечная цель, только ли освобождение Дона, как говорилось сначала, или какая-нибудь другая. Приходилось подумать и о помощи.

16 августа, при открытии сессии Большого Войскового Круга, атаман очертил в пространной речи свою правительственную деятельность и заявил довольно смело:

— Мы победим, если не будет братания и преступной агитации. Россия ждет своих казаков. Близок великий день. Наступает славное время. Помните дедов своих под Москвой и великий земский собор в 1613 году. Кто вслед за галицким дворянином подошел к столу, где сидел князь Пожарский, и положил записку. То был донской атаман.— «Какое писание ты подал, атаман?» — спросил его князь Пожарский. — «О природном царе Михаиле Федоровиче», — отвечал атаман. «Прочетше писание атаманское, бысть у всех согласенный и единомысленный совет», — пишет летописец.

Переведя дух, Краснов от спокойного эпоса перешел к лирике, начав цитатой из апокалипсиса:

— Господа высокие представители всевеликого войска Донского! «Близок есть, уже при дверех». Близок час спасения России. Но, помните, не спасут ее ни немцы, ни англичане, ни японцы, ни американцы, — они только разорят ее и зальют кровью. Не спасет Россию сама Россия. Спасут Россию ее казаки.

В ту же осеннюю сессию Круга он потребовал себе чрезвычайных полномочий.

— Обстоятельства таковы, что я должен быть «атаманом военного времени»,—говорил донской владыка.

Круг расширил его права и разошелся.

Краснов продолжал «спасать» Россию. Добровольческая армия, воюя на Северном Кавказе, конкурировала с ним.

Чтобы сразу убить нескольких зайцев, т.-е. усилить казачий фронт, подтолкнуть казаков на завоевание Москвы, а вместе с тем ослабить и Доброволию, в угоду немцам, изобретательный атаман начал формировать армии Саратовскую, Воронежскую и Астраханскую. Цель их — освобождать от большевиков губернии тех же наименований.

Краснов рассчитывал, что вслед за этими армиями охотно двинутся и казаки, сначала — просто по пятам, из любопытства или соревнования, а потом, увлекшись борьбой, воодушевятся и ринутся лавиной к Москве.

Мысль была остроумная, хотя несколько обидная для казачьего самолюбия. Но в жизнь она почти не воплотилась.

Крестьяне соседних губерний, частицы которых захватили донцы, не желали мобилизоваться и поступать в красновские армии. Они вообще ни с кем не хотели воевать, тем более наступать на свои же губернии в качестве казачьего авангарда.

В Саратовскую армию (формированием ведал полк. Манакин) удалось навербовать не более сотни всяких проходимцев, до какого-то поляка Розалион-Сошальского включительно. Они поступили под команду известного авантюриста есаула Грекова, не из донских казаков,—хотя эта дворянская фамилия самая распространенная на Дону.

Греков — болезненный юноша, явный дегенерат. Ему было 23 — 24 года, но его волосы совершенно поседели от какого-то внутреннего недуга. За это его прозвали, или он сам себя прозвал для пущей важности, «Белым Дьяволом». В ноябре 1917 года он, по поручению Корнилова, вербовал казаков в Добровольческую армию. Так как вербовка дело небезвыгодное, то он и теперь, в 1918 г., предложил свои услуги Манакину.

Отряд «Белого Дьявола», единственная войсковая часть, входившая в опереточную Саратовскую армию, расположился осенью в станице Бело-Калитвенской. Однако, после грандиозного дебоша и побоища со станичниками, в результате чего добрая четверть отряда попала под суд, это основное ядро «Саратовской армии» поспешили расформировать. Тем и кончилось ее существование.

После этого «Белый Дьявол» подвизался где-то в Одессе, формировал какой-то отряд, растратил 60 000 руб. казенных денег, снова вернулся на Дон, в 1919 г. был нашим клиентом, при чем, для смягчения своей вины, доказывал свои заслуги, представив мандаты, за подписью Корнилова и Каледина, на формирование партизанских отрядов, и, наконец, закончил свою бурную и буйную жизнь в апреле 1920 года, в г. Екатеринодаре, по приговору ЧК.

С Астраханской армией дело обстояло несколько лучше. Во главе ее Краснов поставил калмыцкого князя Тундутова, бывшего царского флигель-адъютанта. Астраханские калмыки, народ патриархальный, как и донские, посыпали к Тундутову, который сформировал из них особый полк. Донские калмыки, населявшие Сальский округ, еще при царях были зачислены в донское казачество. Теперь из них сформировали Зюнгарский калмыцкий полк, тоже влитый в Астраханскую армию.

Зато формирование некалмыцких частей шло туго.

Разного воронья налетело вдоволь. Титулованные вербовщики, с царскими вензелями на погонах, старались зашибить деньгу. Они начали формировать множество астраханских частей, — пехотных, конных, даже инженерных, но так и не сформировали ничего.

Я сам неоднократно наблюдал, как обломки старой аристократии, запрудившие Новочеркасск, с трепетом ждали вестей из красновского дворца, куда они частенько заглядывали с предложением своих услуг по формированию. Больше всего волновались шикарные дамы, резко выделявшиеся своими породистыми лицами от грубоватых донских женщин.

— Слышали, слышали? Гвардейская батарея будет формироваться в составе Астраханской армии?

— Ах, какая прелесть! Мой Серж обязательно попросится туда в адъютанты.

Из Новочеркасска, где титулованное воронье околачивалось в поисках теплых мест, оно перекочевывало в многочисленные штабы, расположенные на станциях между Ростовом и Великокняжеской. Здесь, в приспособленных для жилья теплушках и в полуразрушенных казачьих хатах, царил тон Павловска или Царского Села.

Князь Тундутов, за невозможностью производить смотры войсковым частям, так как их, кроме калмыцких полков, почти не существовало, объезжал штабы. Его встречали оглушительной музыкой (оркестры формировали в первую очередь) и угощали обедами с шампанским, которое пили под крики ура и звуки гимна «боже царя храни». Немонархистов в штабы не принимали. Подвыпив, князь

очень щедро производил подчиненных в чины, по вытрезвлении же спешил отменить свои приказы, так как Краснов не предоставил ему права на производство.

Воронежская армия, позже переименованная в Южную, тоже служила убежищем друзей Краснова, прогоревших аристократов. Во главе ее стоял бывший главнокомандующий Юго-Западного фронта, ген. Николай Иудович Иванов, царский генерал-адъютант, тот самый, который в начале февральской революции двигался с фронта на Петроград с полком георгиевских кавалеров спасать трон Романовых.

Теперь Краснов возложил на него ту же самую задачу.

Под знамя Иванова поставили мобилизованных воронежских крестьян и донских «иногородних», равно и пленных красноармейцев. Набралась кой-какая сила.

Идя за спиною всех этих «народных» армий, сугубо монархических, самодержавный глава «демократически организованного» казачества хотел добыть себе лавры кн. Пожарского.

Южной армии удалось немного продвинуться по Воронежской губернии. Это дало повод казенным перьям строчить в официозе хвалебную оду в честь Краснова и казачества:

«На севере Донской области происходят события огромной важности, имеющие громадное значение не только для Дона, но и для всей будущей России. Здесь окно, прорубленное в Совдепию штыками и пиками донцов, ширится с каждым днем, войска выказывают чудеса храбрости и беспримерной лихости, вплетая в историю освобождения России все новые и новые лавры. Гулким эхом разносятся по Совдепии победы казаков и имя донского атамана ген. Краснова, как освободителя, весьма популярного, передается даже по глухим закоулкам Воронежской губернии из уст в уста измученным народом, с нетерпением ожидающим скорейшего освобождения. В Лисках, в Боброве, где бы ни взвилось казачье знамя, благодарный народ несет своим избавителям и цветы, и слезы радости». [1]

Победное чело триумфатора к осени сильно омрачала оппозиция. Не оппозиция Круга, — тут она существовала в зачаточном состоянии и не стоила ломаного гроша. В самом деле, что могли возразить ему урядники, «хорунки», станичные атаманы, или люди и более грамотные, но заплесневевшие в своей глуши. Умственный кругозор первых не простирался дальше плетня своего огорода; образования и развития вторых хватало разве на управление полком или канцелярией.

---

[1] Газета «Донские Ведомости», 1918 г., № 54.

Председатель Круга, Василий Акимович Харламов, сподвижник Милюкова, как бывший член Государственной Думы всех созывов, бесспорно во многом мог соперничать с Красновым. Но его время еще не пришло. Он выжидал, чья возьмет, т.-е. удастся ли Краснову двинуться церемониальным маршем на Москву или он сломит себе шею и уступит лавры Пожарского Деникину.

Харламов покамест вел себя осторожно в Новочеркасске. При посещении же Екатеринодара, центра Доброволии и кадетской партии, он нередко подражал апостолу Петру, отрекаясь от Краснова.

К великой радости «единонеделимцев», он говаривал иногда:

— Дон нельзя смешивать с атаманом Красновым.

«Отказываемся верить таким словам Харламова, — возмущенно писал в «Донских Ведомостях» ярый красновец, гвардейский полковник Г. П. Янов. — Еще не так давно он в составе всего президиума Круга ездил во дворец и настойчиво просил атамана не отказываться от атаманства, когда Краснов возвратил пернач Кругу и заявил, что слагает свои полномочия». [1]

Другая оппозиция, не парламентская, нарушала покой донского самодержца. Она даже и не находилась в пределах его государства. Это были «степные генералы» — П. Х. Попов, В. И. Сидорин, Э. Ф. Семилетов.

Выдвижение Краснова «черкасней» на пост атамана лишило их лавров, на которые они рассчитывали в награду за «степной поход». С воцарением Краснова, гвардейца, друга аристократии, черносотенного зубра, эти сподвижники Каледина, ставленника донской «демократии», оказались не у дел.

Их попытка агитировать против атамана не имела успеха. Они проехались было по ближайшим к Новочеркасску станицам и кое-где внушали станичникам, что ими правит недостойный человек, где-то скрывавшийся в то самое время, когда «другие» освобождали Дон. Но казаки отнеслись отрицательно к этой агитации.

Краснов возбудил судебное дело против «степных» генералов, и они поспешили ретироваться в Екатеринодар. Там Доброволия охотно принимала всех врагов донского властелина.

Краснов знал, что делают «степные» генералы, приютившиеся у Деникина. На их интриги он отвечал провокацией.

«На фронте найдены воззвания к казакам с призывом бросать оружие и признавать Советскую власть», — писал

[1] «Донские Ведомости», 1918 г., № 54.

он в одном приказе.—При тщательном расследовании оказалось, что эти прокламации напечатаны в Екатеринодаре.

«Степные» генералы икнули.

16 августа, на Круге, когда раздались голоса, почему уехали с Дона Сидорин и К°, Краснов довольно отважно прогремел:

— Нам нужно великое войско Донское,—некоторым людям нужны великие потрясения. В самые последние дни перед созывом Круга группа близоруких людей решила снова потрясти Дон. Кому-то понадобилось ездить по станицам и уверять казаков, что Круг не будет созван, что этого не позволят немцы и не допущу я, который цепляется за атаманскую власть. В разных местах велась агитация за войну с немцами, и купленные английскими деньгами, а быть-может и просто недалекие «ура-патриоты» твердят об изгнании немцев. Но немцы и так уводят свои гарнизоны. Я просил бы осудить тех лиц, кто во имя личных интересов волновал донское казачество, кто мешал договорам с немцами. Из-за поездки известных вам всем лиц наша армия не получила с Украины шинелей. Те, кто зажигают вас речами, играют вашими головами. Чем они отличаются от Миронова [1] и других, которые шлют прокламации о том, что Краснов продал Дон немцам? Миронова, Сдобнова и Шкурина, если вы их поймаете, вы повесите без суда, так зачем же вы заступаетесь за тех, кто еще более ядовито и зло делает свое страшное дело? [2]

«Потому что они приказчики души Каледина»,—писал в ответ на эту речь Краснова в «Приазовском Крае» идеолог казачества, талантливый публицист Виктор Севский, [3] друг «степных генералов».

«Казаки потеряли Дон. Сидорин, казак Есауловской станицы, не потерял головы. Заметала вьюга пути и тропочки маленькой степной армии Попова. Сидорин фонариком военного разума освещал ее путь.

«Сказочен был партизан Василий Чернецов, весь от ветра хмельный. А Семилетов спокоен и в отцы годится юному есаулу. Однако и к нему шла молодежь и за ним шла порывистая, бурная. В его отряде гимназисты плясали лезгинку под треньканье балалайки. У него в отряде были китайцы. «Шанго, капитан!» —говорили желтолицые. Буду-

[1] Войск. ст. Миронов (Хоперского округа) сейчас же после Октябрьской революции перешел на советскую сторону и увлек за собой часть донского казачества.

[2] Газета «Приазовский Край», 1918 г., № 123.

[3] Это псевдоним. Настоящее имя и фамилия его были Вениамин Краснушкин, уроженец ст. Константиновской.

щие диаконы степенные, иереи станичные, забыв о тропарях и кадилах, шли семинаристы к Семилетову.

«В чем же секрет очарования трех генералов? За ними шли тени старых атаманов, и они, эти тени, звали под знамена степных генералов всех вольных, всех смелых.

«Ибо они были приказчики души Каледина». [1]

Эти калединовские приказчики, в союзе с Харламовым и Севским, в конце концов одолели «атамана военного времени».

VI.

БЫЧЬЕ СТАДО.

В то время, как на Дону твердая рука и авторитет Краснова привели почти все местные силы к одному знаменателю, Кубань тотчас же по освобождении от большевиков превратилась в арену ожесточенной политической борьбы, причинившей страшный вред белому стану.

Противоестественный и лицемерный союз между самостийным кубанским государством и Добровольческой армией продолжался самое короткое время. Слишком расходились их политические программы и слишком тесна была территория, на которой появились сразу две государственные власти.

Армия Корнилова, когда она в феврале уходила из Ростова в степи, менее всего думала кого-либо спасать, а тем более мечтать о восстановлении великой и неделимой. Приходилось просто-напросто думать о самосохранении.

Добровольческие генералы первоначально сами не закрывали глаза на то, что все корниловское предприятие отнюдь не серьезное государственное дело, а не более как авантюра.

«24 апреля, — рассказывает А. Суворин - Порошин в своей книге «Поход Корнилова», — на смотру офицерского полка командир его, ген. Боровский, сказал перед фронтом, что для пополнения снарядов предстоит большая операция — налет на ст. Сосыку. — Я знаю, кое-кто готов и ее назвать «авантюрой», — с энергией произнес генерал, — но разве весь поход наш не авантюра?»

О какой-нибудь разработанной политической программе армии говорить не приходилось. Из Ростова бежали с армией и за армией самые различные по своим политическим взглядам люди.

Среди грамотной молодежи еще бродил дух февральской революции. Иные, помня тяжелые дни распутинского самодержавия, мечтали о республике. Сам Корнилов возил

---

[1] «Приазовский Край», 1918 г., № 123.

за собою сирену Керенского, матроса Федора Баткина, и разрешал ему упиваться эс-эровским красноречием в станицах. Если верить А. Суворину, ген. Алексеева, организатора и политического руководителя Добрармии, считали монархистом; Корнилова, руководившего боевыми операциями, — республиканцем.

Корнилов будто бы говорил:

— Я доведу страну до Учредительного Собрания. Если оно установит в России монархию, то мне будет нечего делать и я эмигрирую в Америку.

Такая речь Корнилова правдоподобна. Ведь и ген. Кавеньяк, заливший ручьями пролетарской крови Париж в июньские дни 1848 года, тоже считался «честным республиканцем».

Но корниловский демократизм и либеральный дух образованной молодежи не гармонировали с настроением большинства, особенно людей статских, тащившихся в обозе на манер Суворина-сына. Впоследствии в период успехов Доброволии, Корнилова почти обоготворили. На самом же деле, — как я слышал от участников похода, в том числе и от ст. сов. Лукина, — руководящие круги очень тяготились им, так как он своим демократизмом вносил дисгармонию в настроение верхов, и что смерть его развязала верхам руки.

Действительно, после гибели Корнилова под Екатеринодаром в конце марта, Доброволия стала явно окрашиваться в черный цвет. Баткина, отступая, бросили на произвол судьбы. Всякое наследие керенщины было сугубо ненавистно Добрармии, вожди которой пострадали от Керенского. Скоро стала преследоваться всякая отрыжка февральской революции, хотя в декларациях приходилось замазывать глаза неграмотным намеками на Учредительное Собрание.

В апреле, в станице Успенской, Деникин, принявший командование армией после гибели Корнилова, выпустил воззвание о тех общих целях, которые ставит себе Добровольческая армия:

«Будущие формы государственного строя руководители армии (генералы Алексеев и Корнилов) не предрешали, ставя их в зависимость от воли Всероссийского Учредительного Собрания, собранного по водворении в стране порядка. Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба. Борьба за целость разоренной, урезанной, униженной России, борьба за гибнущую русскую культуру, за гибнущие несметные народные богатства, за право свободно жить и дышать в стране, где народоправство должно сменить власть черни. Борьба до смерти!»

Деникин своего мнения не высказал насчет учредиловки, а лишь сослался на мысль покойников. Зато чуточку позже, как сообщает Суворин, он заявил сотруднику «Вечернего Времени»:

— Если Керенский появится в районе расположения Добровольческой армии, то за измену родине и предательство он будет повешен.

Какая же учредиловка без Керенского!

— Довольно нам всяких социалистических опытов. Испытали их на своей спине. В результате их — только всероссийский погром, — говорили люди пожилые, люди искренние и честные, но напуганные революцией и готовые бить отбой.

— За веру, царя и отечество! — гудели черносотенцы.

В октябре в Екатеринодаре съехались кадеты. Поговорив, на этот раз мало, вынесли резолюцию:

«В целях успеха борьбы с большевиками нужна временная единая государственная власть. Необходимо восстановление связи с Антантой».

В соответствии с этим, за границей заработал Маклаков, а Деникин сформировал «особое совещание», т.-е. свое правительство, генеральско - кадетское.

— Чорт бы его побрал, опять политика. В армии не должно быть никакого правительства, кроме командиров! — вполне основательно возмущались фронтовики, которым все время твердили, что Добрармия и внепартийна, и аполитична.

—Я удивляюсь, чем собственно будет ведать это правительство без территории, — усмехнулся Краснов в разговоре с кубанской делегацией, приезжавшей на Дон для ознакомления с тамошними порядками.

Особое совещание знало, чем ему управлять.

В перспективе - всей Россией, а пока что—казачьим югом.

На Дону властвовал Краснов, тоже стремившийся «спасать». Всем конкурентам он твердо заявлял:

— Руки от Дона прочь!

Против Краснова интриговали, но сразу свалить не могли.

Зато вольная Кубань была под - боком. Кубань, освобожденная, а отчасти еще освобождаемая Добровольческой армией. Кубань, где расцвело особое совещание и кисли петербургские сливки, Кубань, не имевшая своей армии, но имевшая Раду.

Если по адресу далекого Краснова приходилось довольствоваться змеиным шипом, то с кубанскими самостийниками никто не мешал вступить хоть в рукопашную.

Тот «народ», который покамест составлял деникинское государство и который считал нужным бороться с самостийниками, последние окрестили «единонеделимцами».

Вся эта орда прибыла на Кубань в поисках убежища от большевиков, но занялась руготней по адресу хозяев.

Ругался Шульгин, недовольный тем, что тут не существовало монархии.

Ругались кадеты, так как самостийники оспаривали их право княжить и володеть Кубанью.

Ругались старые бюрократы, потому что кубанцы не приглашали их на работу.

Свирепела аристократия, так как Кубань не считала их солью земли русской, тем более кубанской.

Все «единонеделимцы» бешеным потоком ринулись в атаку против кубанской казачьей «демократии».

Больше всего доставалось Краевой Раде, заседания которой начались 1 ноября. Меньше всего — атаману Филимонову.

Этот политический деятель, прежний помощник военного прокурора Кавказского военно-окружного суда, с самого начала спасовал перед Деникиным. Человек мягкий, нерешительный, недальновидный, он взял на себя неблагодарную роль буфера между Деникиным и Радой. Не имея качеств Краснова, чтобы сделаться шарманщиком, а Раду превратить в шарманку, он очень плохо исполнял эту роль.

Застрельщиками, при нападении на кубанских самостийников, оказались монархисты. Они не знали ни меры, ни такта, не считались ни с временем, ни с местом, ни с обстановкой и руководствовались своим всегдашним принципом: тащи и не пущай.

«С группой правительств, — писал Шульгин в своей «Великой России» еще до открытия Рады, — отрекшихся от России, предавших ее в угоду немцам, поливавших ее грязью лжи и ненависти, у нас не может быть разговоров. Единственная политика — низложение этих правительств и занятие их территорий». [1]

— Мальбрук в поход собрался! — иронизировала «Вольная Кубань», официоз кубанского правительства, и посвящала Шульгину стихотворение на украинском языке, начинавшееся таким куплетом:

Пишить з досади, Шульгин пане,
В вас розуму на брехни стане,
На все лихе, на все погане
Ви здатни дуже, Шульгин пане.[2]

24 октября кубанское краевое правительство, во главе которого еще стоял Л. Л. Быч, издало приказ за № 83, явившийся ответом на выходки монархистов и кадет:

---

[1] «Великая Россия», 1918 г., № 50.

[2] «Вольная Кубань», 1918 г., № 93 от 20 октября.

«Кубань открыла двери беженцам, ищущим мирной жизни. Но вместе с ищущими тихого приюта на Кубань прибыло много членов различных партийных течений и организаций, которые, не учитывая момента и, повидимому, ничему не научившись, продолжают свою непродуманную работу, внося в жизнь края партийные страсти и раздоры. Не защищая Кубань и ничего не сделав для освобождения ее, эти партийные работники проявляют обычную им тенденцию — учить других и оказывать давление на решение различных вопросов краевой властью, вынося резолюции и протесты. Увлеченные своими партийными лозунгами, эти люди, находящиеся под защитой кубанской власти, забыв оказанное им гостеприимство и защиту, забыв, что они еще не находятся в условиях мирной жизни, что идет борьба смертная, — устно и путем печати открыто ведут агитацию, стараясь вызвать недоверие к краевой власти».

Далее в приказе шли сетования на инсинуации, клевету и незаслуженную травлю и в конце угрозы закрыть враждебные кубанскому правительству газеты и воспретить партийные собрания.

Приказ подписал член правительства по внутренним делам Алексей Иванович Калабухов. Ровно через год он еще лучше узнал, как платят «единонеделимцы» за кубанское гостеприимство.

В самой Раде тоже не существовало единения. В ней с самого начала возникли две более или менее определенных группировки — линейцы и черноморцы.

Линейцы — казаки южных отделов области — Кавказского, Лабинского, Майкопского и Баталпашинского, — расположенных по старой линии укреплений, существовавших в эпоху покорения Кавказа. Здесь селились по преимуществу выходцы с Дона, следовательно, великороссы.

Черноморцы, напротив, хохлы, потомки древних запорожцев. Деды черноморцев при Екатерине II выселились на Кубань, в нижнее ее течение и прибрежья Азовского моря, и разместились в нынешних отделах Ейском, Таманском и Екатеринодарском.

Линейцы, члены Рады, отличались большей умеренностью своей программы и большей снисходительностью к «единонеделимцам». Мало-мальски автономная Кубань вполне удовлетворяла их домогательства.

Черноморские депутаты, как малороссы, были более склонны к сепаратизму. Их идеал — самостоятельная казачья Кубань, входящая в состав России на основах федерации.

Линейцы поддерживали атамана Филимонова, тоже линейца. Черноморцы — председателя правительства Л. Л. Быча.

Борьба этих групп, постоянная, мелочная, уже сама по себе не сулила ничего хорошего и являлась бедствием для края. Если к этому прибавить травлю Рады черносотенной прессой, происки, интриги и провокацию со стороны всех прочих «единонеделимцев», грубое, постоянное вмешательство Деникина во внутреннюю жизнь Кубани, то кубанскую действительность нельзя было не признать адом кромешным.

В Екатеринодаре, по мнению правящих кругов Добровольческой армии, закладывались первые кирпичи в фундамент возрождающейся России. Но одновременно под этот фундамент подкладывался фугас.

11 ноября Рада обсуждала вопрос о государственном устройстве «Кубанского края». Так отныне должно было официально называться кубанское государство.

Черноморцы задавали тон. Среди них имелось более культурной силы, нежели среди линейцев — военщины по преимуществу. Влияние черноморцев сильно сказалось в той резолюции, которую Рада вынесла 11 ноября:

«В период гражданской войны Кубанский край является самостоятельным государством. Будущая Россия должна быть федеративной республикой свободных народов и земель, а Кубань — ее отдельной составной частью. В настоящее время Кубань суверенна».

— Неразумные федералисты! — выругался по адресу Рады член ее Иваненко, обсуждая в черносотенной газете «Кубанец» эту резолюцию.

Рада лишила его за эту выходку голоса.

Скандалы начались еще раньше того, как резолюция была принята.

В Раде, помимо казачьих депутатов, заседали в небольшом числе депутаты от «иногородних» и четверо назначенных Деникиным от Доброволии, так сказать, представители «меньшинств». Когда черноморцы предложили свою резолюцию, добровольческие депутаты не только не пожелали голосовать, но даже поспешили уйти из Рады, которая, однако, проголосовала и приняла резолюцию.

«Единонеделимцы» подняли неслыханный вопль. Шульгин неистовствовал. Газета «Кубанец», редактируемая секретарем президиума Рады Д. Г. Новосильцевым, не довольствуясь ругатней Иваненко, начала прямо обвинять Раду в большевизме и одновременно в немецко-украинской ориентации.

На заседании 23 ноября видный черноморец И. Л. Макаренко, человек горячий, но тогда еще довольно сдержанный по адресу Доброволии, так охарактеризовал взаимоотно-

шения между двумя политическими силами, Кубанью и Добровольческой армией:

«Добровольческая армия имеет представителей в Раде, но их мало. В комиссиях они не участвуют. Вообще же вхождение их в Раду ненормально, так как через них армия вовлекается во всю сутолоку общественно-политической жизни края, в водоворот борьбы местных групп и политических партий. Это положение принижает великую роль Добровольческой армии, заботящейся о судьбах всей России. Раз тягота ответственности за решения Рады в равной мере распределяется между Радой и Добровольческой армией, то надо бы создать и политическое равенство сил при голосовании. А это, конечно, абсурд, ибо потребовалось бы ввести в состав Рады с правом решающего голоса целый кавалерийский полк четырехъэскадронного состава. Добровольческие депутаты 11 ноября сделали то, что должны были сделать, дабы не возлагать на Добровольческую армию ответственности за решения Рады. Формальная ненормальность повлекла клубок нездоровых явлений, которые многоязычная и неразбирающаяся в сути дела уличная толпа, жадная до всяких инсинуаций, обратила в разрыв. Разрыва нет. Только отношения надо урегулировать. Лучше всего, если представители Добровольческой армии будут являться к нам в качестве высокочтимых гостей. Мы их выслушаем и, быть-может, кое-что примем к сведению».

Отношения с Деникиным, действительно, обострились из-за резолюции 11 ноября. Едва она прозвучала, как Доброволия отправила ноту, за подписью ген. Романовского, предлагая Раде пересмотреть свое решение и признать его не окончательным, а лишь добрым пожеланием.

Рада пошла на уступки. Сформировали смешанную комиссию, которая так истолковала злосчастную резолюцию:

«Постановление о суверенитете Кубанского края в данное время констатирует фактическое положение вещей, постановление же о будущем устройстве России есть лишь благое пожелание кубанцев».

На этом успокоились, пока не выплыл вопрос о диктатуре, которой яко бы требовал фронт. В Раде о диктатуре впервые заговорил ген. Покровский.

Этот величайший авантюрист теперь командовал кубанцами, входившими в состав Добровольческой армии, так как к формированию собственно Кубанской армии еще не приступили. Возвеличенный Радою в феврале, теперь, с возвышением Доброволии, он уже почти все порвал с кубанской «демократией», однако не отказываясь от мысли попасть в кубанские атаманы.

5 ноября он явился на заседание Рады и сурово заявил, перефразируя известные слова Бисмарка:

— Не речами и не парламентскими премиями освобождена Кубань, а морем крови, тысячами казачьих трупов. Тяжелы жертвы. Много награды должны получить казачьи войска. Мои полки посылают вам свой привет и заявляют, что верят в то, что Чрезвычайная Рада даст им много награды.

О цене крови мог говорить только кондотьер.

23 ноября он сделал еще более решительное заявление:

— Наш тыл не устроен. Мои казаки голодны и раздеты. Тут вы только занимаетесь разговорчиками. Нам нужен диктатор. Иначе не мыслят казаки на фронте. Вы же тут сеете рознь между Кубанью и Добровольческой армией. Это предательство. Это нож в спину тем, кто спасает отечество.

Глава правительства и вождь федералистов Л. Л. Быч нашелся ответить только по уходе Покровского.

— Нам брошен упрек в неустройстве тыла. Мы не можем спокойно работать. Вы знаете, кто вносит нервозность в нашу работу?

— Знаем! — раздались голоса.

— Нам говорят о предательстве. Но предательство может заключаться и в посягательстве на представительные учреждения, на это святое место.

— Жаль, что это не Быч! — с грустью воскликнул Покровский через год, вешая Калабухова.

Рада категорически отвергла обсуждение вопроса о диктатуре, особенно после того как узнала мнение Краснова по этому поводу.

— В то время как донцы освободились силою своего оружия, — сказал донской атаман кубанской делегации во главе с П. Л. Макаренко, — когда на Дону великолепно и стройно работает сложный механизм государственного управления, в то время как Дон собственными силами ввел у себя закон и порядок, когда донские знамена развеваются на рубежах донской земли, в это время Дон не может признать полезным для дела всероссийского и донского диктатуру. [1]

Доброволия, навязывавшая диктатуру Деникина, проглотила пилюлю.

События на Украине тоже дали немало поводов для препирательства между кубанскими самостийниками и «единонеделимцами». Переход власти от Скоропадского к Петлюре окрылял федералистов. Доброволия, напротив, опасалась, как бы ей не пришлось сматывать удочки, если

[1] «Вольная Кубань», 1918 г., № 129.

украинцы и казаки станут вместе договариваться с Советской властью и, неровен час, выговорят себе тень самостоятельности.

Добровольческая контр-разведка зорко следила за тем, чтобы не допустить сближения Быча с Петлюрой.

«Гетман всея Украины» Павло Скоропадский имел своих министров-резидентов как на Дону, так и на Кубани. В свою очередь и эти государственные образования отправляли к гетману послов, при чем посольство донское, на языке воскресшей старины, носило курьезное название «Зимовой станицы», сам же посол назывался атаманом ее. Вообще, обращение лицом к прошлому в самостийных областях доходило до того, что, например, грамоты Скоропадского донскому атаману оканчивались, как это практиковалось в древности, божественным словом «Аминь».

Персону «его светлости пана гетмана» в Екатеринодаре представлял некий галицийский пан, барон Боржинский. Доброволия до поры до времени его не трогала.

Поздней осенью дела гетмана пошатнулись, так как немцы, проиграв мировую войну, покидали Украину. Петлюра не замедлил выступить в качестве предтечи большевиков.

Весною, в период шатания на Дону Советской власти, гетманская Украина поспешила захватить, с помощью немецких войск, чуждые ей Донецкий и Таганрогский округа. Теперь, при шатании власти гетмана, Краснов поспешил ответить той же монетой. 8 ноября он издал приказ № 1458, в виде воззвания к украинцам:

«События, происходящие на Украине, захват власти в Харькове и Лозовой Петлюрой и Винниченко, мечтающими уничтожить русскую Украину и творящими насилия над верными украинскому правительству гражданами, беспорядки на железных дорогах, все эти обстоятельства в настоящее жуткое и тревожное время дали возможность большевикам на Украине поднять голову, и местами там снова началась кровавая расплата с честными и послушными закону людьми. Наши интересы тесно связаны с интересами Украины. На нашей границе в Украине лежат такие места, беспорядки и анархия в которых не допустимы, так как они грозят разрушением нашей железоделательной и угольной промышленности, грозят приостановкой подвоза к нам боевых припасов, наконец, могут остановить и наш железнодорожный транспорт. Само население этих мест просит внести тот порядок и успокоение, которые теперь водворены в земле всевеликого войска Донского.

«Для того, чтобы анархия и большевистские банды не могли перекинуться через нашу границу и ударить нам в тыл в последнюю минуту нашей кровавой борьбы с больше-

виками, я получил согласие (?) занять частями постоянной армии некоторые железнодорожные узлы. В этих видах мною приказано выдвинуть передовые части в Луганск, Дебальцево, Юзовку, Мариуполь и Беловодск, чтобы сохранить полное спокойствие и обеспечить мирный труд на Луганском патронном заводе, в Дебальцевских железнодорожных мастерских, в Юзовских железоделательных и горных заводах и т. д.

«Граждане Украины! Дон не посягнет ни на ваши земли, ни на ваши законы, ни на ваши права. Казаки являются к вам тем здоровым началом, которое поможет вам продолжать ваш мирный труд и жить совершенно спокойно, не опасаясь убийств и насилий разрушителей России и Украинской державы и злейших врагов свободы.

«Рабочие! спокойно оставайтесь у своих станков и продолжайте свою работу. Никто не посягнет на ваши профессиональные союзы и организации, и никто не позволит злоупотреблять вашим трудом. Но горе тем, кто вздумает прельститься ласковыми и лживыми обещаниями безответственных комитетов и советов. Если среди вас явятся люди, которые посягнут на новую безвинную казачью кровь, горе им, потому что наш закон неумолим и беспощаден и наше правило — за одного убитого казака десятеро из тех, кто посягнул на его убийство».

Краснов по-соседски рвал клочья от Украины. Екатеринодарские «единонеделимцы», находясь вдали от нее, могли только сорвать украинский флаг, развевавшийся над домом, в котором помещалось посольство «его светлости».

Немного погодя, Доброволия разгромила и самое посольство как в угоду Антанте, так и из своей ненависти ко всяким самостийникам. Эта шумная история произошла следующим образом.

Когда на Украине началась катавасия, секретарь посольства г. Поливан отправился на телеграф, где хозяйничали добровольцы. Их цензура распространялась даже на телеграммы Филимонова.

Г. Поливану, с помощью члена Рады сотника Жежеля, удалось снестись с одним из городов Украины и запросить, что там делается. Получив информацию, он уже хотел уходить, как вдруг на телеграф явился добровольческий офицер - начальник связи, который потребовал предъявить ему переговорную ленту.

Поливан отказался и пошел к выходу. Начальник связи загородил ему дорогу.

Сотник Жежель, выйдя, наконец, из положения благородного свидетеля, протелефонировал об инциденте Бычу.

— Ленту выдать добровольческому представителю ни в коем случае не разрешаю. Если Добровольческая армия употребит насилие, — это ее дело, — ответил Быч.

Жежель сообщил это распоряжение главы кубанского правительства начальнику связи, но тот не унимался.

— Вы говорили с украинскими повстанцами. Дайте ленту, — требовал он от г. Поливана.

— Я секретарь украинского посольства. Цензуру своих телеграмм нахожу оскорбительной и нарушающей международное право. Я не премину заявить протест в Париже, Лондоне и Нью-Иорке.

— Заявляйте хоть на луне. Дайте ленту.

— Прочесть —, извольте.

— Я хочу взять у вас ленту и представить ее в штаб.

Поливан категорически отказался.

Его арестовали.

Официальное сообщение штаба Добровольческой армии гласило, что причина ареста г. Поливана – его разговор по прямому проводу с повстанцами, враждебными Добровольческой армии, но текст телеграмм не может быть опубликован, так как находится у Быча. Быч же клялся и божился в Раде, что он и в глаза не видал этого текста.

Шедевром этого правительственного сообщения Добровольческой армии являлось указание на то, что украинские повстанцы враждебны ей. Еще не высунув носа с Кубани и покамест не имея ничего общего с Украиной, Доброволия заявляла urbi et orbi, что Петлюра враг ей.

Все враги.

Донской атаман. Кубанская Рада. Его светлость гетман. Петлюра и Винниченко, не говоря уже о Грузии, Финляндии, Эстонии и т. д.

Добровольческая армия и ее особое совещание умели приобретать только врагов. Как древние римляне, они не смущались числом врагов, а только спрашивали, где они.

При полной бестактности и отсутствии политического чутья, претензии Доброволии не знали пределов.

Вслед за секретарем, добровольческая контр-разведка посягнула и на самого барона Боржинского, подвергнув его временному задержанию, пока в посольстве производили обыск.

Креатура Деникина, атаман Филимонов, — посольство собственно состояло при нем, как главе кубанского государства, — заявил Боржинскому:

— Мы вас не можем оградить от оскорблений. Кроме того, отныне смотрим на вас не как на посла, а как на гостя.

Боржинский написал письмо на имя председателя Рады, которого известил о своих злоключениях и о своем намерении покинуть Кубань.

— Не признавать того или иного посла, тем более посла той державы, которая давала нам до последнего времени возможность держать в руках оружие, это факт, который называется разрывом дипломатических сношений, — сказал председатель Рады Н. С. Рябовол, огласив письмо. — После этого обычно следует объявление войны. Если вы к этому готовы, если желаете войны, если желаете создать 10 фронтов, тогда надо заявление Боржинского положить под сукно.

— Мы задались целью образовать государство путем сговора с другими такими же государственными образованиями, а каким путем идем? По какой-то роковой случайности от нас уезжают представители соседних держав. Остался один донской, и тот хотел уехать, так как газеты ругали его. Пришлось закрыть газету, чтобы удержать донского посла, — жаловался Быч Раде на Доброволию, которая выживала из Екатеринодара всех представителей самостийных государств.

Филимонов попытался утихомирить страсти.

— Скоропадский сложил свои полномочия. Его правительства более не существует. Положение посла совершенно двусмысленное. Кого же он представляет?

Рада, в пику Доброволии, вынесла постановление о том, что Кубань попрежнему признает представительство Украины.

Черноморцы осиливали. Влияние Быча возростало.

Чем больше бестактностей допускала Доброволия, тем больше нервировала Рада, тем больший проявлялся в ней сепаратизм, тем теснее сжимались депутаты возле крайней левой. Мало того. Происки Доброволии не только пробуждали в Раде опасный революционный дух, но и совершенно разлагали ее. Вместо серьезной деловой работы, кубанские законодатели целиком ушли на борьбу с «единонеделимцами». Вопросы первостепенной важности перестали занимать депутатов, и без того не подготовленных к государственной работе.

Зала зимнего театра, где происходили заседания, пустовала, когда обсуждался земельный вопрос. Но стоило появиться на трибуне Бычу, для объяснений по поводу очередной инсинуации шульгинской газеты или по поводу лекции Пуришкевича, законодатели валом валили из буфета и кулуаров в зал и разражались аплодисментами, под которые Быч начинал свою речь.

То, что говорили грамотеи по земельному вопросу, мало кто понимал из депутатов-простаков. Так говорили мудрено!

Простаков же было большинство. В ожидании скандальных заседаний, где все так просто, ясно и интересно, они слонялись по кулуарам и судачили о своих личных делах.

Несчастные черноземные законодатели, впервые призванные к этой роли, не имели хорошей школы. Их не втягивали в серьезную политическую работу, а приучали смаковать пикантные разоблачения, слушать грызню, наблюдать борьбу уязвленных самолюбий, перемыванье грязного белья.

Соперничество Быча и Филимонова приняло острую форму. Первому не давала покоя атаманская булава. Второму приходилось обороняться, а иногда, под влиянием своих, не в меру усердных, сторонников, и переходить в наступление.

В конце ноября, по непроверенному доносу, атаман приказал военному прокурору Кубанского краевого военного суда полк. Приходько, для большей помпы, лично арестовать ген. Букретова, помощника управляющего ведомством продовольствия и снабжения. Главою этого ведомства считался Быч.

Доносчики, какие-то темные личности, всего вернее, что агенты добровольческой контр-разведки, сообщали о крупных хищениях в ведомстве снабжения. При проверке все оказалось вздором. Тогда придрались к каким-то формальным упущениям.

Чтобы избежать гласности, атаман предал Букретова, вопреки закону, «суду чести», председателем которого назначил своего родного брата. Суд лишил Букретова права поступления на службу.

Кроме того, сторонники Филимонова раздули и другое дело о договоре, заключенном правительством с крупной ростовской табачной фирмой Асмолов и К°. Нашли, что торговый дом приобретал по договору чересчур большие преимущества и вовсе убивал всех конкурентов.

— Нет ли тут недобросовестности со стороны правительства? — поднял в Раде вопрос полк. Чакалов.

— Предложил бы такого члена Рады исключить на пятнадцать заседаний, — возмущенно заявил Щербина, бывший член Государственной Думы II созыва, один из образованнейших депутатов. — Впрочем, — смилостивился он, — в виду неблаговоспитанности и некультурности полк. Чакалова можно ограничиться исключением лишь на пять заседаний.

Предложение Щербины проголосовали и приняли.

— Тогда надо исключить и Воропанова, оскорбившего атамана! — раздались голоса линейцев.

— Это сделать не возбраняется, предлагайте, и Рада проголосует, — ответил Рябовол.

Племянник атамана и его агент в Раде, молодой сотник Д. Филимонов, разразился градом упреков по адресу высокого учреждения.

— Что ни шаг, то разногласие. И абсолютно никакой продуктивности. Толчемся на одном месте.

— Разногласия начались лишь с того момента, как стали выбирать атамана,—кричали ему.

«Трудное дело политика! Особенно — для простой, немудреной головы хлебороба», — с грустью восклицала «Вольная Кубань», официоз правительства.[1]

«Жутко становится от подобных настроений и тяжело, обидно видеть первые шаги новых свободных учреждений, призванных в роковой час всеобщей опасности на великое дело спасения России», — произнесла свой приговор Раде газета Шульгина, которая из сил выбивалась, чтобы породить как можно больше скандалов и грязни в этом «свободном учреждении». Она ни на минуту не давала покоя кубанским законодателям, ела их поедом, как грозная сварливая свекровь ненавистную, строптивую невестку.

Произошел, например, такой случай. Некий хорунжий Зеленский выпорол в станице Успенской старую, уважаемую учительницу Попову. Дело дошло до Рады, которая, разумеется, осудила хулиганский поступок офицера и даже назначила ему наказание. Но при обсуждении этого вопроса какой-то малокультурный депутат подал с места реплику: «Так ей, учительнице, и надо».

«Неслыханный позор! Кричать — «так и надо»! Ну, и законодатели!» — измывалась «Великая Россия».

Тех безобразий и преступлений, которые совершали спасатели отечества в генеральских чинах, газета Шульгина не замечала.

Нехорошая слава прошла про кубанские дела. Редко кто вспоминал добром Раду, которую Шкуро однажды назвал публичным домом. Никто, даже на Кубани, не видел от нее никакой пользы. Фронт ее определенно не терпел.

Даже официоз донского правительства, «Донские Ведомости», однажды лягнул ее, поместив стихотворный фельетон «Деликатность» за подписью некоего Е. В.

По-старому, как надо,
Мы песню завели:
Ой Рада, ой дид-Рада,
Ой люшеньки-люли.

---

[1] № 124 от 28 ноября.

Полна своеобычий
Кубанская страна
И логикою бычьей
Она умудрена.
Незлобивы и чисты
Лежат на пласте пласт:
Внизу империялисты,
А сверху «хведераст».
Выходит крайний правый,
Сказал — и всем хорош;
Уходит, облит славой
От бисов и ладош.
Выходит некто красный...
Сказал, и на те вот:
В ответ ему согласный
Кубанец честь поет.
Гудит бычачье стадо,
Гудят все, что шмели...
Ой, Рада, ой дид-Рада,
Ой люшеньки-люли.
Такая, знать, натура —
Всех чествовать под ряд:
Им гетман и Петлюра
Равны как друг и брат.[1]

«Вольная Кубань» не замедлила ответить своему собрату на его «Деликатность» фельетоном, озаглавленным «Хамство»:

... И это на страницах
«Донских Ведомостей»!
Что скажут по станицам
От чудных сих вестей!
Ведь Круг и наша Рада, —
Да это ж наш народ...
И вам, Е. В., знать надо, —
Не стадо этот сброд.
Но я по вашим длинным
Ушам могу сказать,
Что слов вам этих дивных
Вовеки не понять.[2]

VII.

«СОЮЗНИКИ».

Флот Антанты, пройдя побежденный Босфор, проник в Черное море.

Союзники, казалось, стремились на помощь белым армиям юга России. Офицерство, главное ядро белого стана, привыкнув видеть в англичанах и французах соратников по мировой войне, не допускало мысли, чтобы союзники

[1] «Донские Ведомсти», 1918 г., № 78.
[2] «Вольная Кубань», 1918 г., № 139.

не помогли белым сокрушить большевиков, заключивших мир с немцами.

Многие, более того, рассчитывали, что союзники, справившись с Германией, сами явятся в Россию, чтобы придушить большевизм. Не надеясь на свои силы, ждали спасителя извне.

Напрасно разумные люди предостерегали от излишнего увлечения «бескорыстными» заграничными друзьями.

Краснов, якшавшийся с немцами, хорошо знал цену германскому бескорыстию. Недаром 16 августа он уверял «державного хозяина» земли донской, что Россию спасут во всяком случае не иностранцы и что всякое вмешательство последних в русские дела только хуже разорит страну.

Харламов тоже не верил, чтобы союзники дали свои войска для «спасения» России.

«Председатель Войскового Круга В. А. Харламов, — писали «Донские Ведомости» 7 ноября[1], — в беседе с журналистами заявил, что первой задачей всех образовавшихся правительств должна быть борьба с большевиками. Надеяться всецело на союзников нельзя, ибо роль союзников сведется лишь к занятию важнейших узловых станций на юге России. Отпор же большевикам нужно дать собственной армией».

Харламов зря не говорил. Член кадетской партии, он имел постоянную и притом более или менее доброкачественную информацию о настроениях заграницы.

Тем не менее союзников ждали.

Ждали страстно, нетерпеливо.

Больше всего — Добровольческая армия. Она, обладавшая, несмотря на свою безземельность, тенденцией представлять на юге общерусскую власть, ждала сильной поддержки извне. Союзники, не имевшие понятия ни о Доне ни о Кубани, хотели говорить о старых долгах с теми, над знаменами которых витала тень прежней России. От Сазонова и Маклакова они слыхали только об одной истинно-русской армии — Добровольческой.

Престиж Доброволии при появлении союзников поднимался очень высоко. Теперь должны были замолкнуть кубанские шавки; донской атаман, скомпрометированный дружбой с немцами, должен был обуздать свою гордыню.

В екатеринодарских газетах в начале ноября приводилась беседа с «высокоавторитетным лицом», которое заявило журналистам:

— Союзники на Добровольческую армию смотрят как на основу своей деятельности по объединению России

[1] № 54.

и освобождению ее от большевиков. Всякое государство или государственное образование, которое своим сепаратизмом мешало бы объединению разрозненных частей Великой России, они считают своим врагом. Лицом, которое могло бы взять главное командование, они считают ген. Деникина. Союзники обещают неограниченную помощь деньгами, оружием, снаряжением и всевозможными медикаментами. В Новороссийск уже доставлено 6 миллионов патронов, 11 тысяч винтовок. Скоро прибудут танки».[1]

Их так страстно ждали, такие возлагали на них упования. Но все еще ни один союзнический представитель не приезжал в Екатеринодар. Становилось просто невтерпеж!

На фронте начинали терять веру в союзников. Там не читали газет и с минуты на минуту ждали целые корпуса коричневых сипаев, целые легионы сенегальских стрелков.

Большевиков ругали за то, что они продали Россию немцам. Газеты ежедневно писали, что в рядах советских войск латыши, китайцы, киргизы и еще, бог весть, какая нечисть. Но никто в белом стане не считал предосудительным итти бок-о-бок с наемными темнокожими очищать священный Кремль от большевиков.

— Союзники! Где же союзники? Хотим видеть союзников.

Власти предержащие прибегли к имитации. Выдали широкой публике за союзнических представителей первых попавшихся англо-французских моряков.

12 ноября Екатеринодар торжествовал. Улицы запрудились праздничными толпами. Всюду царило ликование и радость. Потому что прибыли, наконец, союзники!

Роль первой ласточки разыграли несколько офицеров с английского сверх-дредноута «Ливерпуль» и французского дредноута «Эрнест Ренан», во главе с капитаном 1-го ранга Лепноу. Для них, соскучившихся на море, это была довольно приятная увеселительная прогулка.

Они охотно ехали, куда их везли; ходили, куда вели. Особенно охотно пили и ели то, что им предлагали.

Если позже сам неподдельный представитель короля Англии на юге России ген. Бригс сознавался, что, отправляясь в Россию, не имел представления о Екатеринодаре, то эти гастролеры—моряки, направляясь в Екатеринодар, не имели ни малейшего понятия о России. Их увеселительную прогулку по Кубани можно сравнить разве с путешествием Санчо-Панчо по «острову Баратории», с тою лишь разницей, что здешняя толпа принимала их всерьез за сколько-нибудь значущие величины, тогда как бедного

---

[1] «Вольная Кубань», 1918 г., № 116.

оруженосца Дон-Кихота встречали торжественно лишь ради потехи.

В Раде, куда гастролеров тоже завезли, простодушные законодатели плакали от восторга. Так, по крайней мере, уверяли репортеры «Вольной Кубани».

— Мы, демократическое казачество, — ораторствовал перед «союзниками» П. Л. Макаренко, — ни на минуту не допускаем мысли, чтобы наши союзники, великие демократии мира, посягнули на наше демократическое устройство и помешали нам создать прекрасное здание великой, свободной и федеративной республики.

Каждый приписывал союзникам то, что ему самому хотелось. «Единонеделимцы» — стремление восстановить единую, «хведерасты» — создать федеративную. Союзники же, настоящие, желали одного: возместить свои протори и убытки. Эти же союзники, что явились на гастроли, хотели лишь хорошенько выпить и закусить.

Их чествовали банкетом. Они ели и молчали. Лишь один из них буркнул что-то в роде речи. Для широкой публики ее перевели так:

«Прежний союз России с нами прервала на некоторое время какая-то кучка авантюристов. Но теперь, с этого дня, этот священный союз возобновляется. В этот прекрасный день все мы, здесь присутствующие, дадим друг другу клятву, что этот союз никогда не будет нарушен».

Если «делегаты» больше пили и ели, нежели говорили, зато своя братия чесала свои языки что есть силы. Говорили, конечно, не для иностранцев: они все равно ничего не понимали по-русски. Разглагольствовали сами для себя и друг для друга, так как тут на обеде, за шампанским, столкнулись Дон, Кубань и Доброволия.

Каждый из представителей этих трех политических организаций высказывал то, что требовалось заявить на политическом собрании по вопросу дня. Добровольческий генерал Карцев, например, доказывал спасительность монархии для России.

С нетерпением ждали речей донцов. Знали, что их языком будет говорить Краснов. Всех интересовало, как-то выкрутится на этот раз союзник кайзера.

— Всякий знает, — начал свою речь ген. Смагин, представитель Краснова при Добровольческой армии, — что в союз с немцами заставили нас вступить обстоятельства. Мы принуждены были согласиться на обмен хлеба и шерсти на оружие и патроны, что и дало нам возможность создать Донскую армию. О! как страстно, как нетерпеливо мы ждали вас, господа союзники. Как надеялся наш атаман ровно год тому назад, в октябре прошлого года, когда

он шел освобождать Петроград с 3-м конным корпусом, что вы с севера придете к нему на помощь. Как ждали вас здесь в январе этого года, когда не все еще было потеряно, когда так легко было нам помочь. Вы пришли сюда, на места, занятые Добровольческой армией. Поддерживая ее, не забудьте и Южную армию и окажите помощь и ей. Она ведь стремится, — во главе со своим вождем, ген. Ивановым, который некогда своим наступлением в Галиции поддержал вас во время боев под Верденом, — к общей цели великих наций.

Под конец маститый генерал перешел на молитвенный лад.

— Мы так привыкли любить вас за это время, так привыкли смотреть на вас как на родных братьев, что и теперь со слезами умиленной радости мы говорим вам: здравствуйте, родные; здравствуйте, братья наши! Да будет благословен день и час вашего прихода.

Чтобы продемонстрировать перед «союзниками» мощь всевеликого войска Донского, «атаман Зимовой станицы» при кубанском правительстве ген. Ажинов, сейчас же вслед за речью Смагина, сообщил:

— Мы, донцы, рады поделиться своими успехами. Сегодняшняя сводка нашего штаба гласит, что Донская армия заняла Лиски и одержала крупную победу под Евстратовкой, захватив на разъезде Бодбаево 1 200 снарядов и 50 000 патронов.

Краснов, практик большой руки, остался верен себе. Лишившись купленной помощи немцев, он охотно соглашался купить помощь Антанты, о чем без стеснения заявлял всему миру через Смагина. Но при этом ни на миг не отказывался от конкуренции с Доброволией по части «спасения» святой Руси.

Представитель Донского Войскового Круга П. И. Ковалев, отражая мысли Харламова, тоже произнес речь.

— Я, как участник почти всех войсковых кругов, категорически утверждаю, что в числе главнейших постановлений, которые выносили донские казаки, неизменно фигурировала резолюция: быть верными до конца нашим союзникам. Если потом случилось нечто иное, то не мы тому виной. С стесненным сердцем, с гнетущим чувством переживали мы тягостные немецкие дни. Но, чтобы быть справедливым, я должен сказать, что у нас на Дону имеется весьма незначительная группа лиц, которые не прочь были повергнуть Тихий Дон под пяту немецкого солдата. Эти лица не прочь были... Впрочем, об этом подробно пока не стоит распространяться. Но Войсковой Круг, но гуща народная неизменно питала глубокие симпатии к нашим верным союзникам и теперь ждет, не дождется сказать

на своей донской земле тем, кого мы ныне так радостно приветствуем: добро пожаловать, дорогие гости, несущие нам свободу, равенство и братство.

Деникин из этой речи мог понять, что руководящие слои Войскового Круга далеко уже не так тесно связаны со своим атаманом-германофилом.

Хлестаковы, кутившие у Антона, только не Сквозник-Дмухановского, а Деникина, не успели еще прочухаться с перепоя, как на юг России прибыла всамделишная английская миссия, во главе с генералом Пулем. Он разбранил шаловливую молодежь, предвосхитившую ту встречу, которая по праву следовала ему.

Однако, и ему устроили ряд банкетов, на одном из которых он такими словами заключил свою приветственную речь.

— Позволю себе указать на один урок прошлого. С начала войны у нас в Англии не было политики. Была одна партия, которая стояла за Англию. Я не сомневаюсь, что вы бросите политику и будете дружно работать для достижения единой цели — единой России.

В Новочеркасск Пуль не поехал. «Союзники» обходили Дон. Это невнимание порождало массу слухов, особенно на фронте. Враги атамана пускали шепотки:

— Союзники поддерживают только добровольцев. Краснова они не признают. Пока Краснов царствует, Дону не видать от них никакой помощи.

Казачьи сердца сжались, боясь полной изолированности Дона. Неказачьи офицеры, служившие в Южной и Астраханской армиях ради больших окладов и безопасных должностей, стали побаиваться, как бы впоследствии, при восстановлении России Доброволией с помощью Антанты им не поставили в вину службу у Краснова.

Стояла уже зима. Казаки, плохо одетые и обутые, воевали все хуже и хуже. Войне не предвиделось конца, а это более всего обескураживало станичников и заставляло думать о примирении. А тут еще союзничья опала...

Краснову приходилось изобретать какой-нибудь фокус, который не заставил себя долго ждать.

Севастопольский агент Краснова, адмирал Кононов, выследил, когда союзники отправили в Азовское море, для обследования условий плавания и для измерения глубин, миноносцы, французский «Бриссон» и английский «Свен» и какой-то американский угольщик. Выпросив у командования союзной черноморской эскадрой разрешение почествовать моряков, отправленных в Азовское море, Кононов забрал в Таганроге офицеров с «Бриссона» и «Свена» и повез в Новочеркасск.

В «делегацию» союзников входили англичане — капитан Бонд, лейтенанты Блумфильд и Монро, французы — лейтенанты Кошэн, Дюпрэ и Фора. Они прихватили с собой полдюжины матросов.

Одновременно с этими гастролерами отправился в Новочеркасск из Екатеринодара французский агент г. Эрлиш, нынешний член палаты депутатов.

Краснов блеснул своим уменьем устраивать празднества. Даже враги не могли отказать ему в этом таланте. Он задался целью создать возможно большую шумиху, чтобы поразить союзников величием Дона и доказать фронту лживость врагов, утверждавших, что для союзников донские казаки — пасынки.

25 ноября стольный город Тихого Дона расцветился как павлиний хвост. Над домами развевались донские флаги. Старую деревянную арку, сооруженную на Крещенском спуске (улица от вокзала в центр города) перед собором, украсили флагами Антанты. На вершине ее водрузили звездчатый флаг Соединенных Штатов.

В этот день русский трехцветный флаг развевался в Новочеркасске лишь над единственным домом, где помещалась канцелярия представителя Доброволии на Дону, генерала Эльснера.

Отменялись занятия в правительственных учреждениях и учебных заведениях. Студентов Политехнического Института выстроили на Соборной площади.

В Новочеркасске, кроме юнкеров и атаманского конвоя, не квартировало никаких войсковых частей. На парад выгнали всю нестроевщину, до штабных писарей и кашеваров включительно. Краснов хотел показать союзникам, сколь обильна пушечным мясом земля донская. Чтобы придать нестроевым командам вид воинских частей, им накануне выдали из войскового музея старые знамена, некогда гулявшие с Платовым по всей Европе.

День выдался на редкость хмурый и противный. Город опеленала сине-молочная мгла.

«Войска» выстроились шпалерами от вокзала до собора, вдоль всего Крещенского спуска. Сзади них разместились толпы школяров, чиновников и всякой публики.

Несмолкаемое ура сопровождало триумфальный проезд «союзников» по живой улице. Кричали, не жалея глоток, но и разочаровывались, видя перед собой не почтенных государственных мужей, олицетворяющих мощь Антанты, а белогубых щенков, годных разве для выпивок с застольными речами.

Последний автомобиль уже совсем нарушал серьезность и благочиние торжественной встречи. На нем везли про-

стых матросов. Один из них, большеголовый янки, в широчайших клетчатых штанах, видимо, уже изрядно приложившийся к виски, разевал свою глотку, махал руками и притоптывал ногами. Но его вопли заглушались приветствиями толпы и колокольным трезвоном, который раздался на соборной колокольне, когда автомобили проезжали через арку.

На паперти величественного собора союзников встретило духовенство, во главе с епископом. Затем начался молебен. Устраивая эту церковную церемонию, Краснов хотел подчеркнуть благочестивым англичанам, что казачество чтит религию.

Вечером, как водится, торжественный обед у атамана, по меньшей мере, персон на двести.

Хозяин произнес речь на французском языке, которым владел в совершенстве. Он оправдывался в вынужденном союзе с немцами и просил помощи у союзников.

— Казак на фронте устал. Его силы изнемогают. Союзники должны помочь нам, если не хотят, чтобы через два-три года советский фронт появился на Рейне.

Он, который еще не так давно боролся с большевиками в союзе с немцами, теперь пугал Антанту союзом немцев и большевиков.

Г. Эрлиш отвечал атаману на таком ужасном русском языке, что на обеде не хохотали только из приличия, но впоследствии, на дружеских пирушках, участники обеда довольно часто имитировали эту речь. Прочие «союзники» отказывались от словесных выступлений, ссылаясь на то, что они не правомочные представители.

Зато, подвыпив, они разошлись, но только не по части речей. Когда великолепный оркестр сыграл донской гимн «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», они заявили, что хотят слышать русский национальный гимн. По их требованию сыграли «Боже, царя храни». Это им больше понравилось.

Под конец парадный обед превратился в шумную попойку. Шкуро, находившийся в качестве гостя, отплясывал лезгинку. Один из гостей французов пристал к епискому Гермогену, убеждая его тоже танцовать:

— Dansez — vous, le pope russe.[1]

В городе зажгли иллюминацию. «Ермаков»[2] на ее устройство не жалели. Однако, густая мгла помешала поразить гостей световыми эффектами.

[1] Танцуйте, русский поп.

[2] Донской денежный знак сторублевого достоинства, с изображением Ермака.

Утром — панихида на кладбище, на могиле Каледина, Митрофана Богаевского и других покойных вождей Дона.

«Они прибыли к нам издалека,—заливался репортер «Донских Ведомостей», описывая панихиду,—оттуда, где их родные луга омываются водами красавицы Сены и вечно хмурой Темзы... И вот они у нас, у наших дорогих, незабываемых могил, пришли излить вместе с нами неизбывную тоску о павших, пришли утешить нас, воскресить в нас увядающую веру в избавление». [1]

Здесь, перед панихидой, над прахом Каледина и «донского баяна», произошел маленький инцидент, почти незаметный, но интересный для характеристики людей той эпохи.

Краснов давно хотел привлечь на свою сторону талантливого публициста Виктора Севского, который афишировал в своем журнале «Донская Волна» врагов атамана, «степных» генералов. Теперь представился удобный случай для примирения.

Редактор «Донских Ведомостей» Н. А. Казмин, по поручению Краснова, привез на панихиду Севского. Если бы последний пошел на мировую, т.-е. продал бы свое перо, Краснов хотел дать ему сразу же достойную работу. Предполагалась поездка «союзников» на Донской фронт и требовался талантливый корреспондент, чтобы возможно крикливей расписать это событие в газетах.

Быть-может дело и пошло бы на лад, но все испортила женщина, «тетя Лиза». Так почти весь Новочеркасск звал вдову покойного «донского баяна», Е. Д. Богаевскую. Ей показалось обидным, что Краснов, прибыв с союзниками на могилу Каледина и ее мужа и начав здороваться с дамами, приложился не к ее первой руке. Почувствовав себя уязвленной, она сейчас же начала внушать щепетильному и раздражительному, как все чахоточные, Севскому о том, что атаман в лице ее задел и ее покойного мужа, друга и единомышленника публициста. Этого было достаточно. Севский лишний раз убедился в неуважении Краснова к идеологу казачьей демократии и спешно уехал с «тетей Лизой» тотчас же по окончании панихиды.

Примирение не состоялось. Краснову не удалось отвлечь от оппозиции рекламных дел мастера. Предстоящая поездка на фронт лишилась пера, которое могло бы достойным образом воспеть ее стихами и в прозе.

После панихиды — обед в Войсковом Круге.

Если у атамана преобладала военщина, то здесь верх брал статский элемент. Украшением стола служил один

---

[1] «Донские Ведомости», 1918 г., № 74.

рослый, благообразный «дидок» в чекмене, обладатель огромной рыжей бороды, член круга из казаков-старообрядцев.

На беду, ни один донской законодатель не говорил на иностранных языках. Пустились на хитрость. Редактора официоза, Н. А. Казмина, знавшего французский язык, выдали за члена Круга и он приветствовал гостей от донского представительного учреждения.

После обеда гостям захотелось посмотреть «les cosaques au naturel» Особенно интересовали их казачки.

Решено было съездить в подгороднюю Кривянку.

Автомобили с гостями понеслись по Платовскому проспекту. Публика, гулявшая по этой улице, удивилась до крайности, увидя, что вереница машин подкатила к дому № 5, в котором отнюдь не помещалось никакого правительственного учреждения, так как вывеска гласила:

КАХЕТИЯ.
Шашлычная-Погреб А. Х. Циклаури.

«Союзники», красные, с возбужденными лицами, продолжали сидеть в автомобилях. Видимо, в этом учреждении они не предполагали заниматься тою же важной работой, в которую ушли с головой в последние два дня.

В погреб направился переводчик. Нужно было взять с собой в станицу вина, чтобы облагодетельствовать господской чаркой казаков и казачек.

Деловая работа двух последних дней сказалась и на переводчике. Он имел достаточно силы, чтобы перейти тротуар, но, спускаясь в погреб, запнулся на первой же ступени и кубарем полетел вниз.

Лакеи подхватили мученика служебного долга. У него сочилась кровь из широких ссадин на руках и на голове.

Знатные иностранцы, как ни были пьяны, но застыли от ужаса, когда их ментор, весь в крови, предстал перед ними, выведенный под руки из погреба.

Поездку в Кривянку отставили, тем более, что в тот же вечер предстояло совершить еще один важный акт для заключения вечного союза между Доном и Антантой, а именно — пировать в войсковом офицерском собрании на традиционном празднике георгиевских кавалеров. 26 ноября — день святого Георгия победоносца.

«Донские Ведомости» расписывали, как умели, эти «союзнические» торжества. Для придания гостям большего удельного веса, их порядком повысили в чинах, а старшего из англичан, капитана Бонда, газета титуловала лордом. У нас, мол, в гостях лорды, не то, что у Добровolии.

*

Газеты «единонеделимцев», уличая Краснова в беспринципности, указывали на то, что еще вчера он лобызался с немцами, а сегодня блудодействует с союзниками, тогда как Добровольческая армия всегда сохраняла верность Антанте.

— Ей нетрудно было сохранить свою непорочность,— как-то раз высказался Краснов по поводу этих упреков.— Я получал от немцев, с Украины, снаряды и патроны и, омыв их в водах Тихого Дона, чистенькими передавал их Деникину.

Торжества в Новочеркасске затянулись, по русскому обычаю, на три дня. Потом отправились на ближайший фронт, опять целою гурьбою. Статские — во фраках, так как не успели переодеться после очередного торжественного возлияния. В Кантемировке командующий Южной армией ген. Иванов сначала принял таких гостей за официантов.

За обедом у Иванова уже забыли всякий этикет. Дряхлый хозяин, потрясая своей черноморовской бородой, превратился в конферансье.

— Слово принадлежит его сиятельству лорду Бонду,— возглашал он.

Бедного англичанина заставили произнести тост на русском языке по тексту, написанному латинскими буквами.

— Я пью за здоровье генерала Краснова,— кое-как, с грехом пополам, прочитал он начало.

Дальше шло: «Главнокомандующего армиями Дона». Произнося длинное слово, да еще со звуком «щ», который иностранцы вообще не осиливают, глава «делегации» окончательно сломал себе язык, что вызвало взрыв хохота.

Инициатива этой, пожалуй, неуместной шутки принадлежала А. Ф. Аладьину, члену I-ой Государственной Думы. Он, как и множество «всяких чинов людей», коптил небо на юге России, промышлял, чем бог пошлет, но присутствовал решительно на всех обедах с союзниками, так как отлично владел английским языком. Со времени появления союзников он нарядился в английскую военную форму, характерную, между прочим, ремнями, перекинутыми от пояса через плечи. Его видели то в Ростове, то в Екатеринодаре, то в Новочеркасске, и везде с трубкой во рту, которую он беспрерывно курил, чтобы совсем походить на англичанина.

Разрешая меньшей братии развлекать «союзников» разными милыми штуками, неизбежными под пьяную руку, Краснов не упускал из виду самого главного: демонстрации перед ними военной мощи Дона, единения между

вождем и казаками и преданности «народа» донскому властелину.

Из Кантемировки (станция на железной дороге Ростов—Воронеж) доехали на автомобилях до Бутурлиновки, богатой воронежской слободы, в которой процветает производство обуви. Двинулись было тем же способом и в расположение войсковых частей, но некоторые машины попортились. Пришлось разыскивать русские тройки, так как здесь царствовала настоящая зима.

Кортеж троек сопровождали конные гундоровцы, казаки лучшего и наиболее отличившегося полка, названного так по имени станицы Гундоровской (Донецкого округа).

Вечерело. Тьма становилась все гуще и гуще.

Вдруг сноп электрического света озарил путь. Это в Бутурлиновке направили вслед кортежу прожекторы, отбитые у красных. Падал снег и нежно искрился в ослепительных лучах искусственной луны.

Картина получилась феерическая.

Приехали в место расположения резерва. Близко к боевой линии Краснов опасался везти гостей. Мало ли что могло случиться?

Артиллерийская часть, заранее предваренная о приезде гостей, выстроилась по тревоге в 7 минут.

Потом подъехали к «гундорям», Гундоровскому полку.

По словам корреспондента, описавшего в «Донских Ведомостях» это путешествие, быть-может, не так талантливо, как это сделал бы В. Севский, но зато подробно и тоже не без прикрас, знатные иностранцы восхищались, когда «гундоря», парадируя, отбивали такт и отвечали Краснову на его приветствие:

— Рады стараться, ваше высокопревосходительство!

«Союзники»,—уверял корреспондент,—умилились, когда Краснов вызвал из строя казаков и офицеров, своих старых соратников по мировой войне, стал их целовать и дружески, задушевно беседовать с каждым из них. Всех казаков, имевших четыре георгиевских креста, атаман поздравил офицерами».

— Ну, теперь мы твердо убеждены, мы так уверены в несомненной победе донцов. Это не немецкая муштра... И такое сердечное, братское отношение начальства. Это несомненный залог победы,—будто бы сказали Бонд и Кошэн, растроганные картиной братанья вождя Дона со своими солдатами.

Тут же «союзникам» показали горы всяких трофеев — орудия, снаряды, патроны, двуколки, — но, разумеется, не информировали их о том, что все это добро уже раз десять за время гражданской войны переходило из рук в руки.

«Возвращаясь в Бутурлиновку, — повествует корреспондент, — «союзники» с умилением наблюдали, как воронежские крестьяне с сердечностью и радостью встречают вождя Дона».

В Бутурлиновке их угостил роскошным обедом богатейший фабрикант обуви Кащенко. Этим братаньем англо-французских офицеров с русским капиталистом окончилась вся эта бутафорская история со встречей союзников.

Донской генерал Алферов отвез их в Екатеринодар. Там им задал сильную головомойку генерал Пуль, недовольный тем, что они без его ведома проехали на Дон и позволили чествовать себя точно иностранных послов.

— Когда старшие офицеры вышли из кабинета Пуля, — рассказывал мне Алферов, — то были в самых расстроенных чувствах. Англичанин еще ничего, крепился, но на экспансивном французе лица не было.

В декабре ген. Пуль сам стал собираться на Дон. Поближе присмотревшись к южно-русской действительности, он понял, что Деникин на юге далеко еще не все. Краснова покамест нельзя было обойти тем, кто хотел восстановления России, способной уплатить старые долги.

«В начале будущей недели в Новочеркасск ожидается приезд английского генерала Пуля. Ему будет оказан чисто деловой прием; никаких торжественных встреч не предполагается», — сообщали 8 декабря «Донские Ведомости».

Пуль задался серьезной, разумной целью — убедить Краснова в необходимости объединить командование всеми южно-русскими армиями в одних руках.

Честные маклеры более, чем сами русские «патриоты», старались «спасать» великую и неделимую.

Истинную причину всех этих стараний более или менее откровенно разъяснил чешский торговый представитель Идрик, сказавший 19 ноября в Раде:

— Симпатии Европы к России, особенно к казачеству Кубани, основаны не только на чувстве, но и на рассудке. Экономисты и политики Чехии думают о том, как воссоединить в будущем не только Россию, но и Чехию с Россией. Разрабатываются проекты политического и экономического сближения, в частности товарообмена с Кубанью.

Вся суть стараний заграничных друзей России заключалась в желании «наладить товарообмен», т.-е. получать за бесценок русское сырье. Большевики мешают этому, так долой большевиков. А пока нет России в целом, можно обирать Кубань.

VIII.

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ.

Управление войском Донским до XIX века сосредоточивалось в нынешней станице Старочеркасской, на левом берегу Дона, верстах в 25 выше Ростова.

Теперь этот старый черкасский городок известен разве тем, что в его соборной церкви хранятся цепи, которыми атаман домовитых казаков Корнилий Яковлев сковал атамана голытьбы Степана Разина перед тем, как отправить в Москву на позорную казнь. Кроме того, ежегодно, в осеннюю пору здесь справлялись общественные поминки донцов, погибших при взятии Азова и в «Азовское сиденье» в 1637—1642 г.г.

Со времен атамана графа Платова стольным городом Тихого Дона сделался Новочеркасск. Говорят, старый казачий городок тем провинился перед «Вихорь-Атаманом», что слишком далеко отстоял от хуторов, пожалованных новоиспеченному казачьему графу. С низменного левого берега столица перекочевала при Платове на высокий бугор, в 45 верстах выше Ростова, на правый берег рукава Дона — Тузлова.

С той поры начала шириться и цвести станица Новочеркасская. За сто лет порядком разрослась, украсилась прекрасным златоверхим собором, стала называться городом. Но станичная жизнь в ней не выветривалась.

Стольному городу Дона было суждено навсегда оставаться только административным центром, скучным, серым городом, погруженным в глубокую спячку на манер той, какая царила в многочисленных его канцеляриях. Главная масса населения — офицеры, чиновники, казачьи старшины, жили тут так же, как на своих хуторах, — сыто, лениво, нелюбознательно, все больше по своим углам, погрязнув в своих мелких интересах.

На широких плановых местах прежние мазанки сменились двухъэтажными кирпичными домами. Но сады остались подле них, глубокие, почти в полквартала, с беседками по углам, торчавшими над улицей, как древние сторожевые вышки над степной равниной. С этих вышек, заросших плющом, любопытные женские глазки пристальным взглядом встречали и провожали редкого уличного пешехода.

— Кто? Знакомый или нет? Куда идет?

Больше ничем не могли заполнять свои досуги обитательницы стольного города.

Мужчины — если не дома, то в лагерях или канцеляриях. Их жены и дочери — в садовых наблюдательных пунктах.

Совсем другим темпом протекала жизнь в близком Ростове, сросшемся, на манер сиамских близнецов, с армянской Нахичеванью.

Тут не пахло степной ленью.

Тут возник главнейший на всем юго-востоке России торг.

Тут тысячи людей толклись, как кофейные зерна в ступе, на пристанях, на фабриках, на мельницах. Метался, обливаясь потом, рабочий люд, силясь возможно больше выдавить из себя мускульной силы. Метался и богатый работодатель, силясь в кратчайший срок зашибить наибольший процент на свой капитал.

И так же бешено прожигались барыши.

Театры, сады, рестораны, лотошные клубы, оперетка... Предложение этого товара никогда не отставало от спроса.

— Вы казак? Какой станицы? — спросят незнакомца в стольном городе.

— Вы оптовик или в розницу? Чем торгуете? — поинтересуются в Ростове.

У каждого города не только своя физиономия, но и свой характерный язык. Впрочем, теперь здесь говорили на всех языках. Пришельцы с севера, из Петрограда и Москвы, — на английском и французском.

Через гетманскую Украину, через Воронеж и Царицын, по железным дорогам и по неведомым захолустным тропам, с чужими паспортами, но с родовыми бриллиантами, с помощью подкупов и обмана, пробирались сюда обломки рухнувшего строя.

Торговый, сугубо буржуазный Ростов тоже приютил земельную и чиновную аристократию.

— И вы, шерочка, здесь?

— Уже две недели. Ехала под видом жены матроса. Представьте, какой был почет. А потом, около фронта, наняла мужика. Провез в телеге за одну «думскую». Все серебро вывезла.

— Ах! А я крупнейший фамильный бриллиант засунула в рот селедки. Тоже все благополучно.

Родовое серебро и фамильные бриллианты, разумеется, шли на спекуляцию. В области этого «труда» женщины забили мужчин. Мужчины еще жеманились, выпрашивали у Краснова службу в тылах его армий или ехали на тот же промысел в Екатеринодар.

Журналисты, профессора, политические деятели всех мастей здесь тоже искали пристанища и работы. Сюда сунулся Пуришкевич, так как тут проживало много евреев и было кого громить.

Донской Круг взъелся на него. Обиженный думский петрушка перекочевал на Кубань травить Раду.

Здесь englishman А. Ф. Аладьин поражал дам своим английским костюмом и чистым английским выговором.

Здесь преподносил публике свои юморески неунывающий Аверченко.

Здесь...

— Полковник, какими судьбами?

— А? В чем дело?

Оборачиваюсь. Передо мной щупленький человечек с рыженькой бородкой.

— Здравствуйте, Аркадий Евгеньевич.

Это бывшая персона — эриванский губернатор. Когда-то его губерния входила в мой военно-следственный участок. Частенько встречались в эриванском клубе.

— Вы по своей судебной части?

— По-старому. Сюда приехал из Новочеркасска с выездной сессией. А вы устроились?

— Как же, как же! В Екатеринодаре при особом совещании. Думаю, в случае чего — опять губернаторствовать.

— Стойте... Кажется, в Тифлисе вы прошлой весной зарекались служить на казенной службе. Как ваша комиссионная контора?

Стрельбицкий принадлежал к числу тех, далеко не грозных, помпадуров, про которых Салтыков-Щедрин писал с гримасой брезгливости: «Представлен был высокой особе, и взболтнул. Взболтнул, и понравился. Понравился, и был призван уловлять вселенную»,

В 35 лет от роду он уже губернаторствовал в Эривани. Шутка ли, при старом режиме! В pendant к своему возрасту имел 32-летнего вица, по фамилии Панчулидзева.

Наш общий приятель князь И. Р. Палавандов говаривал иногда:

— И какой вы губернатор? Вам впору быть разве столоначальником, а вице-губернатору вашему — помощником столоначальника.

Злые языки поговаривали, что молодой, романтически настроенный начальник губернии иногда встречал и провожал до дому гимназисток.

После февральской революции, просидев два месяца в тюремном замке за уничтожение секретных бумаг, этот романтик стал прозаиком. Перебравшись в Тифлис, он открыл, в компании каких-то теплых ребят, комиссионную контору. В разговоре со мной божился, что нет большего счастья, как частное дело.

Но стоило возникнуть Вандее, как он опять готовился уловлять вселенную. Готовился, а не губернаторствовал, потому что в казачьих областях царили свои помпадуры.

В Ростове, например, чинил суд и расправу ставленник Краснова, градоначальник полк. Греков. Его правление не изгладится из памяти ростовских граждан, евреев в особенности. Сенатор С. Н. Трегубов, ревизовавший осенью 1919 года это градоначальство, составил исторический очерк грековского властвования. Частично я познакомился с подвигами полк. Грекова из разных жалоб, поступавших к нам в прокуратуру, а также из бесед с сенатором Трегубовым, бывшим моим профессором, у которого я изучал уголовное право.

Греков изумительно ловко и невинность соблюдал, и капитал приобретал.

— Вы, господин Нейман, хлопочете о чем? Кажется, хотите открыть игорный дом? — мягко спрашивал он посетителя.

— Так точно... Хлопочу уже две недели.

— Так я вам разрешаю. Где ваше заявление? Хорошо. Оставьте его у меня. До свидания.

С головокружительной быстротой появлялся в Ростове новый игорный притон. Владельцы бешеных денег, в жажде сильных ощущений, осаждают его.

Проходило две недели.

Работа в притоне во-всю. Шуршат керенки, донские, купоны займа свободы. Изредка звенит золото и чаще сверкает бриллиант. Нищие в миг превращаются в мнимых крезов, крезы в настоящих бедняков.

Г. Нейман наживается больше всех.

— Извольте немедленно же удалить публику... Как вы смели?

— Но, г. пристав, мне разрешил градоначальник.

— Ложь... Вот резолюция на вашем заявлении. Видите, черным по белому написано «не разрешаю».

Г. Нейман утром в градоначальстве, с понурым видом и пачкой дензнаков в кармане.

— Ах, простите. Тут вышло недоразумение. Я перечеркну резолюцию. Будьте покойны.

Из кабинета градоправителя г. Нейман выходит уже с веселым видом, но без ассигнаций.

Через две недели в клубе опять пристав.

— Вы все продолжаете? Вам же я русским языком сказал, что не разрешено. Извольте прикрыть свою лавочку.

Новый визит к градоправителю с более увесистой пачкой и новое изменение резолюции. Живодерка продолжала работать, принося барыши и г. Нейману, и полк. Грекову.

Сенаторская ревизия установила, что на прошениях всех владельцев игорных домов, функционировавших в греков-

ское время, имеется по нескольку перечеркнутых резолюций.[1]

Хитроумный помпадур спекулировал не только на этих последних, но и на своих официальных приказах по градоначальству, каждый из которых был вполне законченным юмористическим произведением. За отсутствием в Ростове «Сатирикона» и «Стрекозы», старорежимных «Смехача» и «Бегемота», Греков сначала печатал свои творения в «Приазовском Крае».

Эта большая, старая газета, с демократическим оттенком, и без того хорошо раскупалась. Поэтому редакция отказалась платить гонорар сановному юмористу. Тогда Греков сдал печатание своих приказов на подряд Борису Суворину, издателю «Вечернего Времени». Тираж черносотенной газетки повысился сразу.

Для образца грековского творчества можно взять его приказ по градоначальству во дни первой годовщины Октябрьской революции:

«Опять в г. Ростове на Дону появились прокламации с призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Право, понять не могу, почему пролетариям надо соединяться именно в Ростове? Здесь и без того тесно. Прокламации расклеивала госпожа Ревекка Ильяшевна Альбаум. Ее следовало бы расстрелять, но я приказываю ее лишь выслать к большевикам, за которых она ратует».

Впоследствии ревизия сенатора Трегубова установила, что виновность Альбаум ничем не доказана и что вся эта история с прокламациями явно инсценирована.[2] Грекову и его сподвижникам, да и многим другим, им подобным, всегда безумно хотелось запутать в какое-нибудь дело состоятельных евреев. Это сулило богатый урожай «благодарности».

Несчастную еврейку-курсистку отправили в Совдепию через фронт. Носились слухи, впрочем не проверенные, что ее прикончили солдаты Южной армии у последней черты донской территории.

— Большевичка! Стоит ли отпускать.

Главным сподвижником Грекова, непосредственным распорядителем жизни и имущества ростовских граждан, был некий войсковой старшина Икаев, начальник грековской контр-разведки и он же председатель ростовского военно-полевого суда.

Осетин по национальности, хулиган по поведению, он по неофициальному роду занятий принадлежал к граби-

---

[1] Газета «Донская Речь», г. Ростов, 1919 г., № 18.
[2] Там же.

телям, стоя во главе шайки бандитов, таких же, как и сам, диких кавказцев.

«Он хотя и не юрист, но дело понимает», — писал полк. Греков в своем приказе о назначении Икаева председателем военно-полевого суда.

Действительно, Икаев настолько хорошо понимал свое дело, что скоро зажиточным людям Ростова не стало житья. Икаевские головорезы ночью хватали намеченную жертву, тащили ее в свой штаб, расположенный не где-нибудь, а в лучшей гостинице «Палас-Отель», допрашивали, запугивали.

— Балшэвик... Красным выдавал белых... Резить будем...

На другой день приводили «большевика» в какой-то подвал, в «военно-полевой суд», перед ясные очи Икаева. Отправление правосудия начиналось с вопроса, сколько подсудимый может дать, чтобы его отпустили с миром. Несчастные буржуи в предсмертном ужасе готовы были отдать последний нательный крест.

Подобные деяния Икаева под самым носом Краснова, гордившегося введением порядка и законности на Дону, не анекдоты, не миф. Это факты, зафиксированные военным следователем 1-го участка войска Донского.

Жалобы на ростовского бандита стали попадать к судебным властям уже тогда, когда он и его патрон исчезли с местного горизонта. До этого времени терроризированные ростовцы молчали.

Да и как было жаловаться? Икаев осенью 1918 года совершенно спокойно убил офицера, с которым повздорил. Греков не позволил его арестовать: незаменимый человек, служба много потеряет, порядок в городе нарушится.

Преступный факт однако нельзя было замять. Гражданский судебный следователь произвел следствие и направил дело в Донской военный (военно-окружный) суд, в г. Новочеркасск. Икаев явился на заседание в сопровождении своих бандитов, вооруженных до зубов. Для большего убеждения судей в невиновности своего патрона они время от времени хватались то за рукоять кинжала, то за эфес шашки, то за револьвер.

Суд, под председательством военного судьи полк. Добротворского, все-таки приговорил этого военно-полевого судью к двадцати годам каторжных работ.

«Дарую войсковому старшине Икаеву полное помилование!» — царственно начертал на приговоре свою конфирмацию командующий Донской армией ген. Святослав Варлаамович Денисов, донской аристократ, друг Краснова и полк. Грекова.

Икаев, как ни в чем не бывало, отправился в Ростов. После же падения Грекова двинулся со своими телохранителями «на фронт». В поезде, где-то возле станции Морозовской, его молодцы подсмотрели у одного из пассажиров большие деньги.

— Взять большевика! — скомандовал Икаев.

Несчастного схватили, обобрали, а когда поезд подошел к станции, вывели за полотно и расстреляли.

— Агитировал за большевиков! — было объявлено местным властям.

И это злодеяние стало предметом судебного следствия. Пока преступника разыскивали, он вместо «фронта» оказался на службе в тылу у Доброволии. Осенью 1919 года мне передавали, что его видели не то в Чечне, не то в Осетии в генеральских погонах.

После разгрома белого стана он перекочевал на Балканы и занялся там спекуляцией. Благо было на что!

Стоит ли говорить, что, когда сессия Донского военного суда прибыла впервые в Ростов, здесь возникли панические слухи. По военно-процессуальным законам выездные сессии военно-окружных судов назывались временными военными судами.

— Как, разве недостаточно еще военно-полевого суда? Это еще что за временный суд? Ох, и будет, должно быть, кровопускание! — шептали ростовцы, прочтя в «Приазовском Крае» заметку о нашем прибытии.

На беду репортеры или наборщики переврали мою фамилию. В заметке публика читала:

«Прокурором при временном военном суде состоит полковник И. М. Каледин».

Паникеры решили, что это брат А. М. Каледина, покойного донского атамана, и уже видели над головой подсудимых топор кровавого мстителя.

Нам предстояло разобрать три «большевистских» дела. Одно—о председателе союза речных водников Иване Предтеченском; другое — о председателе морских водников Верченко; третье—о бывшем комиссаре охраны рыбных ловель Иване Польском, крестьянине подгороднего села Койсуг. Первые два привлекались за то, что работали с большевиками, третий за занятие должности комиссара.

Для заседаний суду отвели залу в клубе комиссионеров. Благодаря этому публика у нас не переводилась.

Велико было ее изумление, когда я потребовал для Предтеченского низшую меру наказания, положенного донским законом за большевизм. Суд назначил ему год заключения в крепости. Через некоторое время атаман избавил его и от этого наказания.

Верченко я обвинял для проформы. Его приговорили к четырем месяцам крепости; по зачете же предварительного заключения, он очень скоро вернулся к своей семье.

Ивана Польского, славного крестьянского парнишку, о котором на суде дал очень симпатичный отзыв профессор Ростовского университета В. В. Курилов, я не обвинял, а защищал.

Бывший комиссар пошел прямо из суда домой.

Публика ничего понять не могла.

— В чем дело? Что это за суд?

Лучшие местные адвокаты, выступавшие моими противниками, И. И. Шик, М. Б. Смирнов, Н. М. Лезгинцев, объясняли, как могли, что это «нормальный» военный суд, а не чрезвычайный, каким является военно-полевой.

Военная цензура пыталась воспрепятствовать опубликованию в газетах отчетов о нашем суде. Репортеры обратились ко мне. Я отправился к главному цензору и убедил его ссылкой на закон, что наш суд гласный и что только по делам, которые разбираются при закрытых дверях, ничего нельзя печатать без разрешения председателя. Цензор, бывший жандармский офицер, извинился, заявив, что он привык к порядку, установленному для военно-полевых судов.

С той поры судебные репортеры стали с нетерпением ждать нашего появления в Ростове.

Несколько позже наш временный военный суд разобрал несколько уголовных дел, в том числе прискорбное дело об убийстве декана физико-математического факультета Ростовского (б. Варшавского) университета профессора Андрея Робертовича Колли и об убийстве же начальника ростовской городской милиции меньшевика Калмыкова.

Последнего прикончила толпа лиц с темным прошлым 11 февраля 1918 года, когда Ростов впервые занимали красные войска. Новая власть разыскала часть убийц и покарала их. По водворении белых, сыщики выискали еще шестерых. Наш суд всех их оправдал, хотя против некоторых существовали серьезные улики. Мне пришлось подать кассационный протест в сенат.

В тот же памятный для Ростова день погиб профессор Колли, выдающийся физик-эксперименталист, человек далеко еще не старый, но уже считавшийся европейским ученым. Его погубили университетские служители, сводя счеты за то, что он летом 1917 года провалил их забастовку на экономической почве. Когда в городе воцарилась анархия, обычная в моменты перехода власти из одних рук в другие, несколько служителей привели на квартиру

Колли (на Пушкинской улице) озверелую уличную толпу, искавшую контр-революционеров.

— Вот буржуй! Вот кадет! Вот контр-революционер!

Для большей убедительности провокаторы подбросили под кровать жандармский мундир.

Одного служителя, Ивана Уставщикова, наш суд приговорил к двадцати годам каторжных работ. Двое других, Дробышев и Бобко, бежали в Красную армию.

Но и они не избегли должного возмездия.

В то время, как за границей клеймили Советскую власть за то, что она уничтожает таких жрецов науки как проф. Колли, Ростовский военный трибунал произнес свой приговор над недосуженными белым судом виновниками смерти этого ученого. Сетования Европы оказались напрасными. Уголовщина везде остается уголовщиной. Убийц Калмыкова начала карать Советская власть и закончила власть белая. С наказанием убийц проф. Колли вышло наоборот.

В мае нынешнего, 1925, года, посетив Москву для научной работы в архивах, я остановился, по указанию ЦЕКУБУ,[1] в общежитии,[2] где доживают свой век несколько вдов тружеников науки. Среди них я встретил цветущую, — насколько вообще может цвести 70-летний человек, — высокоинтеллигентную женщину. Это была М. В. Колли, мать убитого в Ростове профессора физики.

Мы с ней разговорились.

Мучительная скорбь съедала ее сердце.

И только внимание Советской власти спасало ее от конечного отчаяния.

IX.

СМЕНА ДОНСКОЙ ВЛАСТИ.

Петр Леонтьевич Макаренко, председатель кубанской делегации, посетивший Дон с целью ознакомления с донскими порядками, пришел от них в неописуемый восторг.

29 ноября, докладывая Раде о результатах своей поездки, он заявил:

— Мы увидели на Дону мощь, и в этой мощи отражалось былое величие России.

Макаренко присутствовал в Новочеркасске при встрече союзников. Блистательные торжества, устроенные опытной рукой близкого ко двору генерала, ослепили доморощенного степного политика.

---

[1] Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совнаркоме.

[2] Смоленский бульв., Неопалимовский пер., д. № 5.

Более вдумчивые наблюдатели могли бы безошибочно сказать:

— Мы увидели на Дону гниль, прикрытую позолотой, точь-в-точь как было в последние дни самодержавия на Руси.

Газета «Донская Речь», орган донской либеральной буржуазии, дала такую оценку правительственной деятельности «атамана военного времени»:[1]

«Красновский режим внес разложение в нравы правящих сфер. В ведомствах не чувствовалось никакой согласованности. Каждый молодец действовал на свой образец, каждый заискивал перед атаманом, старался выговорить себе исключительное расположение правителя и стремился делать лишь свои и своего ведомства дела и делишки, совершенно не считаясь с тем, что находилось за пределами его ведомства. Каждый министр не чувствовал ответственности за свои действия: все прикрывались авторитетом атамана. Смены управляющих ведомствами не носили программного характера; менялись лица не потому, что менялась система или программа, а потому, что таковы были капризы правителя «Донской республики».

Эта оценка хотя и правильная, но недостаточная.

Не втом вся беда, что Краснов на своих министров смотрел как на пешек. Большее зло заключалось в том, что, осуществляя в полной мере самодержавную власть, он в сфере правительственной деятельности опирался по преимуществу на высший класс, на местную знать, гвардейское офицерство, то-есть на наиболее разложившиеся обломки старого строя. Его сподвижники, большей частью представители лучших донских фамилий, совершенно не годились для той серьезной работы, которую атаман возложил им на плечи.

Сам Краснов, талантливый и трудолюбивый, во много раз превосходил всех своих сподвижников, вместе взятых. Гвардейского офицера Г. П. Янова, «Жоржа» по имени и «Жоржика» по психологии, он назначил управлять внутренними делами. Министр (одно время даже председатель Круга) в «Ростове», в одной из лучших гостиниц, перепился и устроил такой дебош, что Краснову волей-неволей пришлось его уволить.

Другие министры—если не пили, то лодырничали; если не лодырничали, то занимались спекуляциями.

Разные дамы, донская знать, через посредство своей родни и друзей, донских министров, самым беззастенчивым

---

[1] «Донская Речь», г. Ростов, 1919 г., № 20.

образом устраивали темные дела, разумеется, не бесплатно. Я знал семью генеральши Р., где собирался новочеркасский бо-монд и правящие круги. В салоне видную роль играла дочь г. Р., сенаторша Э., не жившая со своим мужем, престарелым царским сановником. Эта дама спекулировала решительно всем, вплоть до своих связей со сферами, и жила, благодаря этому, по-княжески. Я был на ее именинах. В то время, как честный служака, даже в генеральском чине, еле-еле мог прокормиться на свое жалованье, у соломенной сенаторши одного шампанского за ужином было выпито полторы дюжины.

Все знали источники средств. Но никому не приходило в голову считать их предосудительными. Ведь это была дама своего круга, и большинство красновских администраторов, сознательно или несознательно, помогали ей обделывать дела.

С течением времени ее фамилия начала фигурировать в следственных делах. Но она до конца красновского владычества вращалась в сферах.

Зная, что внутри его государства много гнили, Краснов старался блеснуть хотя бы наружной позолотой. Сам многое делал только для виду и не мешал другим делать только напоказ.

Новочеркасск был парадной залой донского государства и по внешнему виду здесь все обстояло благополучно. Но если в Ростове, в самом культурном городе Дона, какой-нибудь градоначальник Греков и дикарь Икаев безобразничали так, как не снилось гоголевскому городничему, то можно предполагать, что творилось вдали от стольного города. В Александровске-Грушевске, например, вблизи от Новочеркасска, начальник гарнизона ген. Золотарев, донской казак из корейцев (!), сейчас же после падения Краснова попал под следствие за систематические грабежи торговцев.

В самой основе красновской государственной деятельности коренилась великая ложь.

Казалось просто непонятным, как он и многие его сподвижники, прожившие большую часть жизни вне Дона, а иные и вовсе там не бывавшие, вдруг после Октябрьского переворота заболели казакоманией.

— Дон для донцов! — кричали многие из подобных «донцов» и силились вытеснить с хороших должностей «этих русских».

Казакомания дала возможность пристраиваться на ответственные посты бездарным тупицам, феноменальным лодырям, явно недобросовестным людям. Ибо это свои. Тутошные. Своего казачьего корня.

Краснов был слишком умен, чтобы не понимать нелепости существования особого донского государства. Но он, большой честолюбец, потому поощрял казакоманию, что смотрел на казачий Дон лишь как на средство для восстановления старого режима на Руси. Счастие казаков его мало интересовало. Поэтому лицемерие сквозило на каждом шагу.

Позже, за границей, он не скрывал своих истинных планов, которые хотел осуществить в 1918 году. Теперь же, в бытность свою атаманом, для виду играл в парламентаризм, курил фимиам расплывчатой казачьей идее, отстаивал донскую самостоятельность от покушений Доброволии, которая силилась конкурировать с ним по части «спасения» России.

Донские аристократы отлично понимали сокровенные планы вождя. Пользуясь всеми благами, которые давала им самостийность Дона, они вместе с тем открыто издевались как над Кругом, так и над всем донским строем. Членов Круга они титуловали «хузяевами», всевеликое войско Донское — всевеселым.

Когда эта публика заметила, что Круг заходит слишком далеко и пытается даже провести аграрную реформу, она взъерепенилась. В конце января, в мглистой темноте прозвучал предательский выстрел. Таинственный злоумышленник тяжело ранил в живот члена Круга, эс-эра П. М. Агеева, докладчика и главного сторонника отчуждения в войсковой земельный фонд частно-владельческих имений.

Приехав на Дон, я недоумевал, как это на демократическом казачьем Дону, в самом Новочеркасске, процветает газета «Часовой» и маленькое издательство того же имени.

Органы старой черносотенной прессы, «Земщина», «Вече» и др., смело могли протянуть руку «Часовому». Погромное издательство каким-то таинственным образом раздобывало бумагу, в которой тогда ощущался страшный недостаток. Правительственная типография приветливо раскрывала перед ним двери.

Обыватели города нередко находили в дверных ящиках для писем свернутые листки, в которых были отпечатаны тем же шрифтом, что и «Часовой», стихи, в роде следующих, уцелевших в моей памяти:

Як були в нас царь, царица,
Ели кныши, паляныци,
Як остались без царя,
Негде взять и сухаря.
Як республику собрали,
Хлиб с вимбарив весь зибрали,
Захватыли свитки, гроши,
Нам остались тильки воши.

Разгадка всей этой истории с «Часовым» упростилась, когда это издательство, на ряду с погромными брошюрами, начало выпускать в свет собрание сочинений Петра Николаевича Краснова.

Но не политическое лицемерие, с которым этот махровый монархист изображал из себя главу демократического государства, не систематическое надувательство казаков свергли с пьедестала этого честолюбца. Удар красновскому величию нанес фронт, который никогда не видел атамана, если не считать его увеселительной поездки с «союзниками» в Гундоровский полк.

Не только атаман, — фронта не нюхал и командующий Донской армией и флотом ген. Денисов. «Светик», — так попросту звали командарма в обществе, — бывший гвардеец, личный друг Краснова, предпочитал вести в Новочеркасске разные хозяйственные операции, нежели боевые на фронте. В результате его хозяйничанья Донская армия ходила разутая и раздетая.

Фронт начинал ненавидеть Краснова и созданную им донскую государственность.

Уже в декабре появились грозные симптомы. Красные стали наседать со стороны Царицына. В январе казаки станиц Вешенской, Мигулинской и Казанской (Верхне-Донского округа), считая войну бессмысленной, разбрелись по домам. Красным открылась широкая дорога в низовья Донца и Дона.

Южная армия, действовавшая в Воронежской губернии, не могла спасти положения. Большевики раскатали ее в два счета с помощью воронежских крестьян, которых возмутило наглое хозяйничанье монархически настроенного офицерства. В районе расположения Южной армии крестьяне воочию убеждались, что эта военная сила несет им просто-напросто крепостной режим.

Герой Перемышля, ген. Н. И. Иванов, вскоре же умер. Этот выходец из низов, сын гвардейского вахмистра, дважды потерпел фиаско, пытаясь спасти монархию, вознесшую его до высочайших ступеней военной и придворной иерархии в память его отца, задавленного орудием на параде в присутствии Александра II.

Остатки Южной армии расформировали.

— Армия Южная — никому ненужная, — острили про нее повсюду.

Ликвидационная комиссия, ознакомившись с отчетностью высших должностных лиц, нашла, что каждый акт их хозяйственной деятельности — преступление от начала до конца. Осенью 1919 года ко мне поступило на заключение дело пока только об одном начальнике снабжений Южной

армии ген. Суханове. Оно заключало в себе добрых пятнадцать томов.

Астраханскую армию большевики тоже сдунули с лица земли одним взмахом. Пехоту разбили в одном более или менее серьезном бою, артиллеристов порубили во время ночного налета, калмыцкая кавалерия ускакала. Тыловые учреждения, где главенствовала белая кость, разумеется, спаслись все до единого. Их приютила Доброволия, под крыло которой попали и уцелевшие южноармейцы. Князь Тундутов бесследно скрылся с горизонта.

Советские армии со всех сторон двигались на Новочеркасск.

Местами даже казачье население встречало их со вздохом облегчения, считая, что настал таки конец проклятущей войне. Она разоряла казаков до тла. Простой инстинкт самосохранения подсказывал, что худой мир лучше доброй ссоры.

Краснов все еще изворачивался, обманывая казаков скорым прибытием союзнических частей.

«Союзники с нами! — писал он в приказе Донской армии от 10 января 1919 года за № 60. — Мы видели их, слышали их голос, чувствуем их помощь, идем рука об руку с ними к одной цели — к спасению России. Союзники посетили наш фронт, были на Дону, объезжали передовые позиции доблестной Донской армии. Ген. Пуль — почетный казак станицы Пашковской.[1] На-днях придут на наш север английские войска. Посмотрите на них. Может-быть, и они — ряженые казаки, как утверждают большевистские агитаторы».

У Краснова и его «Светика» существовала мода запугивать. Он грозил смести до основания Царицын, если защитники добровольно не сдадут ему город. Он грозил таганрогским крестьянам разметать орудийным огнем их слободы за сочувствие большевикам, что отчасти и выполнил, так как с безоружными воевать нетрудно.

Грозил и на этот раз большевикам, чтобы подбодрить свои войска.

«Что сделают с мятежной Россией победители Германии — Англия и Франция? Они сотрут с лица земли большевиков, уничтожат их навсегда!» — заявлял он в том же приказе от 10 января.

Ложь не помогала.

Казаки союзников не видели.

---

[1] Как говорили, станица Каменская избрала почетным казаком и короля Англии.

«Ложь, чуждая добродетели, запутывается в собственных сетях»— поучал когда-то Карамзин. Краснов чувствовал, что ложь больше не приносит ему пользы.

Он знал, что степные генералы ликуют вместе с Доброволией. Знал, что Харламов, давно уже спевшийся с Екатеринодаром, готов каждую минуту вонзить ему нож в спину.

Неустойка на фронте, обозначившаяся еще раньше измены Верхне-Донского округа, заставила донского атамана в конце 1918 года быть сговорчивее при обсуждении вопроса об едином командовании на юге России. Разговоры на эту тему возникли в ноябре, после того, как провалилось предложение о диктатуре.

Больше всего об едином командовании хлопотали англичане. Свои неограниченные средства для борьбы, по вполне понятным причинам, они хотели ссудить под ответственность одной власти, а не нескольких. Притом, как люди практичные, они понимали, что пока на юге России существует разъединение, военное и политическое, успеха не будет.

Поняв невозможность объединить в руках Деникина и его правительства политическую власть, англичане настаивали на объединении командования.

В ноябре, когда Донской фронт еще держался, Краснов всячески осложнял эти переговоры. Так, он соглашался предоставить в распоряжение будущего общего командования всего лишь бригаду пехоты и дивизию конницы, т.-е. не свыше $^1/_5$ всех своих сил, под тем предлогом, что остальные силы нужны для охраны порядка в области. Владыка Дона, видя печальный опыт кубанских самостийников, не хотел оставаться без войска, отлично зная, что в чьих руках вооруженная сила, тот и властвует.

Добровольческие представители на это предложение атамана заявили, что оно противоречит принципам военного искусства и представляет серьезный тормоз для единого фронта. Но Краснов не хотел позволить Доброволии загребать жар руками казачества, которое он сорганизовал. В ноябре вопрос об едином командовании так и не сдвинулся с мертвой точки.

— Если бы Добровольческая армия, — говорил Краснов кубанской делегации,—в настоящее время двигалась на север, на Москву, и боролась бок-о-бок с Донской армией, тогда бы, конечно, вопрос об едином верховном командовании возник немедленно. При настоящих же условиях, к сожалению, нет оснований предполагать, что оно может принести существенную пользу. Что сейчас они могут дать нам и что мы им можем дать? Да и в будущем, — если казакам признать верховное неказачье командование, это

значит в будущем освободить руками казаков Москву, а казаки останутся не при чем и успех дела будет приписан другим. [1]

Неустойка на фронте заставила говорить иным языком.

26 декабря Краснов прибыл на ст. Кущевку на свидание с Деникиным.

Английский генерал Пуль и французский капитан Фукэ играли роль сватов.

Краснов и ранее, чтобы подчеркнуть свою независимость от Деникина, называл последнего в телеграммах Антоном Ивановичем. Теперь в Кущевке, на границе Дона и Кубани, занятой Доброволией, он приказал поставить свой поезд так, чтобы граница проходила по середине его вагона. Деникину давалось понять, что донской атаман не едет к нему с поклоном, а встречает его на границе своих владений. В свою очередь и деникинский вагон расположился таким же образом.

Щепетильные «спасатели отечества», с соблюдением тысячи китайских церемоний, имевших целью не уронить свое достоинство в глазах другого, наконец, договорились. По этому кущевскому соглашению Донская армия в оперативном отношении подчинялась ген. Деникину. Во всем остальном — донской командарм сохранял полную самостоятельность, неся ответственность только перед Кругом и атаманом.

Деникин с этого момента начал титуловаться «главнокомандующим вооруженными силами юга России».

Марка Доброволии поднялась. Ей сопутствовало и военное счастье.

Покровский и Шкуро, командовавшие кубанцами, терцами и горцами и признававшие над собой только власть Деникина, добили советские войска на Кавказе. 28 января 1919 г. добровольческие части заняли Владикавказ.

Здесь ген. Ляхов, [2] командир одной из кубанских частей, произвел изрядное кровопускание, не разбирая большевиков, меньшевиков и эс-эров.

Между прочим, он расстрелял некоего Перримонда. Носились слухи, что это тот самый Иван Карлович Перримонд, эс-эр, который занимал должность комиссара временного правительства при Кавказской армии и не ладил с Ляховым.

---

[1] «Вольная Кубань», 1918 г., № 170.

[2] Бывший организатор персидской казачьей бригады, удаленный из Персии по настоянию Англии. В мировую войну сначала руководил боевыми операциями при занятии Трапезунда, потом командовал 1-м кав. арм. корпусом. Летом 1919 года убит в Батуме.

Возможно и так, что расстреляли не его, а его брата, бывшего офицера, начавшего еще в 1917 году ратовать за большевизм.

Деникин торжествовал. На Северном Кавказе больше не существовало Красной армии. Союзники убедились в стойкости, боеспособности его войска.

Впрочем, победа над неприятелем, давно уже отрезанным ото всего мира, иногда вызывала сомнение в действительной доблести победителя. Так, член Рады Белоусов однажды заметил на заседании кубанских законодателей:

— Большевистская армия пала, главным образом, от тифа, а не под ударами Добровольческой армии.

Так или иначе, первый успех окрылил победоносную Доброволию. Звезда побежденного большевиками Краснова, напротив, померкла. Его строптивость, его нежелание итти в Каноссу и просить Деникина скорее помочь Дону нажили ему много врагов среди перепуганных членов Круга.

Деникин и так должен был перекинуть свои части на Дон, во-первых, потому, что на Кавказе больше не существовало противника; во-вторых—как главнокомандующий, обязанный руководить операциями и отражать удар в слабом месте своего фронта.

Но на Дону нервничали. Против Краснова все громче и громче поднимался ропот. Деникин, напротив, приобретал симпатии. Еще бы! На него только и возлагали теперь свои надежды «хузяева».

Харламов понял, что наступил момент, когда надо разделаться с Красновым.

1 февраля открылась сессия Большого Войскового Круга. Предыдущая закрылась в сентябре, после того как расширила права атамана на время гражданской войны и забронировала власть от всякой опеки со стороны народных представителей. Теперь Круг хотел потребовать у атамана отчета в том, как он воспользовался чрезвычайными полномочиями.

За кулисами шла усиленная работа. Агенты «степных» генералов подливали масла в огонь. Обстановка теперь настолько изменилась, что все мелкотравчатые людишки, ранее дрожавшие при одном виде атамана, стали хорохориться, поднимать головы. Кругу захотелось теперь быть кругом, то-есть говорильней, а не батальоном солдат.

Тотчас же по открытии сессии законодатели избрали делегацию к ген. Деникину, чтобы униженно просить его о скорейшей помощи изнемогающему Дону.

«Единонеделимцы» захлебывались от удовольствия.

31 января Деникин издал велеречивый приказ о бессмертных подвигах Добровольческой армии, взявшей последний

оплот Советской власти на Кавказе — Владикавказ, и призывал своих воинов помочь Дону. Но Круг понимал, что все-таки Деникину необходимо удаление Краснова.

2 февраля атаман явился с отчетом к державному хозяину земли донской. Вид у него был усталый, в речи не замечалось прежней живости.

Не работа утомила его. Он с ранней молодости привык работать по пятнадцать часов в сутки. Дворцовая прислуга недоумевала, когда же спит атаман, которого камердинеры оставляли поздно вечером в кабинете над кипами бумаг и встречали рано утром уже на ногах. Заваленный государственными делами, он находил время и для поэтического творчества, в котором отводил душу, забыв злобы дня.

Не работа, а провал затеянного плана сокрушил его. Он видел, что лавры Пожарского ускользают от него и что не донскому казачеству суждено сыграть роль нижегородского ополчения.

Сухо, вяло, без обычного воодушевления говорил он на этот раз в Круге. Сообщив об измене верхне-донцов, вызвавшей катастрофу, он, не утаивая более ничего, нарисовал печальную картину действительности.

— Казаки, забыв стыд и совесть, сдаются целыми частями и выдают своих офицеров красным. Война стала перекидываться в Донецкий округ. Зашатались хоперцы, требуя, чтобы им показали союзников. А союзники, усталые от войны и не разбирающиеся в наших делах, медлили с помощью, пока датский посол не приехал из Петрограда и не разъяснил им все. Теперь они хотят помочь нам, но для северной части области уже поздно. В Новочеркасске царит гробовая тишина, обозначающая, что войска наши отступают без боя, и безнадежно было бы наше дело, если бы не шла к нам на помощь доблестная Добровольческая армия и если бы на севере, востоке и западе России большевики не сжимались в кольцо. Будем же просить помощи у Добровольческой армии, у Кубани, у союзников и пусть Круг скажет войскам, за что мы воюем и за что должны крепко биться казаки.

Последние слова атаманской речи прозвучали и замолкли. Прошло пять секунд, десять. Ни одного хлопка. Не так, как прежде, когда каждая фраза родила гром аплодисментов.

Холодно, исподлобья глядели на атамана руководящие слои Круга, в сюртуках и френчах. Панургово стадо, в чекменях и рубахах, с любопытством, с которым в станице наблюдают петушиный бой, ждало, что будет дальше, кто кого?

Вдруг с внеочередным заявлением выступил ген. Эльснер, представитель Добровольческой армии в Новочеркасске.

Он приветствовал Круг от имени Деникина и сообщил, что завтра, 3 февраля, главнокомандующий сам прибудет в столицу Тихого Дона.

Буря оваций покрыла слова Эльснера.

Далее — закрытое заседание, в котором все открылось.

Харламов огласил телеграмму Деникина, объяснившего в ней, почему победоносная Добровольческая армия до сего времени оттягивала помощь Дону.

Или Краснов, или Деникин ... Это поняли все окончательно и бесповоротно.

Снова открыли двери для публики.

Председатель совета управляющих отделами правительства, т.-е. премьер-министр, ген. Африкан Петрович Богаевский старался несколько успокоить «хузяевов». По его словам, дело еще не так плохо; что началось формирование партизанских отрядов; что недоразумения с Добровольческой армией улажены и что положение далеко не безнадежно.

Но Круг не слушал никаких примирительных речей. Почти все ораторы обрушились на «Светика», которому при голосовании выразили недоверие.

Краснову тоже все стало ясно.

— Недоверие ген. Денисову, моему ближайшему помощнику, работавшему под моим непосредственным наблюдением, означает то же, что недоверие мне, — ответил он и заявил, что отказывается от атаманства.

На заседании 3 февраля атаманское место пустовало. Зато на почетном месте сидел небывалый гость. Пожилой, плотный, среднего роста генерал, с умным выражением лица, но без признаков несокрушимой энергии и непреклонной воли.

Это был Антон Иванович Деникин.

Его приветствовал Харламов:

— Дон имеет особые основания радоваться вашему прибытию сюда. Дон, героически державшийся десять месяцев и почти одиноко боровшийся за свою честь и свободу, сейчас ослабел, поколебался, и дух мужества сейчас отлетел от нашего фронта. Вы дадите эту живую душу нашему фронту, ваши героические полки придадут ему силу и крепость... Добро пожаловать, Антон Иванович! Господа, предлагаю избрать генерала Деникина почетным членом войска Донского.

Разумеется, возражений не последовало.

Новоиспеченный донской казак отвечал Кругу:

— С волнением приехал я сюда спустя год после отъезда из Новочеркасска, где, окруженные стеной злобного непонимания, Каледин, Корнилов и Алексеев начали снова

строить русское государство. Я приехал поклониться праху мертвых и приветствовать живых, т.-е. Войсковой Круг, разум и совесть Дона.

Далее, перейдя к вопросам военного характера, он продолжал:

— Пойдем мы вперед не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем, и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему.

Впоследствии Деникину пришлось еще, по крайней мере, раз тысячу говорить о всеобщем рае, который несет его армия, и всегда это у него выходило очень мило и очень искренно, даже когда он насаждал этот рай путем восстановления губернаторского и полицейского режима. Теперь это еще не была затасканная фраза. Поэтому умиленные законодатели из сил выбивались, аплодируя благодетелю человечества.

6 февраля Круг выбирал нового атамана.

Краснов пал, но все еще шевелился. Не желая сдаваться до конца, он не снял своей кандидатуры, хотя провал ее был ясен, не взирая на все старания черноземной «черкасни» во главе с Жоржем Яновым.

При голосовании 239 голосов получил ген. А. П. Богаевский против 52 голосов, поданных за Краснова.

Политическая карьера последнего кончилась. Лавры князя Пожарского окончательно улыбнулись ему.

В своем прощальном приказе он писал, что чувствует себя утомленным, но будет и впредь служить донскому казачеству и надеется когда-нибудь еще раз выкупать своего коня и свое стремя в водах Тихого Дона.

В воздаяние его заслуг по организации Донского государства Круг назначил ему пожизненную пенсию в размере атаманского жалованья. Прихватив с собой ген. Денисова и начальника войскового штаба ген. Полякова, он уехал за границу, не к союзникам, а в Берлин. «Честных» немцев этот бесспорно неглупый и талантливый человек ставил куда выше, чем французов и англичан.

В 1921 году бывший донской атаман прославился в эмиграции своим трактатом «Задачи российской армии», «напечатанным» в Берлине, в черносотенном сборнике «Детинец». Тут Краснов расшифровал, что такое в его понимании «национальная Россия», которую белые генералы противопоставляли рабоче-крестьянской.

«Национальная Россия» — это самодержавный строй. Российская армия должна быть армией «императорской» и состоять из дворян, детей буржуазии и наемников. Цель

ее—восстановление старых порядков и «внутренняя чистка» т.-е. истребление коммунистов и всех инакомыслящих.[1]

Вот какие судьбы готовил России глава демократического казачества П. Н. Краснов, так страстно стремившийся первым к первопрестольной. Колесо истории, которое не движется вспять, смело его с политического горизонта.

На сцену выступили новые лица.

«Степным» генералам теперь открылась дорога на Дон. Ген. Петр Харитонович Попов занял пост главы правительства, ген. Владимир Ильич Сидорин вступил в командование Донской армией, ген. Э. Ф. Семилетов занялся формированием партизанских отрядов или, как писал про него В. Севский, стал «ректором партизанского университета».

Атаманский пернач не достался никому из них. Деникин и «единонеделимцы» опасались ставить во главе войска Донского сподвижников Каледина, игравших в демократизм, и притом людей, опытных в деле интриг.

Новый атаман, родной брат «донского баяна», бывший «свиты его величества генерал-майор», обладал симпатичными свойствами, которые удовлетворяли в равной мере и Деникина и Харламова: полной бездарностью и уменьем никому не противоречить.

Участник Ледяного похода, во время которого командовал бригадой, А. П. Богаевский давно уже привык беспрекословно подчиняться главе Добровольческой армии. Принимая пернач, он сказал Кругу:

— Я истинный сторонник народоправства. И сколько хватит сил моих, верьте мне, не допущу восстановления тяжелого прошлого.

А в приказе всевеликому войску Донскому он писал:

— С согласия ген. Деникина я принял должность атамана.

Сторонник народоправства, верховный глава демократического казачьего государства открыто признавал себя подданным главы реакционных «единонеделимцев»!

Круг этого не заметил, так как сам лизал пятки Деникину. Кроме того, новый глава не подавлял своей личностью сборище «хузяевов».

А. П. Богаевский по складу своего характера вообще никого не мог давить. Сидорин прозвал его «божьей коровкой».

Бывало, какое-нибудь должностное лицо, с которым Краснов говорил по телефону, стояло на вытяжку перед аппаратом и то и дело почтительнейше отвечало в трубку:

---

[1] Об этом более подробно в моей статье «Ценные признания атамана Краснова», журн. «Военный Вестник», г. Москва, 1923 г., № 29.

— Слушаю-с, ваше высокопревосходительство.

Теперь говорили по телефону, сидя где-нибудь на окошке и заложив нога на ногу.

— А! Это вы, Африкан Петрович? Так... так... Значит, завтра я пришлю вам бумагу на подпись. А где курьер может вас поймать?

Круг поспешил отменить чрезвычайные полномочия, предоставленные главе государства на время гражданской войны.

«Божья коровка» не протестовала, вполне довольная и счастливая, что попала на обильный подножный корм.

X.

ГЕНЕРАЛ ШКУРО.

5 февраля, в заседании Войскового Круга, делегаты Кубанской Рады сообщили, что помощь Дону живой силой организована, что кубанские части, входящие в состав Добровольческой армии, двигаются на Донской фронт.

Скоро стало известно, что эту передовую рать ведет, грозя очами, генерал не только не седой, а даже с необсохшим молоком на губах, — молодой, но из ранних, Андрей Григорьевич Шкуро, недавно произведенный Деникиным в генерал-майоры и полгода тому назад отрекшийся от неблагозвучной отцовской фамилии.

Шкуро в это время гремел в белом стане.

К нему, в его корпус, стекались все, кто не дорожил жизнью, но кому хотелось крови, вина и наживы. Слагались легенды об его лихих налетах, с улыбкой рассказывали об его безумных кутежах, с затаенным сладострастием — об его кровавых расправах с коммунистами.

«В ауле Тамбиевском, в семнадцати верстах от Кисловодска, Шкуро повесил восемьдесят комиссаров, в том числе и начальника штаба северно-кавказской Красной армии — Кноппе», — сообщала однажды «Вольная Кубань». [1]

«Имя, уходящее в историю», — писала про него «Донская Волна», журнал В. Севского, воспевавший героев белого стана.

Но с какой славой уходило это имя в историю?

Генштабисты, в роде ген. Шифнер-Маркевича, создавали ему славу полководца. Его знаменитые «волки» — славу грабителя.

Имя Андрея Шкуро выплыло из мрака неизвестности летом 1918 года. До этого времени оно блистало только

[1] № 119 от 2 ноября 1918 г.

в высочайших приказах о наградах и в реестрах военных следователей.

В № 1 журн. «Донская Волна», за 1919 год, была помещена статья Ник. Туземцева [1] под заглавием «Ген. Шкуро». Ее правильнее всего следовало бы озаглавить: «Шкуро о самом себе».

В виду чрезвычайного интереса, ее следует прочесть полностью.

«Его знамя — большое черное полотнище, середину которого занимает серая волчья голова с оскаленными страшными клыками и высунутым красным языком. Под рисунком головы белые слова «вперед за единую, великую Россию».

«Его лучшая сотня, «волчья сотня», так же, как и он сам, в огромных серых папахах из волчьего меха. Страничка из Майн-Рида или Луи Буссенара!

«Сам генерал молод, подвижен и жизнерадостен, и, кажется, что свое большое дело он творит шутя, играя, и, наблюдая его, хочется назвать молодого, веселого героя именем одного из действующих лиц романов Майн-Рида, ну хотя бы «Волчьим Клыком». Как-то невольно тянет к генералу всякого, кто его видит. Простотой, молодостью и бесшабашной удалью веет от его небольшой, но стройной и крепкой фигуры.

«Ваше превосходительство, разрешите с вами поговорить».

«Дуйте, и если вам интересно, то давайте за чаем».

«Окончил 3-й московский кадетский корпус, николаевское кавалерийское училище в 1917 году и вышел в 1-й Екатеринодарский полк, а на войну ушел сотником с 3-м Хоперским полком.

— Не выношу рамок. Они меня душат. Представьте себе, что мне говорят «отсюда досюда», а я хочу как-раз оттуда. Скандал! У меня руки связаны, а я по натуре бродяга, самый настоящий.

— Но, видно, бог надо мной сжалился и в 1915 году был сформирован кубанский партизанский отряд. Вот тут-то я и увидел божий свет. Вы понимаете, полная свобода действий, в моих руках инициатива. Я подобрал себе лихих ребят и то-то уж и выкрутасы заворачивал, любо-дорого. Не мало крови было испорчено австриякам.

— После переворота и прочих неприятностей мне пришлось самоопределяться на Кубань, а оттуда опять

---

[1] Штаб-ротмистр Никита Титович Добровольский, редактор донской «Народной Газеты». Туземцев — псевдоним. В начале 1920 года редактировал в г. Екатеринодаре «Вестник Верховного Круга» вместе с полк. Гнилорыбовым.

потянуло на волюшку-вольную. Отправился в Персию, к генералу Чернозубову, и не пожалел. Там поле деятельности для меня представилось самое широкое, но скоро и в Персии похужело. В моем отряде осталось всего восемьдесят человек из тысячи.

— Ген. Баратов отдал приказ расформировать отряд, но мои ребята не согласились расходиться и пошли вместе со мной бродяжничать по обходным путям. Через весь Терек прошел с боем, а около Минеральных Вод пришлось распустить отряд да и самому уехать в Кисловодск.

— Жил себе там тихо и мирно, но с апреля меня стали навещать казаки, а это повело к моему аресту. Посадили в тюрьму и, по слухам, спустили бы там с меня шкуру, да фамилия спасла. Был у большевиков матрос Шкура, тоже сидевший в это время в тюрьме, и вот через несколько дней после моего ареста вышел приказ освободить Шкуру. Я отозвался, меня и выпустили. Понятно, что в ту же ночь я драпанул в горы. На другой день меня, говорят, искали и телеграфировали во все концы, да как же, ищи ветра в поле.

— Добрался до леса около Бекешевской станицы и почти моментально набрал отряд — пять офицеров и шесть казаков. На отряд четыре винтовки. Стал делать налеты на хутора и станицы, а попросту грабил их, главным образом, конечно, оружие, а в конце мая объявил в станице Суворовской мобилизацию. Когда у меня набралось сотни две, я наскочил на Кисловодск. Вот-то мы поживились и оружием, и снаряжением, и прочим добром.

— Через некоторое время ко мне присоединился Лабинский отряд подъесаула Солодкого и скоро у меня получился отряд в десять тысяч человек. Тут уж я обнаглел и решил прорваться к Добровольческой армии через Ставропольскую губернию.

— Подошел к Ставрополю и послал телеграмму, чтобы город сдался, иначе разгромлю. Оборонял Ставрополь месяц, а потом, передав оборону его полк. Улагаю, с четырьмя сотнями прорвался в Баталпашинский отдел и вскоре там сформировал семь казачьих полков, четыре горских и бригаду пластунов и тут уже у меня получился фронт на 220 верст, который держал два с половиной месяца, т.-е. до соединения с Добровольческой армией.

— Патроны сами набивали, действовали все больше шашками. Большевики, по правде говоря, бояться меня стали, а бабы так прямо чудеса стали рассказывать обо мне. «Расстегнул это, — говорят, — Шкуро черкесску, а пули из-под нее так и посыпались. Не берет его пуля, потому он слово такое знает».

— Понятно, я не стал разуверять их. Да-с, повоевали. Всю Кубань, можно сказать, на брюхе исползали.

«Все это Андрей Григорьевич рассказывает спокойно и просто, без всякой рисовки. К нашему столу подходит какой-то молодой офицер. — «Ваше превосходительство, примите меня к себе в дивизию!» — «А в бога веруете?» — «Верую». — «И в церковь ходите?» — «Хожу». — «Дуйте, в какой хотите полк и сотню, там запишут, а потом я оформлю».

Из этого очерка достаточно полно обрисовываются все характерные черты героя недавнего времени.

Не во имя какой-нибудь определенной идеи, по собственным же его словам, начал Шкуро гражданскую войну на Северном Кавказе, а отчасти из инстинкта самосохранения, отчасти из врожденной склонности к авантюрам.

«Единая, великая Россия» — лишь позднейший привесок к черному бандитскому знамени, на котором первоначально изображалась только волчья пасть с высунутым языком и оскаленными зубами — символ звериной алчности крови. «Рви, где что можно» — был первый, подлинный девиз этой волчьей организации.

Мне очень хотелось познакомиться с этим партизаном, майн-ридовским типом, как уверял Туземцев в «Донской Волне». Я знал семью этого героя; знал о нем кое-что и из судебных дел, особенно из проделок в Персии.

Русские войска хозяйничали в этой стране и до мировой войны, под начальством ген. Воропанова и Чернозубова, из которых первого «Новое Время» восторженно называло «Русским Альбой». Северные персидские провинции, Азербейджан, Маку и др., подверглись потоку и разграблению со стороны христолюбивого воинства, введенного сюда для охраны русских интересов в виду внутренних смут. Сказочная страна Востока стонала от русской оккупации, а тут еще, с началом мировой войны, нахлынули турки. Персия превратилась в театр военных действий. Это похмелье в чужом пиру дорого обошлось ей.

В Персии, вдали от культурных центров, вдали от надзора высшего начальства и прессы, русские генералы, действительно, безобразничали ничуть не менее, как некогда Альба в Нидерландах. Персам искать управы было негде и не у кого. Их грабили все, кому не лень. Особенно охотились за знаменитыми персидскими коврами.

Сюда-то и попал в 1917 году Шкуро, или, по-тогдашнему, еще Шкура. Здесь ему, действительно, открылось широкое поле деятельности.

Шум брани затих. Выдохшиеся турки не тревожили разложившиеся русские войска. Офицерство, словно чуя

близкий конец вольготному житью, пело свою лебединую песнь. Картежная игра сменила бранные потехи. Казенные деньги прожигались так же легко, как собственные.

Военные следователи едва успевали писать приемные постановления по делам о растратах. В одном из них фигурировало имя Шкуро.

При таком безобразии, денег, присылаемых в отряд из Тифлиса, не хватало. Ген. Н. Н. Баратов выпустил даже свои особые боны. Персы брали их под угрозой оружием, расценивая рубль в пятачок серебра. После ревизии хозяйства персидского отряда, главнокомандующий Кавказского фронта возбудил судебное дело о безумных хозяйственных аферах должностных лиц.

Шкуро, разумеется, стоял не на последнем месте.

В виду грандиозности дела, сформировали целую судебно-следственную комиссию, под председательством военного судьи полк. Гладкова. Я был назначен членом-делопроизводителем. Из-за разрухи комиссия не могла даже приступить к работе.

Настала уже другая эра. Имя Шкуро выплыло в новой роли спасателя отечества, сподвижника ген. Деникина.

Теперь уже по другой причине интересовала меня эта восходящая звезда первой величины. Познакомиться с ней представился случай, когда герой привел свою дивизию на помощь Дону.

Числа 7 или 8 февраля на шумных улицах Ростова чувствовался какой-то прилив оживления. Больше суеты, громче разговоры. Среди разношерстной толпы на Садовой то и дело мелькали длинноусые кубанцы и жгучие брюнеты горцы.

Папахи, кинжалы, кривые шашки... Точно Кавказ перекочевал на Дон.

Неистовый крик газетчиков разъяснил в чем дело.

— Приезд генерала Шкуро! Приезд генерала Шкуро! — вопили они, на бегу распродавая свой товар.

В Ростов прибыли знаменитые «волки».

Когда осенью 1918 года партизанский отряд Шкуро разросся до крупных размеров, он выделил из него нечто в роде своей гвардии — «волчью сотню», назначив в нее своих бывших сподвижников и тех, кто грабил с ним терские станицы летом 1918 года.

Это была довольно дружная шайка, спаянная общей судьбой, общей казной, общими преступлениями. Непосредственный командир сотни (впоследствии — дивизиона) есаул Георгий Иванович Колков так описывал нравы и порядки своей части в беседе с корреспондентом «Вольной Кубани»:

«В сотне царит всегда братство, дружба и железная дисциплина. Для «волков» не существует невозможного: раз приказано, значит, должно быть сделано. А вне службы — мы все братья и друзья без различия положения и занимаемой должности. При нужде мы делимся всем до последней рубашки включительно. Не могу умолчать о том, что в сотне имеется свой денежный фонд, составленный из добровольных приношений казаков и который с общего согласия назначен специально для выдачи пособий семьям убитых казаков». [1]

«Благодарное» население тоже делало свои вольные или невольные приношения в общую «волчью» казну. Так, тотчас же по прибытии кубанцев на Дон, в Александровско-Грушевский район, углепромышленники пожертвовали 100000 рублей на «нужды отряда ген. Шкуро». [2]

Капиталисты — церберам капитала.

На знаю, бросали ли здешние, ростовские тузы какую-либо подачку жадным «волкам». Но самого генерала чествовали с помпой.

Через день или два после прибытия, его пригласили в донскую запасную бригаду.

Устроили парад. Для встречи «героя» полки выстроились вдоль Таганрогского проспекта, перед офицерским собранием, с музыкой и знаменами.

Я, с группой приглашенных на обед, наблюдал церемонию с балкона собрания.

Вдали, со стороны Садовой, показалась кавалькада. Это была «волчья сотня». Впереди ее развевалось черное знамя. За знаменосцем гарцовал на горячем скакуне молодой казачий офицер, в шинели с красным генеральским отворотом и с красным же кавказским башлыком, с ухарски надетой набекрень папахой, — сам препрославленный генерал Шкуро.

Командир бригады, довольно почтенный генерал Попов, рапортовал ему пеший, затем почтительно сопровождал высокого гостя, когда последний объезжал фронт бригады и говорил речь.

К моему удивлению на парад прибыла, в автомобиле мужа, супруга генерала, Татьяна Сергеевна Шкуро. Долгое время все считали ее погибшей в Кисловодске. В действительности она ухитрилась скрыться из этого города в какой-то горский аул и жила там, пока ее муж не выбил красные войска с Терека.

Обед в собрании предполагался походный, с большой выпивкой, но без дам. Поэтому после парада генеральша

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 107.
[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 61.

пригласила меня отобедать с нею в гостинице «Астория», где они с супругом остановились.

Два черкеса, с шашками наголо, стояли в коридоре, у дверей генеральского номера, в качестве почетного караула. Мирные обитатели гостиницы — торгаши, спекулянты и пр. — со страхом проходили мимо часовых и предпочитали вытирать стену спиною, лишь бы не задеть свирепых абреков.

Молодая женщина, превратившаяся с головокружительной быстротой из скромной офицерши в жену «героя», пока еще не вошла в роль генеральши. Что меня более всего поразило в ней, это большой пессимизм, полное отсутствие веры в успех всего белогвардейского предприятия. Старорежимные замашки господ из особого совещания, на ее взгляд, не обещали ничего доброго.

— Если пойдем вперед и будем восстанавливать помещичье землевладение, далеко не уйдем, — говорила она.

В этих суждениях нельзя было не видеть несомненного отражения затаенных мыслей супруга. Шкуро, официальный деникинский генерал, должен был послать атаману Богаевскому бодрящую телеграмму в роде следующей:

«Глубоко верю, что близок день, когда всевеликое казачество под звон колоколов церквей Кремля вступит в первопрестольную, освободив Россию от гнета, смрада и насилия. Ура освобождаемой России». [1]

Шкуро же в домашней обстановке мог говорить иное. При всей своей безалаберности, он не мог не видеть и не понимать слабых сторон белого стана.

О ген. Покровском, другом enfant terrible той эпохи, m-me Шкуро отозвалась как о несомненном садисте.

— В Кисловодске, — рассказывала она, — Покровский соорудил такой частокол виселиц, что даже Андрюша ахнул. Я, живя некоторое время при большевиках в этом городе, знала, что иные совершенно не заслуживали смерти. Зачем он повесил члена центрального комитета Ге? Это была большая ошибка и ненужная жестокость. Муж по моей просьбе ходил упрашивать Покровского. «Охота тебе, Андрюша, ссориться со мной из-за этой сволочи!» — ответил вешатель. Одного еврея мужу удалось спасти. Его уже привели к виселице. Когда объявили, что Покровский его помиловал, он долго ничего понять не мог. Потом упал на колени, поднял руки к небу и истерично воскликнул: «Теперь я верю, что есть бог».

В беседе время шло незаметно.

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., номер от 14 февраля.

Вдруг в коридоре раздался шум, хриплые голоса, лязг оружия.

— Здравиэм жилаэм, ваше превасходытелство! — прокричали часовые.

В номер ввалилась толпа. Впереди шел, покачиваясь, Шкуро.

Я увидел перед собой низенького, крепкого кубанца, с грубым, нервным, уже изборожденным морщинами лицом. На голове торчала копна волос, закинутых назад. Ничего страшного, грозного, свирепого не было в его фигуре. Тем более — ничего величественного.

— Мальчишка! — вспомнилось мне замечание сквозь зубы одного старого полковника давеча на параде.

Генеральша представила меня.

— Прокурор? — произнес хриплым голосом генерал, здороваясь со мной.

Последовала короткая пауза, в течение которой он успел рухнуть в кресло, закрыть глаза, затем поднять голову и обдать меня деланно-презрительным взглядом.

— Прокурор? Я и прокурора повешу.

После новой паузы я услышал продолжение приветствия:

— А знаешь, прокурор? У меня нет вашего брата юриста. У меня суд длится две минуты. Раз, два и пожалуйте бриться. А впрочем меня самого в конце концов повесят. Ей-богу, как пить дать.

Генерал явно бравировал своей бесшабашностью. Как мне казалось, даже и опьянение он преувеличивал. Простонапросто ломался, зная, что какие бы фокусы он ни показывал, какие бы глупости ни говорил, все сойдет с рук, все примут за оригинальность милого сорви-головы. Богаевский для него был «батькой-атаманом», — он так звал главу Дона в официальных телеграммах. — «Шагай, Антон, дальше», — телеграфировал он Шифнер-Маркевичу, когда последнего Деникин произвел в генералы.

Герой ведь... спаситель отечества! Человек выше закона, выше всяких судов, для которого общественное мнение — абсолютный нуль, а сплетня — приятная забава.

— Ну, и Ростов ваш, чорт его побери! — продолжал Шкуро. — На вокзале меня какие-то подлецы качали. Качали до упаду; думал, до смерти закачают. Результаты ростовского патриотизма я почувствовал, когда сидел в автомобиле. Не нашел у себя серебряного портсигара и часов. Выкачали, подлецы, из кармана.

— К вам командир Лабинского полка, — доложил вестовой.

Старый, уже седеющий полковник по привычке вытянулся в струнку перед опереточным генералом.

*

— Макарони, — крикнул Шкуро своему офицеру Макарову, не дослушав доклада полковника, — дуй телеграмму Науменке, чтобы живо гнал триста человек подкрепления.

Вдруг он вперил свои глаза в Макарова.

— Макарони! Я у тебя вижу новые штаны. Ты где их, подлец, взял? Украл?

— Никак нет, ваше превосходительство. Сегодня купил на базаре.

— Врешь, подлец, украл... Знаю я тебя!

В заключение явилась депутация от какого-то городского клуба, кажется, от «Русского Собрания», и просила генерала пожаловать на почетный ужин.

— Спасибо... Я уже и так нагружен. Не в силах.

— Ничего, ваше превосходительство, — отечески-заботливым тоном ответил глава делегации, пожилой буржуй. — Вы прилягте немного бай-бай... Отдохните... Поспите... А этак через часок, другой мы заедем за вами на автомобильчике... Милости просим и с супругой.

— Ей-богу, не знаю, господа... Уж который день накачиваюсь. Впрочем, если посплю... Ладно! В десять часов шпарьте ко мне.

Генерала, действительно, клонило ко сну. Я понял, что пора уходить.

— Знаешь, прокурор... На-днях мы едем в Екатеринодар... Махнем к нам есть блины? А? Кутнем пару денечков, — предложил мне генерал на прощанье.

— Этакие отечества не спасут, — думал я, выходя из «Астории».

Я ожидал увидеть героя Майн-Рида. Увидел Макса Линдера в генеральских погонах.

Лучший деникинский генерал прекрасно воплощал в своем лице сущность белого стана: безудержный разгул, неслыханное своеволие, гомерическое презрение к закону, беспринципный авантюризм.

XI.

ВЕСНОЙ НАША БЕРЕТ.

Донской Войсковой Круг, в виду надвигающейся гибели государства, принял чрезвычайные меры.

Прежде всего он постановил закрыть все высшие учебные заведения и мобилизовать студентов. За отсутствием резервов отправил на фронт офицерскую школу, созданную для усовершенствования офицеров-недоучек в военном ремесле. Считая, что всякие увеселения неуместны в минуту скорби, постановил закрыть все театры и воспретил устрой-

ство танцовальных вечеров. Чтобы предохранить Новочеркасск от местного восстания (его всегда ожидали со стороны низов), было издано постановление о квартальной охране. Благонадежных граждан каждого квартала обязали составлять особые ассоциации, которые по ночам должны были нести дозорную службу, не допуская хождения по улицам без установленных пропусков. На практике деятельность этой охраны свелась к ловле и доставке в комендатуру пьяных офицеров.

На ряду с новым нашествием большевиков, на Дон надвинулась и другая напасть. Это — эпидемия тифа.

Тиф одинаково косил как бойцов на фронте, так и тыловых крыс, так и простых обывателей. В лазаретах не хватало места. При разгрузке поездов с больными и ранеными фронтовиками иногда чуть не третью часть отправляли прямо в покойницкие.

Однажды в марте мне пришлось присутствовать в областной больнице при вскрытии трупа. Когда в мертвецкой зажгли свет, я онемел. Небольшая комната была переполнена трупами. На столах, на окнах, под столами, у самых дверей, всюду вздувшиеся, посиневшие оболочки человека. Желтолицые калмычата, черноволосые кавказцы, белобрысые кубанцы, мужчины и женщины, — кто только не глядел на меня своими страшными, провалившимися глазами.

— Почему такое стечение трупов? — спросил я врача.

— Не успеваем хоронить. Сначала для всех мастерили гробы. Посмотрели бы, что тогда здесь происходило. На дворе, подле мертвецкой, стояли целые штабеля гробов. Теперь от нас увозят в дежурных гробах. На кладбище покойников вываливают в ямы, а гробы возвращают обратно, чтобы тотчас же забрать новую партию мертвецов.

Офицеров хоронили, по обыкновению, с церемонией. Ежедневно по Новочеркасску тянулось, в направлении кладбища, восемь-десять погребальных дрог, в сопровождении жидкого почетного караула и совсем слабого оркестра музыки.

Над стольным городом витала смерть. Сам новый глава Дона едва вырвался из ее когтей. Сначала, когда он заболел, думали, что симулирует. Потом оказалось, что такие толки несправедливы. Их породил малодушный отъезд заболевшего атамана из Новочеркасска. Болеть можно было и не уезжая за тридевять земель от своих верноподданных.

В бесчисленных лечебных заведениях не хватало низшего персонала, а главное — белья. Круг постановил сформировать ученические дружины для обслуживания лазаретов. Гимназисток на-спех обучили обязанностям сестер милосердия. Произвели реквизицию белья с каждого обывателя, военного или статского безразлично, по две смены.

Одновременно с этими мерами было приступлено к формированию партизанских отрядов.

Вооруженный казачий народ уже не мог спасти своей государственности. Восставая, казаки менее всего думали об устройстве своего государства. Восставая, ни на минуту не забывали того, что можно и помириться, коль скоро Советская власть согласится не нарушать их станичного быта. Разочаровавшись в бесконечной войне, вполне равнодушный к затеям верхов и совершенно не помышляя кого-то от кого-то спасать внутри России, казак-хлебороб все более и более склонялся на мировую с большевиками.

— Только партизаны спасут Дон! — прозвучал лозунг.

Опять выплыли на авансцену имена Чернецова, Семилетова, Дудакова. Первый погиб год тому назад. Но вновь появились чернецовцы, на ряду с семилетовцами и дудаковцами.

«Ректор партизанского университета», ген. Семилетов встал во главе партизанской бригады.

В газетах замелькали объявления:

«Партизаны Хопра, Бузулука, Кумылги, Медведицы и Верхнего Дона! Слетайтесь немедленно! Вы сами знаете в чем дело и лишь ждете призыва и указаний.

Партизаны слетались вяло. В партизанские отряды влили мобилизованную городскую молодежь, детей мещан и чиновников, как более надежный элемент. Сюда же направили и мобилизованных студентов и учащихся старших классов.

Семилетов преподавал партизанскую науку. Его правильнее было бы назвать не ректором партизанского университета, а палачом вифлеемских младенцев. Несчастная зеленая молодежь, еще не сформировавшаяся, бесславно гибла в его отрядах. Кто от красной пули, кто от сыпного тифа, кто превращался в нравственного калеку.

Изобрели партизанский значок. Он представлял золотое поле, знаменующее, по мысли авторов, порядок, знание, изобилие, плодородие, а на нем красный горящий факел, символ порыва, вдохновения.

Виктор Севский из сил выбивался, прославляя в бесчисленных фельетонах будущие подвиги чернецовцев, семилетовцев и дудаковцев. Военные следователи старались увековечить в своих протоколах настоящие, — то погромчик в станице Аксайской, то открытое неповиновение приказу выступить на фронт.

Партизаны далеко не горели порывом. Но их муштровали. В смятенном Новочеркасске лихие юношеские песни несколько сдабривали подавленное настроение. За последнее время новочеркассцы привыкли видеть войска только

сзади вереницы «дежурных» гробов. Теперь стали появляться батальоны партизан.

Случалось, на окраине плавали в воздухе жалобные аккорды похоронного марша, а в центре забубенная молодежь, сменившая карандаши и ручки на винтовки, горланила в такт шагу:

Как на горке на крутой
Семилетовцы стоят.
Ой-ли! браво! да люли!
Семилетовцы стоят.
Семилетовцы стоят,
В красну гвардию палят.
Ой-ли! браво! да люли!
В красну гвардию палят.

Чтобы поддержать воинственный пыл партизан, а равно и облагоразумить казаков, разбежавшихся по домам, Круг издал закон, по которому за дезертирство полагался расстрел, при смягчающих же вину обстоятельствах — простым казакам пятьдесят ударов плетью или розгами, офицерам — разжалование в рядовые,

Отряды особого назначения, куда охотников нашлось очень много (ведь не боевая работа!), под командою бывших жандармских офицеров, рассыпались по немногим станицам, еще не занятым неприятелем. Плач и рыдания сопровождали их движение, и кровавый след они оставляли повсюду. Пулей и нагайкой отрезвляли казаков от красного тумана.

Союзники, не спешившие помогать белым, не взирая на уверения сначала Краснова, потом Деникина, теперь, с прорывом Донского фронта, тоже расшевелились.

Главнокомандующий союзническими силами на ближнем Востоке ген. Франше-Д'Еспере спешно командировал на Кубань английского генерала Бригса, который 2 февраля прибыл на транспорте «Екатеринослав» в Новороссийск. Здесь его встретил французский представитель при Добровольческой армии капитан Фукэ, тот самый, который, вместе с Пулем, добился соглашения Краснова с Деникиным об общем командовании.

Неустойка донцов до того растревожила союзников, что в тот же день, 2 февраля, у Бригса состоялось совещание, на котором, кроме Фукэ, участвовали английский консул в Новороссийске Гильдмайлен и французский Дю-Мортье.

Я довольно хорошо знал этих консулов, крупных коммерсантов. С Дю-Мортье, имевшим свои конторы и в Новороссийске и в Ростове, я встречался еще в 1907 году у черноморского губернатора камергера А. А. Березникова.

Оба эти иностранца, призванные решать важный политический вопрос, касающийся России, были торгаши до

мозга костей и наше отечество рассматривали только как объект эксплуатации. Занятие Кубани и Черноморья большевиками грозило им полным разорением. Поэтому можно догадаться, с каким усердием доказывали они ген. Бригсу необходимость спешной поддержки сторонникам единой и великой.

На совещании было решено создать в Новороссийске союзническую базу. Предполагалось привезти сюда вооружение, снаряжение и прочие необходимые военные припасы для 300-тысячной армии. Два купца и два военных нашли, что этой силы достаточно для сокрушеня большевизма.

Результаты этого совещания не замедлили облечься в реальную форму. 9 марта транспорт «Святой Михаил», под английским флагом, привез танки: шесть больших и шесть малых.

Их видели в России впервые.

Еще в мировую войну очень много кричали об этих орудиях истребления. Русские журналисты рассказывали о них чудеса. Писали, что танки валят так же легко деревья, как стебли злаков; шутя переходят рвы и овраги и по дну реки или озера могут перекатиться на другой берег. Танкам приписывали даже окончательный успех союзников в мировой войне.

«Танки» — такие заголовки, напечатанные громадными буквами, скоро запестрели во всех газетах. Теперь о них врали еще больше, чем в мировую войну. Одни с деловым видом расписывали их изумительные боевые качества. Другие, ударившись в лирику, воспевали их, как Петрарка Лауру.

Малые танки звали любовно, ласкательно:

— Беби-танк.[1]

О больших говорили с непокрытыми головами.

От танков ждали гибели большевиков.

Те, кто обладали пылкой фантазией, уже рисовали красочную картину, как серая красноармейская масса, завидев стальные чудовища, изрыгающие снопы снарядов, бросит оружие и в панике ринется в глубь страны, сея повсюду устрашающие рассказы.

Так или иначе, Добровольческая армия вооружилась с помощью союзников. Сверх того, она пополнилась многочисленными пришельцами из Закавказья, офицерами прежней Кавказской армии.

Началась переброска почти всех добровольческих частей на Дон. Шкуро в это время уже орудовал в каменноугольном районе. Покровский — в царицынском направлении.

---

[1] «Вольная Кубань», № 75.

Оба «героя» изредка наведывались в Новочеркасск и Ростов, чтобы поднять настроение тыла.

В начале февраля, после панической речи Краснова на Круге, донское правительство объявило было о предстоящей эвакуации всех казенных учреждений из Новочеркасска на Кубань. Паникеры, особенно спекулянты, спешно собрали свои чемоданы и первыми удрали с Дона.

Прибытие частей Шкуро и Покровского приостановило эвакуацию, но не уничтожило тревоги. Кубанские «герои» поспешили заняться успокоением институток.

В Новочеркасске нашли себе приют смольнянки, эвакуированные сюда в 1917 году. Теперь их питомник превратился в штаб петроградского пролетариата. Бедные тепличные растения невской столицы и без того с жутью на душе переносили нудное прозябание в захудалой столице Дона. А тут еще невоспитанные мужланы-большевики стремились лишить их и этого убежища.

«Народный герой», вместе с Покровским и Богаевским, явился в институт утешать благородных девиц. Атаман объявил им, что эвакуация отменяется. Шкуро же, благосклонно выслушивая льстивые приветствия смольнянок душке-генералу, писал им стихи в альбом или оставлял на память свои автографы. И тут же давал слово водворить их в самом непродолжительном времени в насиженное гнездо—Смольный.

Союзники не помогли Деникину живой силой иностранного происхождения. Зато они сформировали из остатков русских частей, посланных в мировую войну во Францию, «легион чести», великолепно одели его, вооружили, снарядили и привезли в Добровольческую армию.

— Сердечный привет вам на русской земле, — сказал легионерам Деникин 21 марта на смотру. — В то время, когда русские солдаты на фронте воткнули свои штыки в землю, когда армия развалилась, из всех русских частей, дравшихся на чужбине, единственно вы до конца остались верными долгу и вместе с союзниками разделили славу и радость победы над нашими врагами. Вы прибыли в край, освобожденный Добровольческой армией от большевиков. Прибыв сюда, вы услышите, вы увидите сами, что сделало с нашей родиной сидящее в сердце России, в Москве, в ее Кремле, собачье правительство. Везде нищета, голод, страшная разруха, озверение. Вы увидите и услышите, что сделала и делает Добровольческая армия. В страшной борьбе с многочисленным врагом армия несет тяжкие жертвы: погиб ее вождь ген. Корнилов, умер от тяжести трудов ген. Алексеев, убит доблестный ген. Марков... Вы войдете в ряды Добровольческой армии, которая

борется не за восстановление старых порядков, а за восстановление русской армии, за светлое будущее трудящихся масс, когда будет хорошо житься без различия всем честным людям и когда государственный строй будет соответствовать воле народной.

По странной случайности, в том же номере «Вольной Кубани», где описывался смотр «легиона чести» и приводилась эта речь Деникина,[1] красовалась также телеграмма из Армавира, рисовавшая «новые порядки» того края, где властвовала Добровольческая армия:

«Прожигание жизни, выбрасывание тысяч рублей на кутежи, спекуляция и шантаж приняли в нашем городе грозные размеры. Родственники арестованных открыто говорят, что они вошли в соглашение с судебными властями...»

Рисуя мрачные стороны большевистского царства, вождь не подумал о том, все ли у него самого обстоит благополучно и может ли он убедить легионеров в том, что его порядки лучше большевистских и что он сумеет насадить светлое царство во всей России, в то время как его крохотный удел в данное время страдает тяжкими язвами.

Легионеры, дети трудового народа, понятия не имели о тех разноречиях, какие существовали между красным и белым станами, но инстинкт подсказал им, что их место во всяком случае не на стороне генералов. В бою на реке Маныче они выкинули белый флаг, не желая сражаться с братьями. Заметив это, ген. Покровский приказал своим кубанцам загнать в тыл хотя бы часть легионеров и не допустить перехода к неприятелю. Казаки в точности исполнили это приказание, отбив около семидесяти человек от остальной массы, братавшейся с красными. Загнанные в клуни, несчастные легионеры были живьем сожжены на потеху Покровского.

Наступила весна.

Красные стояли под Новочеркасском, на левом берегу Дона. Станица Богаевская, расположенная как-раз против стольного города, переходила из рук в руки. Широко разлившийся Дон мешал красным захватить «змеиное гнездо». Так, говорят, они звали Новочеркасск.

Почти целый месяц, если не больше, беспрерывная канонада оглашала степь, превратившуюся теперь в море, к востоку от Новочеркасска. Красные летчики каждое утро кружились над городом, сбрасывая бомбы на склады оружия и снарядов.

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 68.

Но в городе, с переброской Добровольческой армии, словно все оцепенело. Панический элемент давно уже покинул город. Остались те, у кого были крепкие нервы. Молодежь, в виде развлечения, отправлялась в Александровский сад на вышку, где стояло орудие для обстреливания аэропланов, и рассматривала в бинокли, далекий теперь, противоположный берег, на котором развевались красные знамена.

В «змеином гнезде» царило спокойствие могилы.

В многолюдном Ростове волновались более, приходя в неописуемый трепет при всякой нерадостной вести с ближайшего фронта. Разлившийся Маныч, левый приток Дона, преграждал красным путь к Ростову.

Чем теплее становилась погода, тем более ободрялись добровольцы и казаки. Весной ведь наша берет!

Шкуро перешел в наступление в каменноугольном районе. Тут же действовали «цветные войска» ген. Кутепова, — лучшая добровольческая пехота. Всеми операциями на украинском фронте начал руководить генерал генерального штаба Май-Маевский. Его войска составляли просто Добровольческую армию.

В направлении Царицына двигались кубанцы Покровского, горские и терские отряды, астраханские калмыки и бригада ген. Тимановского, прибывшая из Одессы, занятой большевиками. Эти войска составили Кавказскую Добровольческую армию, которой командовал ген. барон П. Н. Врангель.

Красные, выдохшись за время зимнего наступления, не получая подкреплений и очутившись среди неустойчивого казачества, которое с большим трудом свыкалось с советскими порядками, поневоле начали отступать. Антисоветские элементы в станицах подняли голову. Казачество «выздоравливало» от большевизма.

В мае состоялся поместный собор южно-русского духовенства, под председательством донского архиепископа Митрофания.[1]

— В эти страшные дни, — приветствовал архипастырей Деникин, — одновременно под напором большевизма, разрушающим государство и культуру, идет планомерная борьба извне и изнутри против христовой церкви. Храмы осквернены, рушатся устои веры, расстроена церковная жизнь, погасли светильники паствы. Во тьме бродит русская душа, опустошенная, оплеванная, охваченная смертельной тоской или тупым равнодушием. Раньше церковь была в плену у приказных, теперь — у большевиков, и тихий голос ее тонет в дикой свистопляске вокруг еле живого

---

[1] Товарищами председателя были Арсений, епископ ростовский и таганрогский, и протопресвитер Шавельский.

тела нашей родины. Необходима борьба. Поэтому я от души приветствую поместный собор юга России, поднимающий духовный меч против врагов родины и церкви.

Смиренные владыки, забыв проповедь Христа о любви и милосердии и хорошо помня свои доходы, которых их хотят лишить большевики, разразились рядом воинственных призывов.

Казалось, ожили времена средневековья. Казалось, это папский легат отправляет крестоносное ополчение уничтожать огнем и мечом ересь альбигойцев.

Вот, например, послание поместного собора донскому казачеству:

«Все воинства, сражающиеся с большевиками, в частности войско Донское, — орудие в руках божиих. Вспомните, донские казаки, как безоружные и малые числом вы одолевали многочисленного и прекрасно вооруженного врага. Ведь это явный знак божественной вам помощи. Запомните, донские казаки, на веки вечные, что ваше победоносное продвижение вперед на север Дона для освобождения его от ига насильников началось со дня всенародного моления в городе Новочеркасске перед чудотворной аксайской иконой божией матери, покровительницы и заступницы славного войска Донского. Мужайтесь, христолюбивые воины! Да укрепит же и да ниспошлет господь вседержитель доблестному войску Донскому силы на предстоящий бранный подвиг по освобождению не только родного края, но и московских кремлевских святынь, где безбожные правители, слуги антихриста, на месте святе создали сейчас мерзость и запустение».

Против большевиков, насевших зимою на Дон, теперь ополчились все, — донские партизаны, «волки» Шкуро, вся Добровольческая армия, «легион чести», английские танки, аксайская богородица. Вдобавок, в тылу у них началось страшное восстание. Восстали те самые верхнедонские станицы, которые в январе помирились с Советской властью. Мигулинцы, вешенцы, казанцы и ряд соседних станиц, предав белую армию Краснова, теперь нанесли предательский удар в спину красной.

Донские летчики Бессонов и Веселовский слетали к инсургентам и забрали с собой в Новочеркасск одного повстанческого делегата.

Восстание в тылу у красных окрылило тех, кто в станицах до конца оставался верен донскому правительству. Отважный донской генерал Александр Степанович Секретев [1] двинулся на соединение с восставшими.

---

[1] В конце 1922 года этот генерал, живя в Болгарии, открыто отрекся от своей связи с белым станом, получил амнистию и возвратился в Россию.

Мамонтов, кое-как пополнив свой корпус, пошел вдоль левого берега Дона. Легкая донская флотилия облегчала его операции. Имя этого генерала теперь начало греметь. Счастье неизменно сопутствовало ему в эти веселые майские дни. Казаки освобожденных станиц охотно становились под его знамена. К лету у него образовалась недурная конница, с которой он под осень совершил свой знаменитый рейд.

Красные уходили. Уходили очень быстро, почти нигде не задерживаясь на Дону. Мамонтов составил расписание своих побед чуть ли не на месяц вперед.

«Такого-то числа займу Калач, такого-то Усть-Медведицкую, такого-то Урюпинскую», — телеграфировал он атаману.

Усть-Медведицу он занял 2 июня, даже на двое суток раньше, чем предполагал.

Трофеи, разумеется, были огромны. Красные оставляли на месте все то, что зимой захватили у белых. В эту войну, когда удачный налет провозглашался крупной победой, военная добыча — снаряды, патроны, повозки, хлеб — просто-напросто переходила из рук в руки.

На станции Морозовской Мамонтов захватил вагоны с хлебом и, не подсчитав добычи, телеграфировал, что она составляет около миллиона пудов. Донское правительство пришло в неописуемый восторг от такого богатства. Круг даже назначил особую комиссию для наблюдения за тем, чтобы не произошло утечки хлеба. Велико было изумление, когда при поверке оказалось, что в мамонтовской добыче на ст. Морозовской нет и 10 000 пудов и что пылкий генерал более чем в сто раз увеличил свои трофеи.[1]

Поэты ликовали. Скорбные мотивы их музы сменились бодрящими, жизнерадостными. «Донские Ведомости» отметили перелом в настроении общества следующим стихотворением:

Довольно панихид! Мы долго их служили
И траур скорби в сердце сжавшемся несли,
Довольно мы мишенью для ударов были
И счастье видели лишь сквозь туман вдали.
Вставай день радостный! Пусть яркого светила
Лучи весенние побеги золотят,
Да сгинет пусть от них вся вражья сила
И обезвредится ее тлетворный яд.[2]

Тогда же блеснуло молнией имя генерала Врангеля. Деникин поручил ему ведение операций против Царицына.

---

[1] «Вольная Кубань», № 123, от 7 июня 1919 г. Статья: «Беседа с В. А. Харламовым на Кубани».

[2] «Донские Ведомости», № 134, от 16 июня.

Это был крайне важный пункт по своему стратегическому значению. Север Дона соединяется с югом железной дорогой, которая идет через этот город, находящийся вне пределов Донской области.

Благодаря тому, что красные прочно засели в Царицыне, донское правительство не могло считать себя прочным обладателем северных округов. Снаряды и другие боевые припасы приходилось отправлять гужом за сотни верст. Даже простая почта, например, в Урюпинскую (центр Хоперского округа), шла неделями.

Для Дона обладание Царицыном всегда стояло на очереди дня. Еще при Краснове казачьи полки неоднократно подступали под этот город, но безуспешно.

Грозный атаман, чтобы напугать защитников Царицына, 6 ноября 1918 года обратился к ним с таким воззванием:

«Граждане города Царицына и вы, заблудшие сыны российской армии! К вам обращаюсь я с последним предложением мирной и спокойной жизни в единой и великой России, России православной, России, в бога верующей. Близок ваш час и близко возмездие божие за все ваши кровавые преступления. Наши силы растут. Уже не одна Донская армия борется за свободу своих станиц и хуторов, но и грозная российская армия — Южная, ведомая маститым полководцем, героем Львова и Перемышля, бывшим главнокомандующим юго-западного фронта, генералом от артиллерии Н. И. Ивановым, неудержимо наступает на Воронеж. Союзники высаживаются в Новороссийске и Одессе, чтобы итти на Москву. С ними идет к нам множество танков, сотни аэропланов и тяжелые дальнобойные орудия. Царицын будет сметен с лица земли взрывами страшных снарядов.

«Скажите, за что погибнете вы, за что погибнут ваши жены и дети, и богатый город обратится в пустыню и развалины? Вот раньше люди умирали за веру, царя и отечество; мы умираем за веру и свою родину, за свободу и счастье своих станиц и хуторов, и нам легко умирать. За что вы умираете? За те триста рублей в месяц, фальшивых, ничего не стоящих керенок? Но что вы едите? У вас даже хлеба не хватает!

«У нас на Дону нет помещиков и капиталистов, но все мы люди равные и живем не бедно. Наши воины и рабочие получают в день $2^1/_2$ фунта хлеба и 1 фунт мяса, и нам есть, во что обуться и одеться.

«Именем бога живого заклинаю вас. Вспомните, что вы русские люди, и перестаньте проливать братскую кровь русских людей. Я предлагаю вам не позже 15 ноября сдаться и сдать ваш город нашим донским войскам. Если

вы сдадитесь без кровопролития и выдадите мне ваше оружие и военные припасы, я обещаю сохранить вам жизнь. У вас два исхода: свободная, счастливая жизнь гражданина свободной России или смерть, смерть позорная. Спешите избрать исход своему теперешнему ужасному положению. Я жду до 15 ноября. После пощады не будет». [1]

Воззвание не помогло.

Город не только не сдался, не только отбил нападение, но даже вскоре его гарнизон сам перешел в наступление. Казаки поспешно бежали, при чем сам начальник отряда ген. Постовский едва не попал в плен.

Тогда выступил публицист Виктор Севский. В подражание Краснову, он разразился в своей «Донской Войне» грозной филиппикой по адресу непокорного города:

«Казачий Карфаген, — покончить с которым давно думал не один казачий Катилина. [2] Карфаген для казаков, — Царицын и в семье российских городов был уродом. Пыль и опилки, — это из этнографии Царицына. Улицы — резервуары пыли. На бесчисленных лесопильных заводах пилили лес. Летели опилки и стружки. Отсюда и жители Царицына — пыль людская, опилки российского человека.

«Илиодор. Сколько столбов пыли поднял в хронике российских дней инок с душою — помесью религиозных опилков с пылью царицынской улицы. Несколько лет в Царицыне клубилась илиодоровская пыль.

«В августе 1917 года Царицын объявляет войну Дону, берет в плен казаков и даже назначает своего атамана на Дон. Казачество возвысило свой голос, Царицын затих. Но едва подул ветер с севера, вся пыль, все стружки и опилки полетели на Дон. Из Царицына организуются экспедиции на Серебряково, на Иловайскую, на Арчеду, на Чир». [3]

— «Авангард российской пыли».

— «Надо разрушить Карфаген!»

— «Карфаген должен быть разрушен!» [4]

Лавры Сципиона выпали на долю генерала Врангеля. Правда, он не стер с лица земли казачий Карфаген, как

---

[1] Замечательно в этом воззвании то, что Краснов, упоминая об Южной армии и союзниках, ни словом не упоминает об армии Добровольческой, точно ее не существовало.

[2] Намек на Краснова, который, подобно Катилине в Риме, таил план сокрушения республиканского строя на Дону.

[3] Станции по Грязе-Царицынской железной дороге, в Донской области.

[4] «Донская Волна», 1919 г., № 6.

того хотелось монархисту Краснову и демократу Севскому, но все же занял его после длительного штурма.

Барон Петр Николаевич Врангель, сравнительно молодой, образованный кавалерийский генерал, сначала командовал всей конницей Добровольческой армии. После окончательного освобождения Северного Кавказа от советских войск, благодарная Кубанская Рада, куда он прибыл для чествования, под неумолкаемые аплодисменты наградила его, в изъятие от закона, «Крестом Спасения Кубани» прямо первой степени.[1]

Дельный, образованный генерал производил приятное впечатление не только на станичную простоту, но и на просвещенных кубанских законодателей. Ему были чужды балаганные выходки Шкуро и хамство Покровского. В то же время его начальнический голос звучал твердо, как подобает настоящему полководцу. Самое же главное, — говоря о великой и единой, он расшаркивался перед кубанским представительным учреждением.

Рада искренно жалела, что этот генерал не природный кубанец, а остзейский барон. Кубанские законодатели все время вздыхали по хорошем атамане, как Данте по Беатриче. Филимонова, слабовольного человека, без собственного я, держали только потому, что не находили более лучшего преемника.

Раде казалось, будь Врангель атаманом, он сумел бы поддержать достоинство кубанского государства и обеспечить говорильне спокойное существование. По своей провинциальной простоте недальновидные законодатели не разгадали в бароне своего будущего палача.

Для действия против «Казачьего Карфагена» Деникин придал Кавказской Добровольческой армии английский танковый дивизион, тяжелую артиллерию, эскадрилью аэропланов. На этот раз исполнились слова Краснова: против Царицына ополчилась техническая мощь союзников.

15 апреля Врангель издал следующий приказ:

«Выздоровев после трехмесячной болезни, я снова становлюсь среди вас. Вперед же, орлы! Пусть от гор Кавказа слава о вашей доблести докатится до сердца России — Москвы».[2]

---

[1] 20 февраля 1919 года Законодательная Рада учредила орден «Спасения Кубани» 1 и 2 степени и медаль «За спасение Кубани» для награждения участников борьбы за Кубань. Начало борьбы — 29 ноября 1917 г., когда Рада назначила шт.-кап. Покровского командующим войсками Кубанского края; конец — 28 января 1919 г., когда был взят Владикавказ. («Вольная Кубань», 1919 г., № 61, от 16 марта.) В Добровольческой армии был учрежден особый орден для участников Ледяного похода, на Дону, после Краснова, — за степной поход.

[2] № 105.

Генерал поскромничал в своем пожелании. Слава о его «орлах» спустя три года докатилась до отдаленных углов Европы, а на Балканах она и посейчас гремит иерихонской трубой. Но какая слава, — это другой вопрос.

Рада напутствовала Врангеля зачислением его в кубанские казаки. [1]

В царицынском походе сказался настоящий характер барона — «моей баронской фантазии не препятствуй». 8 мая он занял станицу Великокняжескую, центр Сальского округа, и вывесил воззвание о необходимости беспощадной борьбы с большевиками. К утру от расклеенного по улицам воззвания не осталось и следа. Неизвестные содрали со столбов все экземпляры.

Взбешенный барон наложил на станицу контрибуцию в 50 000 рублей, при чем объявил, что в случае повторения такой дерзости удвоит штраф, а затем учестерит. Станичный сбор перепугался и уплатил штраф, позаимствовав требуемую сумму из средств кооператива.

Донцов до крайности возмутило такое хозяйничанье барона на их территории. Его поступок обсуждался на Круге, который вынес резкую резолюцию против строптивого генерала и вынудил его возвратить деньги ни в чем неповинным станичникам.

Наступая на Царицын, Врангель довольно искусно, с помощью деревянных щитов, перевел армию на правый берег Маныча. Разыгравшийся на этой реке бой, по словам Врангеля, является беспримерным в истории последних войн, когда роль конницы свелась к выполнению второстепенных задач. Здесь же произошло столкновение громадных масс кавалерии. В атаке на закате солнца участвовало с обеих сторон до 20 000 всадников. [2]

Барон одолел.

С севера пути к Царицыну отрезали донцы, вышедшие на Волгу. Победитель на Маныче подходил к городу с юга.

«18 июня, после штурма, начатого в 4 часа утра 16 июня, войсками ген. Врангеля взят оплот большевизма на юго-востоке России, советский Верден — г. Царицын».

Так гласило телеграфное сообщение штаба главнокомандующего.

«Казачий Карфаген» на некоторое время был обезврежен. Север и юг Дона теперь могли протянуть друг другу руку через царицынский узел.

---

[1] В конце апреля.

[2] «Донские Ведомости» 1919 г., номер от 25 мая. Указанное Врангелем число всадников явно преувеличено. 8 ноября 1919 г. в Раде он жаловался на то, что в царицынском походе у него было безлюдье и вся его армия едва превышала четыре тысячи. См. XXII главу.

В период этих побед в стольном городе Черкасском, в атаманском дворце, как некогда у ласкового князя Владимира, пир шел за пиром. К довершению сходства с Владимиром «Руслана и Людмилы», атаман выдал замуж свою падчерицу, графиню Келлер, за гвардейского офицера, так что музыка с утра до вечера оглашала дворец и прилегающий к нему Александровский сад.

Насмешливые фронтовики сейчас же окрестили атаманский дворец «войсковым рестораном № 1».

Полководец сомнительных качеств и совсем никудышный администратор, Африкан Богаевский зато отличался довольно тонким гастрономическим вкусом и понимал толк в винах. Он не любил слушать треск снарядов, предпочитая отводить душу, когда взлетали пробки в потолок.

Если считать главными обязанностями правителя прием депутаций, торжественные обеды и ужины, увеселительные прогулки и т. п., то надо отдать справедливость: новый глава Дона довольно ретиво исполнял свой долг.

29 мая, т.-е. когда уже большая часть Дона очистилась от советских войск, он отправился со своей супругой, по первому браку графиней Келлер, в сопровождении блестящего личного штаба в путешествие по своему государству. Газетные корреспонденты, за отсутствием других ярких актов правительственной деятельности ген. Богаевского, поспешили красочно расписать эту увеселительную поездку. [1]

До Аксайской [2] атаман проехал поездом, а оттуда на пароходе вниз и вверх по Дону.

Повсеместно «благодарное» население устраивало ему радушный прием. Всюду хлеб-соль, приветственные речи, несмолкаемые крики ура. Все станицы подобострастно избирали его, как некогда Краснова, почетным казаком.

В Елизаветинской [3] его на руках внесли в станичное правление.

— Станичники, — приветствовал он подданных, — борьба еще не кончена. Еще нужно не мало усилий. Поддержите честь Тихого Дона.

Станичники, то-есть кучка администрации и дряхлых старцев, обещали не щадить животов.

По обычаю, в виде расплаты за прием, он тут же произвел станичного атамана в офицеры. Этот важный правительственный акт вызвал еще больший взрыв энтузиазма. Длительное ура, шапки вверх.

---

[1] «Донские Ведомости», № 151, от 3 июля.

[2] Станица между Новочеркасском и Ростовом, на берегу Дона, который недалеко отсюда соединяется со своим рукавом Тузловым.

[3] Станица в низовьях Дона, к западу от Ростова.

Из станичного управления атамана снесли на руках в квартиру осчастливленного станичного атамана, который не скупился на угощение, тронутый монаршей лаской. Прочие старики, в тайной надежде добиться того же, то-есть украситься к закату своей жизни погонами из парчи, льстили властителю наперерыв, уверяя, что любили его еще в то время, когда он находился в утробе матери.

— Окончательная победа близка! Теперь я верю в это. Враг будет сломлен! — воскликнул правитель Дона, растроганный верностью своих подданных.

Следующая станица, и точь-в-точь такой же торжественный прием, то же надрывание глоток, то же качанье на руках.

— Этак атаман может разучиться ходить, — заметил один из приближенных Богаевского, наблюдая, как атамана таскали с парохода на пароход.

Если путь атамана был засыпан розами, то на путях казачьих низов росли тернии и бурьян.

«Случалось ли читающему эти строки видеть когда-либо брошенные казачьи старые станицы? — задавал вопрос корреспондент из станицы Романовской на страницах «Донских Ведомостей». —[1] Ветхие, полуразрушенные мазанки уныло глядят на поросший кругом них бурьян; кусты колючки скрывают бывшую когда-то дорогу; мертвое, гнетущее молчание; ни одной живой души, куда ни достанет глаз, — таковы хутора от Константиновской до Романовской станицы. Хуторяне или перемерли от тифа, или бежали зимою с отступающими казаками или наконец весною бежали с красными».

«Хутор Басов, — писал корреспондент из станицы Морозовской, —[2] поголовно почти ушел с большевиками. В юрте[3] станицы есть хутора, сплошь оставленные жителями».

Все, кто зимою с радостью встречал большевиков, думая, что настал-таки конец проклятой, бессмысленной войне, теперь спешили покинуть родные гнезда и бежать на север.

Особенно туго приходилось тем, кто служил при красных хотя бы на выборной должности. Им не давали пощады. Приказ всевеликому войску Донскому от 28 июня за № 1026 гласил:

«Лиц, служивших в Красной армии или учреждениях Советской России и бежавших оттуда или отставших от красных войск при отходе их и проживающих в пределах

---

[1] «Донские Ведомости», № 148, от 28 июня 1919 г.
[2] «Донские Ведомости», № 132, от 9 июня 1919 г.
[3] Юртом называется весь район, где расположена станица и приписанные к ней хутора.

всевеликого войска Донского, арестовывать немедленно и под конвоем препровождать на распоряжение окружных атаманов, и дела о них направлять в окружные судебно-следственные комиссии для возбуждения о них судебного преследования». [1]

«Всевеликое» разделилось пополам.

Часть стала красной; другая волей или неволей служила белому стану. Сплошь и рядом двое сыновей одного отца воевали под знаменами Буденного, двое других — в корпусе Мамонтова.

Атаман, объезжая свои владения, за неистовыми приветственными криками станичных властей не слышал плача и стонов жен и детей, немощных отцов и матерей, поильцы и кормильцы которых бежали на север, спасаясь от ярости братьев - завоевателей.

Атаман не понимал печальной станичной действительности подобно тому, как казачьи массы не понимали смысла донской государственности.

XII.

ПОХОД НА МОСКВУ.

Весенний успех вскружил голову вождям Добоволии.

Очищение Дона от большевиков, занятие Слободской Украины, выход на Волгу в связи с неизменным благоволением союзников, подавали надежду на самое отрадное будущее.

Надо было не терять момента и добивать врага. Все требовали движения вперед. Войска рвались по инерции. Спекулянты — в целях расширения поля своей деятельности. Политики из особого совещания и окружавшая их чиновничье-аристократическая свора — для того, чтобы предупредить занятие Москвы Колчаком.

Сибирский правитель России в окружении эс-эров пугал южно-русских вандейцев. В случае верховенства колчаковского правительства им чудились новые беды и напасти вместо того благополучия, на которое они рассчитывали при воцарении министров Деникина.

— На Москву! — исступленно вопили монархисты, которые в честь этого лозунга начали даже издавать погромную газету под тем же именем.

— Хоть цепочкой, хоть цепочкой, но дотянуться бы до Москвы, — заявлял на совещании высших военных началь-

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 152.

ников ген. И. П. Романовский, начальник деникинского штаба.

Командующий Донской армией ген. В. И. Сидорин указывал на опасность стремительного марша вперед, без закрепления позиций сзади и без упорядочения тыла, но его голос остался в меньшинстве.

Осенью 1918 года сам глава особого совещания ген. Драгомиров в разговоре со мной не считал нужным молчать о том, что ближайшая цель Добровольческой армии — движение на Волгу, на соединение с Колчаком. Теперь про это забыли думать.

Тогда, в 1918 году, Добороволия представляла из себя еще слабую организацию и не смела мечтать о «спасении» единой и великой одними собственными силами. Теперь она выросла, окрепла, обнаглела и не желала итти у других на поводу. Колчак теперь казался нежелательным конкурентом, а в случае занятия Москвы Деникиным — тяжелой обузой.

Добровольческая армия, вместо стремления на восток, навстречу Колчаку, ринулась на запад, в Приднепровскую Украину.

Временный успех сопутствовал ей и здесь. 18 августа, через два с половиной месяца после падения Харькова, добровольцы заняли мать городов русских.

«Чудный Днепр снова увидел Добровольческие войска и своих детей кубанцев», — добавляли «Донские Ведомости» красочный мазок к серой официальной телеграмме о занятии Киева.

Но еще ранее этого события прозвучал велеречивый приказ ген. Деникина:

«Я приказал войскам ген. Шкуро двигаться на Москву».

«Народный герой», убаюканный славою, в это время с большей охотою пропадал в тылу, преимущественно в Кисловодске, где он приобрел себе недурную дачу. Частенько он разъезжал и по другим городам, упиваясь восторгами толпы, фимиамом лести и всякими спиртуозами. Он имел свой поезд, и ездил всюду, сопровождаемый собственным хором песенников и балалаечников.

Буржуазия с усердием чествовала верного цербера своих капиталов, он же услаждал ее слух своими ура-патриотическими выкриками и игрой своего хохлацкого хора. Бешеная лезгинка завершала каждое торжество. Лезгинка была настоящим национальным гимном «волков» и их сумбурного вождя, превращавшего свою жизнь и свое дело в сплошную шутовскую оргию. Казалось, что этот деникинский генерал из всего богатого архива монархии, которую силилась восстановить Добровolия, признавал лишь один

«всешутейший и всепьянейший собор» Петра Великого и знать не хотел никакого другого порядка.

Проезжая из тыла на завоевание Москвы, «герой», по обыкновению, остановился в веселом Ростове, чтобы набраться мужества в театре-кабаке, именуемом «Гротеск». Толпа спекулянтов и героев тыла приветствовала его аплодисментами; дамы «нашего круга» забросали цветами; ловкий конферансье произнес приветственную речь.

— Даю вам слово, — ответил почетный гость кабака, — что на возвратном пути из Москвы на родную Кубань я буду в Ростове и в первую очередь загляну в «Гротеск».

В этом и так никто не сомневался.

Шкуро отправился завоевывать Москву, а Ростов, спокойный за свое благополучие, предался веселью.

«Обстановка на фронте изменилась, и сразу произошла, так сказать, демобилизация обывательских чувств, бывших в напряжении, — констатировали «Донские Ведомости» 22 июля. —[1] Рассеялся страх, притупилось сознание необходимости всем жертвовать для победы над врагом, и даже простое чувство самосохранения уступило место типичной русской беспечности. Общественные зрелища широко открыли свои гостеприимные двери. Рекламные столбы пестрят афишами, на первой странице газет крупными буквами объявляется публике о различных «Буффах», кабарэ, «гвоздях сезона», чемпионах мира, а из городской хроники мы узнаем об открытии и процветании многообразных клубов... Есть только публика и ее лакеи. Вторые исполняют то, что продиктуют им капризы первой. — «Я устала, хочу веселья», — говорит публика». — «К вашим услугам!» — заявляют служители сцены и думают: — «Лишь бы платили деньги». И преподносят «Тайны гарема», «Адскую любовь». А весною кричали о святости искусства, о воспитательном значении театра.[2] Было даже намерение у части сценических деятелей, — которое звучало как угроза, — уехать в Совдепию».

Теперь уже не только не боялись большевиков, а думали о Москве.

Москва... Все бредило ею.

На восток, на Колчака, более не оборачивались.

Глухо прозвучало в июле известие о том, что части Кавказской армии, перебравшиеся на левый берег Волги, в районе Эльтонского озера вступили в связь с уральскими казаками, левым флангом колчаковского воинства.[3]

---

[1] «Донские Ведомости», № 156, от 22 июля, статья М. Рудина: «Работающие на оборону».

[2] Тогда Круг воспретил всякие зрелища. См. XI главу.

[3] «Донские Ведомости», № 168, от 23 июля.

До Урала ли было теперь!

—Нам уже близка Москва!—провозгласил в Ростове ген. Богаевский, вторично побывавший на «фронте».

Этот «фронт»—где-то возле Миллерова, переименованного в Калединовск, в расположении вечно формировавшегося и никогда не сформировавшегося Клястицкого гусарского полка. Атаман, разумеется, прибыл на полковой праздник и наглядно проявил свои государственные способности, с наслаждением скушав обед и согласившись на зачисление себя в списки достославного полка.[1]

Деникин в это время тоже был почтен, только не гусарами, а профессорами: Киевский университет избрал его своим почетным членом.

Триумфальное шествие в Москву что-то затянулось.

Нетерпение общества возрастало. Газетам приходилось успокаивать горячие головы.

«Донские Ведомости» в конце июля гремели.[2]

«Волевая дряблость, неустойчивость настроения, обывательская мягкотелость, присущие нашему обществу, особенно характерно выявляются тогда, когда общество находится в состоянии ожидания. Та часть нашего общества, которая остается в тылу, не умеет даже ожидать. Ее ожидание пассивно, между тем как в истинно гражданском обществе активно и самое ожидание. Эта активность проявляется в неуклонной нравственной поддержке, в непоколебимости настроения, в доверии и спокойствии. В наши дни, после того, как ген. Деникин объявил поход на Москву, общество ожидает известий о вступлении освободительных войск в первопрестольную... Ожидает с нетерпением. Нетерпение понятно и похвально, как свидетельство всеобщего желания поскорее покончить с большевиками. Но слишком часто это нетерпение переходит в недовольство, в брюзжание, в скептицизм. Мы ожидаем приятного известия о падении советской Москвы, как средства, которое окончательно успокоило бы наши усталые нервы, и только».

В глубокий тыл, в Ростов и Новочеркасск, изредка начали доходить слухи о том, что на фронте далеко не все обстоит благополучно.

Официальные сводки без конца жужжали о цветах. Так, в связи с занятием Харькова, сообщалось:

«Войска доблестной Добровольческой армии были встречены населением Харькова с цветами и криками ура. В манифестации в честь Добровольческой армии прини-

---

[1] «Донские Ведомости», № 218.

[2] «Донские Ведомости», № 156.

мали участие рабочие; только в отдельных домах засели коммунисты и чины чрезвычайки и обстреливали войска. Нами взяты 2500 пленных, три бронепоезда, один танк, отнятый большевиками у французов под Одессой». [1]

«При вступлении в Обоянь 2-го Корниловского ударного полка жители осыпали цветами офицеров и ударников»,—сообщал «собственный корреспондент» харьковского «Вечернего Времени». [2]

— Чем дальше продвигались мы на север,—рассказывал однажды в Новочеркасске, в моем присутствии, поручик Корниловского полка П. И. Микулин,—тем все больше и больше чувствовали отчужденность населения от нас. Особенно это сказывалось на севере Воронежской и в Орловской губернии. Тамошнее население, увы! уже свыклось с Советской властью. Наши порядки им уже непонятны. Дичатся нас, смотрят как на выходцев с того света, боятся даже разговаривать с нами.

Сами войска и их начальство вели себя так, что население освобожденных мест могло только желать скорейшего их ухода.

Официальные приказы, а также тогдашняя белая пресса, при всей своей понятной сдержанности, дают не мало материала для того, чтобы судить о поведении войск и об отношении к ним населения.

«На полях Донецкого округа,—гласил приказ всевеликому войску Донскому от 3 июня, № 870,—тыловыми частями войск производятся массовые потравы хлебов и трав без крайней к тому нужды. Если так будет продолжаться дальше, население может остаться без хлеба и сена, и тем лишиться необходимого корма. Командирам и местным административным властям приказываю немедленно прекратить произвольную потраву, не останавливаясь перед самыми крайними мерами наказания виновных и предания последних военно-полевому суду. При необходимости производства войсковыми частями покосов на общественных полях, таковые должны быть указываемы местными властями и только на отведенных ими местах разрешаю пасти лошадей и скот, принадлежащий тыловым воинским частям. Представителей высшей военной и административной власти, замеченных в неисполнении настоящего приказа, я буду привлекать к строжайшей ответственности». [3]

«До сведения моего дошли слухи,—писал кубанский атаман в приказе от 7 августа № 925,—что кубанскими

[1] «Донские Ведомости», № 136, от 14 июня.
[2] «Вечернее Время», Харьков, № 38.
[3] «Донские Ведомости», № 132, от 9 июня.

частями и одиночными казаками чинятся насилия над жителями местностей, занятых кубанцами. Поступают также и заявления официальных лиц с просьбой принять меры против этих насилий. С глубокой грустью узнал я, что некоторые казаки не только не понимают величия совершающихся событий, но и не сознают высокого долга воина. Я не могу допустить мысли, что кубанцы забыли своих славных предков-запорожцев и их завет — защищать слабых и беззащитных от насилий и насильников, а веру православную от поругания».

«До меня дошли сведения, — писал ген. Деникин в приказе от 22 августа, — что при прохождении войск по населенным местностям Малороссии отдельные малодисциплинированные части производят бесплатную реквизицию имущества; отдельные воинские чины насильственно отбирают имущество у мирных жителей, позволяют себе поступки, не совместимые с высоким воинским званием. Случаи эти остаются нерасследованными, виновные не наказываются и пострадавшие мирные жители не вознаграждаются за убытки». [1]

Приказ оканчивается угрозой насильникам и предписанием составлять акты о грабежах и представлять их губернаторам.

В Харькове, в день вступления в него добровольцев, произошел весьма характерный инцидент, описанный в суворинском «Вечернем Времени», которое шло следом за армией и открывало филиалы в разных городах, внедряя в толщи добровольцев истинно-русскую погромную идеологию.

Среди харьковцев, чествовавших добровольцев, появилась и артистка Валер, величайшая преступница, так как она играла в театре и при большевиках. Некоторые патриоты из местных, желая показать свою политическую непорочность перед белыми, потребовали удаления скомпрометированной артистки из залы.

Есаул Н. П. Синельников не воздержался и крикнул:

— Какая мерзость! Гнать эту сволочь!

Но его осадил брат артистки. Произошла драка. На другой день оба дрались уже не на кулаках, а огнестрельным оружием, при чем пылкий есаул погиб бесславной смертью дуэлянта.

Пьянство стало неизлечимой болезнью как тыловиков, так и фронтовиков. В этом отношении побил рекорд сам командующий Добровольческой армией ген. Май-Маевский. Милюков, проживая в Париже, довольно метко

---

[1] «Донские Ведомости», № 194.

охарактеризовал этот поход чьим-то четверостишием в своих «Последних Новостях»:

Уже водили до Орла
Вожди хмельные батальоны;
Им снились дивные дела
И восстановленные троны.

Про не в меру тучного «Май-Мая» рассказывали, что он не мог заняться никаким делом с утра, не проглотив предварительно бутылки водки. Харьковцы не раз наблюдали его кутежи в обществе низкопробных артисток. «Дрозды» [1] однажды поднесли ему мундир своего полка, т.-е. погоны и шапку с малиновым верхом. В депутации участвовал старый «дрозд», военный следователь, поручик З., который рассказывал мне, что в штабе Май-Маевского по этому важному случаю трое суток шло беспробудное пьянство.

Стоит ли после этого удивляться тому, что осенью, когда Деникин прибыл в Харьков на совещание, в штабе Добровольческой армии долго не могли отыскать карты театра военных действий. Этот факт зафиксирован, видимо, со слов ген. Сидорина, Григорием Николаевичем Раковским в его книге «В стане белых». [2]

«Мною замечено, — писал командир «цветного» корпуса ген. Кутепов в приказе от 30 сентября 1919 г., № 277, — что некоторые офицеры в последнее время кутят на устраиваемых с благотворительной целью вечерах, производят скандалы, появляются в нетрезвом виде на улицах и в других общественных местах, ведут себя несоответственно званию офицера. Предупреждаю, что замеченных в этом буду предавать суду». [3]

Но что было взять с младших, когда сами старшие подавали соблазнительный пример.

С Украины доходили вести о погромах. Дома, в Ростове, их кое-как удалось предотвратить, к великому неудовольствию черносотенцев.

«Вечернее Время», самая близкая к фронту газета, по обыкновению, защищала погромщиков:

«В этих эксцессах виноваты сами евреи плохим отношением к Добровольческой армии. Почему они до сих пор не заявили ни одного протеста по поводу того всероссийского погрома, который учинен, главным образом, Бронштейном?» [4]

---

[1] Офицеры и солдаты Дроздовского полка.
[2] Издана в 1920 г. в Константинополе.
[3] «Вечернее Время», Курск, № 7.
[4] «Вечернее Время», Курск, № 3.

Вождь всего воинства, ген. Деникин, в беседе с депутацией от евреев высказался примерно в том же духе:

— Повлияйте на еврейскую молодежь, образумьте ее. Пусть она отрешится от своих симпатий к большевикам. [1]

Вождь духовный, смиренный киевский митрополит Антоний, так ответил этой же делегации, просившей его выступить против погромов:

— Евреи предварительно должны отозвать из советских учреждений своих соплеменников. [2]

Погромы продолжались. Войска бесчинствовали. А «Вечернее Время» приходило в ужас от того равнодушия, которое проявляло неблагодарное освобожденное население к делу Добровольческой армии.

В Курске для марковской конной части потребовалось 2000 подков. Военные власти решили использовать общественную благотворительность. Осчастливленный город пожертвовал... десять подков. Всего-на-все!

«Кузнецы и владельцы лошадей! Вас просят устыдиться!» — допекали нерачительных жертвователей суворинские молодцы, помещая в своей газете ироническое обращение «благодарного населения» к добровольцам:

Вы красные сняли оковы,—
Ваш подвиг не будет забыт:
Я жертвую вам две подковы
На тысячу конских копыт. [3]

«Боже мой, — патетически восклицал в «Вечернем Времени» некий Руслан, автор обличительной статьи «Гражданская повинность».—Да когда же это произойдет этот геологический переворот, чтобы и камни устыдились. Для армии надо не просить, а требовать, как это делали большевики». [4]

Не лучше дело обстояло с пожертвованием теплой одежды, которою запасались осенью в виду наступающих холодов.

«Мы уже два дня обращаем внимание курского общества на то ужасное положение, в котором находятся солдаты доблестной 1-й дивизии», — вопило курское «Вечернее Время». [5]

Куряне расшевелились и пожертвовали... одну шубу.

«Курск — город классической спячки и обывательского эгоизма, — распинались суворинцы. — Шуба из курского

---

[1] «Вечернее Время», Курск, № 3.
[2] Там же.
[3] «Вечернее Время», Курск, № 26, от 29 октября.
[4] Там же.
[5] «Вечернее Время», Курск, № 15.

сочувствия, — вот и все, что покамест имеют здесь добровольцы. Однако в этой шубе много не навоюешь». [1]

Куряне и знать не хотели, что добровольцы сражаются за их благополучие.

«То, что происходит сейчас в Курске, — продолжало вопить «Вечернее Время», — эта жуткая картина приходящих санитарных поездов, переполненных ранеными, которых никто из населения не встречает, от которых в панике разбегаются шкурники-извозчики, не желающие их перевозить, эти грустные вести из лазаретов, перевязочных и эвакуационных пунктов, где почти отсутствует общественная помощь и где, как рыба об лед, бьется безо всякой поддержки военное общество, — все это не может быть терпимо далее ни одного часу». [2]

Газета недоумевала, почему же тогда «измученный и ограбленный большевиками город с таким нетерпением ждал добровольцев».

«Где слыхано или видано, — писал в газету некий поручик Таранов, перевернувший свою фамилию сзади наперед, так что получился псевдоним «Вонарат», — чтобы на территории, занятой добровольцами, десятки раненых измученных воинов были без пищи четыре дня? Это именно было в Курске. Как-то странно: никаких обязанностей, но мильон претензий. — «Почему отдали Орел? Почему медлят с Москвой? Ах, почему?» Да потому, милые куряне, что с вами вообще далеко не уедешь, потому что ваш тыл все время держит за хвост наш фронт, что расстройство и пустота тыла тормозят все, что ваше равнодушие способно охладить самые горячие порывы». [3]

«Раненые герои дали нам хлеб. Неужели мы их оставим без хлеба?» — такой ударный лозунг появился в «Вечернем Времени». [4]

Ни просьбы, ни требования, ни угрозы, ни насмешки не могли разбудить курян.

Не лучше дело обстояло в Харькове. Здесь деникинская власть просуществовала сравнительно долго. Но население, даже верхние слои, ничуть не сроднилось с добровольцами и не восхищалось порядками белых.

В первые дни после занятия Харькова осважные [5] газеты писали:

---

[1] «Вечернее Время», Курск, № 15.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] «Вечернее Время», Курск, № 10, от 12 октября.

[5] Осваг — осведомительно-агитационный отдел деникинского правительства.

«Молодежь, — студенты, учащиеся и рабочие, воспламененные порывом добровольцев, спешат записываться в их части. В первый же день записалось до 10 000 человек».

Это сообщение оказалось ложью, рассчитанной на доверчивый глубокий тыл. В действительности, население избегало общения с добровольцами. На городские выборы едва явилась $^1/_7$ часть избирателей. Рабочие поголовно бойкотировали выборы. Об этом писала ростовская газета «Приазовский Край». [1]

Тотчас же по приходе белых промышленные и торговые круги г. Харькова, в «патриотическом» порыве, поднесли Добровольческой армии бронепоезд, но только на словах. Обещание прозвучало, а в жизнь не претворилось.

«Они, как свиньи, своим бессердечием подтачивают великий дуб, желудями которого кормятся», — клеймило харьковцев «Вечернее Время». [2]

Более правильной оценки буржуазия не могла найти. Оставалось только удивляться, почему после этого суворинцы не затрубили отбой и не стали ратовать за прекращение войны, начатой ради благополучия этих свиней. Низы определенно высказывались против Доброволии; верхи ничем не хотели поступиться для своего же блага. Для кого же и для чего дальнейшая борьба?

К сожалению, осважная пресса не делала таких выводов. Напротив, забыв о том, что писали вчера, сегодня газеты с пеной у рта доказывали полное единение Доброволии и русского общества. Среди моря упреков и оскорблений по адресу буржуазии такие статьи звучали диссонансом. Но их приходилось помещать, иначе газетчикам дали бы расчет.

В сентябре представители крупной промышленности юга России, большей частью прочно укоренившиеся в далеком тылу, отправили в Харьков особую депутацию, чтобы поднести почетную награду, «золотое оружие» [3], ген. Май-Маевскому. Тыловые тузы тоже отказывались жертвовать на армию, но генералов услаждали ничего не стоящими бирюльками.

Глава депутации, известнейший московский богач С. Н. Рябушинский, приветствуя двенадцатипудового «героя», сказал:

— Дай бог вам, доблестный полководец, этим золотым георгиевским мечом сразить большевизм так, как святой

---

[1] «Приазовский Край», № 256.
[2] «Вечернее Время», Курск, № 6.
[3] Шашка с золоченым эфесом, с припаянным георгиевским крестиком и с георгиевским темляком.

Георгий-победоносец своим копьем сразил змея в защиту христианства.[1]

«Вчера командующий Добровольческой армией ген. Май-Маевский увидел яркое подтверждение того, насколько русское общество идет в полном единении с Добровольческой армией и как высоко ценит оно заслуги доблестных вождей», — писало харьковское «Вечернее Время»,[2] забыв про бездушные курские «камни» и про харьковских «свиней».

Если добровольческие вожди иногда получали от «русского общества» вещественные доказательства признательности, то рядовые офицеры и солдаты, которым не удалось набить карманы при очередном погроме, могли утешать себя только надеждами на будущие блага. Начальство же и пресса кормили их одними дифирамбами.

«Из глубины истории, — писал ген. Кутепов в приказе от 7 сентября, № 04717, по случаю занятия Курска, Льгова и Рыльска, — встают образы русских чудо-богатырей, и вы, их потомки, равны им. Пусть в сердце каждого наградой за нечеловеческие усилия будет сознание, что пройден еще один тяжелый этап на путях к златоглавой Москве и что в этот момент сотни тысяч людей, освобожденных вашими подвигами, благословляют вас».[3]

«Цветные войска» Кутепова уже видели эти «благословения» освобожденных. Видели, что на них смотрят не как на освободителей, а как на завоевателей.

Сам глава «цветных войск», ген. Кутепов, недавний капитан Преображенского полка, как нельзя лучше воплощал в себе все черты завзятого кондотьера. Пресса, даже само «Вечернее Время», иногда весьма откровенно высказывала свой взгляд на поход на Москву как на завоевание, Кутепова же расценивала как двойника испанских конквистадоров, покорителей Мексики, Перу и других внеевропейских государств. Для этого стоит только прочесть статью Н. Н. Брешко-Брешковского в № 10 курского «Вечернего Времени».

«Если вы были в Мадриде, наверно видели в картинной галлерее Прадо кисти Веласкеза портрет Хозе Альвардо. Этот офицер, во славу Бурбонов и Габсбургов, завоевал в Новом Свете целые страны. Завоевал с горстью таких же, как и он сам, храбрецов и дерзких искателей буйных романтических приключений. Молодой генерал-лейтенант внешностью своей весьма и весьма напоминает конкви-

---

[1] «Вечернее Время», Харьков, № 63, от 13 сентября 1919 г.
[2] Там же.
[3] Там же.

стадора, и не только внешностью. Но Хозе находился в лучших условиях. Он воевал с безоружными дикарями, Кутепов — с вооруженными до зубов красноармейцами, дерущимися с бешенством отчаяния и ведомыми целой фалангой опытных офицеров генерального штаба.

«В завоеванных губерниях он мудро правит. Он успевает объезжать завоеванные города.

«Воспитанный в гвардейских традициях славной петровской бригады,[1] ген. Кутепов, как истинный рыцарь, чуток до щепетильности к чести офицерского мундира. Он требует и умеет властно подтвердить свое требование, чтобы каждый офицер его корпуса без страха и упрека и с достоинством носил и свой мундир и свои погоны.

«Таков внешний и духовный портрет одного из лучших, самых героических вождей Добрармии, идущего со своим железным корпусом по большой московской дороге, чтобы освободить иверские святыни».

В настоящее время это словоизвержение брехливого публициста можно принять за злую, но довольно тонкую сатиру.

Двойник испанских авантюристов...

Большая московская дорога...

Конечная цель — сокровища Кремля и Иверской часовни.

В самом деле, чем не портрет крупного бандита?

XIII.

МАМОНТОВСКИЙ РЕЙД.

Ни одна боевая операция не прогремела так звучно в белом стане, как знаменитый набег Мамонтова на внутренние области России. О нем много говорили и в красном стане, по которому полтора месяца бесстрашно разгуливал усатый генерал с корпусом донцов.

План этой экспедиции разрабатывался начальником штаба Донской армии ген.-лейт. А. К. Кельчевским и держался в строгом секрете. Надо отдать справедливость, до поры до времени сумели держать язык за зубами. «Полет донской стрелы», — так фигурально называли мамонтовский рейд журналисты, — ошеломил своей неожиданностью как врагов, так и своих.

В корпус Мамонтова отобрали лучшие донские конные части.

---

[1] 1-я бригада 1-й гвардейской пехотной дивизии, в которую входили Преображенский и Семеновский полки, сформированные при Петре Великом.

Дивизиями командовали наиболее известные донские генералы Секретев и Постовский.

Ближайшей целью было поставлено разрушение неприятельских баз, порча железных дорог, разгон небоеспособных резервистов, — одним словом, полный разгром красного тыла.

Но вместе с этим Мамонтов получил и другое, более эффектное, задание:

— Занять налетом Москву!

Об этом он сам поведал, после возвращения из рейда, корреспонденту «Донских Ведомостей», напечатавшему свою беседу с ним в официозе.[1]

Из среды других видных полководцев белого стана донской генерал[2] Константин Константинович Мамонтов счастливо выделялся многими положительными качествами. Он прежде всего не пил и не любил пьяниц, а уже одно это делало его уникумом.

Далее, это был военный труженик, хотя и не бог весть как образованный, но достаточно серьезный и вдумчивый.

«Он не только командир, который только управляет своими войсками, посылая в бой свои полки и дивизии, который так далеко от окопов, что становится чужд войскам. Он в их рядах, как первый между равными», — писала про Мамонтова «Донская Волна»[3] еще задолго до рейда.

Противопоставляя его другим полководцам, член Круга П. М. Агеев, один из образованнейших донских законодателей, отметил на страницах «Вольной Кубани», что Мамонтов чужд надменности, напыщенности и фразы.[4]

Этот бывший гусар, сроднившийся с казаками, в эпоху Краснова отличался на Царицынском фронте, а в период весенней кампании 1919 года прославился больше всех донских генералов. Теперь он повел донцов на Москву обходным путем, так как поход кубанцев, во главе с ген. Шкуро, большой московской дорогой не увенчался успехом.

Первое селение на территории врага, которое занял экспедиционный корпус, было Еланское Колено, в восточном углу Воронежской губернии.

Здесь, в прифронтовой полосе, казаков уже знали хорошо, но не совсем с хорошей стороны. Кроме того, здешним жителям осточертела бесконечная война, разорявшая их

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 229, от 9 октября.

[2] Не мешает заметить, что на Дону генералов пекли как блины. К началу 1920 года их насчитывалось не менее, чем во всей русской армии перед мировой войной.

[3] «Донская Волна», 1919 г., № 5.

[4] «Вольная Кубань», 1919 г., № 282.

до тла. Им хотелось только одного: замирения. Поэтому новых завоевателей они и не собирались приветствовать цветами, даже хлеб и ночлег давали нехотя.

Мамонтов не желал прибегать на первых же порах к насилиям и более или менее терпеливо отнесся к холодности «хохлов». Но на казаков и офицеров это недружелюбие подействовало удручающе.

Червь сомнения начал грызть сердца.

— Есть ли смысл итти туда, где о нас и слышать не хотят? Авантюра!

Вождь слышал эти речи и мужественно переносил их. [1]

Чем глубже заходили в Россию мамонтовцы, чем большим спокойствием пользовалось население и чем меньше сказывались на нем тяготы гражданской войны, тем спокойнее встречали казаков в городах и селах. На первых порах летучее полчище возбуждало любопытство. Потом некоторые элементы даже стали любить Мамонтова.

Не встречая почти нигде серьезного сопротивления, он забирал в плен громадные массы только что мобилизованной крестьянской молодежи, плохо понимавшей сущность гражданской войны. Куда девать пленных? Сначала их водили за корпусом. Они тащились за конницей, растянувшись на многие версты, наподобие хвоста кометы. Потом Мамонтов решил избавиться от этой обузы и начал просто распускать мобилизованных, большинство которых не без радости разбегалось по домам.

Примерно так же приходилось поступать и с неживым военным материалом врага. Чего не могли захватить и увезти сами, то раздавали населению. Толпы горожан, женщин в особенности, с волчьей жадностью хватали из складов и тащили по домам муку, сахар, белье, обувь.

При таких погромах всегда больше льется мимо, чем попадает в руки. Порою хулиганы дрались из-за какой-нибудь рубахи и разрывали ее на клочки. Разыгрывались дикие страсти, поощрялась привычка черни к потоку и разграблению.

Казаков удивляло, что население Совдепии набрасывалось на соль.

Ее насыпали в карманы, за пазуху, женщины — в подолы, мужчины — в фуражки.

— Да ведь это же, садовы головы, соль, а не сахар.

— Знаем, батюшка, что соль. Она-то и нужна нам. Изголодалась по ней наша Расея-матушка. [2]

---

[1] «Донские Ведомости», № 229. Мамонтов сам об этом рассказывал на заседании Круга.

[2] «Донские Ведомости», № 217.

Скоро среди темных, несознательных масс покатилась волна самых чарующих слухов.

— Мамонтов-то... Скорее бы пришел! Говорят, все, все казенное добро раздает народу. Все, говорит, ваше. Берите, знайте казаков: мы не такие как большевики; те от вас берут, а мы вам раздаем.

Толпы попрошаек в первую же голову окружали корпус в каждом более или менее значительном пункте.

— Дяденька, дай са›

— Дяденька, дай мучки!

Красноармейского добра казаки не жалели: полными пригоршнями швыряли сахар, как кости своре голодных собак, и, смеясь, наблюдали за возней и дракой, возникавшей при разделе подачки. [1]

Сытым и уже обремененным добычей донцам не приходило тогда в голову, что они сами очень скоро могут оказаться в положении таких же попрошаек. Через год с небольшим, на далекой чужбине, у лазурных вод Мраморного моря, они такой же жадной толпой ловили американские тряпки дрались из-за них на потеху иностранных благотворильниц. [2]

Сейчас пока они «благотворили».

Мамонтов преследовал обиды населению, но не мешал казакам и офицерам обогащаться, грабя пленных и захватывая все более ценное из казенных учреждений. Под шумок, особенно при выходе из того или иного пункта, производились довольно энергичные налеты на состоятельных лиц.

Керенки, имевшие хождение в белом стане, в казначействах набирали пачками. Скоро почти каждый мамонтовец превратился в миллионера. А сколько еще всякого добра предвиделось впереди!

— Что более всего содействовало вашему блестящему успеху? — спрашивал Мамонтова после рейда корреспондент «Донских Ведомостей».

— Невероятный подъем среди казаков. Они готовы были не спать и не есть, лишь бы итти на Москву. [3]

Москва тут была, пожалуй, не при чем. Добыча составляла главную приманку. Преимущественно ради нее «спасали национальную Россию» такие патриоты, как партизаны Шкуро и Покровского, — разные чеченцы, карачаевцы, кабардинцы.

Первый из этих героев не скрывал от публики того стимула, который движет его подчиненных к святыням Кремля.

[1] «Донские Ведомости», № 218.
[2] См. «Под знаменем Врангеля», стр. 221.
[3] «Донские Ведомости», № 229.

Самое слово «партизанить» на тогдашнем белогвардейском языке означало грабить.

Мерилом достоинства вождей являлось их отношение к зипунам.

— Шкуро, говорили, и сам грабит, и подчиненным не мешает. Мамонтов сам не грабит, но другим разрешает. Улагай ни сам не грабит, ни другим не дает.

Первый, понятно, считался идолом всех рыцарей легкой наживы. Со вторым мирились, а третий, недурной кавалерист и скромный человек, завял, не успев как следует расцвести.

Мамонтов собрал в советских банках, казначействах и церквах громадную добычу, но не для себя, а в дар всевеликому войску Донскому от его доблестных казаков. Об этом, однако, после.

Доброго генерала, так щедро раздававшего черни чужое добро, провожали с грустью. Одни — боясь, что Советская власть отберет у них подарки Мамонтова; другие, буржуазные или кулацкие элементы, — теряя надежду на блеснувший было конец Советской власти.

Экспедиционный корпус редко где задерживался более чем на три-четыре дня.

— Как, вы уходите? — уныло спрашивали казаков те, кто так усердно надеялся на них и кто не подвергся ограблению.

— Да, уходим.

— А как же мы? Мы думали...

Настроение падало. Обманувшись в своих ожиданиях, иные посылали им вдогонку крепкое словцо. [1]

— Чорт тогда вас и приносил. Лучше бы уж не лезли сюда, когда нету силы. Теперь нам придется своими боками расплачиваться за ваш приход.

Тамбов... Козлов... Потом Воронеж.

В Тамбове уничтожили железнодорожный узел.

В Козлове роздали населению громадные запасы из складов.

Здесь же в первую голову вылили на землю тысячи ведер спирту. Плакали, но выливали, исполняя приказ. Полководец понимал — если оставить спирт, через час все его спиртолюбивое воинство без боя превратится в трупы.

Под Воронежем захватили в плен видного советского работника Барышникова и его помощника.

В газетах писали, что он член совета народных комиссаров. Но этому мало кто верил. Осважные газеты очень часто захватывали в плен или задерживали в тылу то Коллонтай, то мать Троцкого с громадным количеством агитационной литературы.

---

[1] «Донские Ведомости», № 218.

Задержанных привели к самому Мамонтову.

— Дни ваши сочтены, — сказал им генерал. — Я требую от вас только чистосердечного признания. В противном случае смерть ваша будет горька.

В чем могли каяться комиссары перед белым вождем? Они разделили общую участь, выпадавшую на долю пленных ответственных работников. [1]

Известие о действиях Мамонтова в тылу красных свалилось широкой публике белого стана как снег на голову.

О затеянном предприятии никто не знал, и даже на севере Дона, где формировался корпус, не догадывались об его назначении. Перерезав фронт и нырнув в Совдепию, он словно в воду канул. Долгое время не было ни слуху, ни духу.

И вдруг, по словам поэта, всех как варом обожгло.

— Мамонтов в глубоком тылу у красных, почти у ворот Москвы, — облетела в середине августа головокружительная новость весь белый стан, от матушки Волги до батюшки Днепра.

Молниеносный генерал ухитрился даже прислать телеграмму в штаб армии:

«Дела наши блестящи. Пленных забираем тысячами. Рассеяны все резервы советской армии. Ведем бои без потерь. Все здоровы, бодры и неудержимо рвутся в Москву, скорей сокрушить комиссарское царство. Да здравствует Тихий Дон!». [2]

Общее внимание сразу приковалось к «полету донской стрелы».

При тогдашнем изумительном легковерии, при быстром переходе от одного настроения к другому, от полного отчаяния к беспредельному оптимизму и наоборот, теперь многим и впрямь начало казаться, что участь Москвы решена и песня большевиков спета.

Более серьезных и менее экспансивных людей несколько смущало сообщение о том, что блестящий успех достигается без потерь. Где же это слыхано? Что же это за бескровная победа и велика ли ее ценность?

Так или иначе, стало о чем говорить.

У журналистов появилась новая тема для блудословия и вранья. То сообщали, что Мамонтовым захвачен поезд Троцкого, то брали в плен его любимую собаку. В заключение снова арестовали, на этот раз почему-то в Батуме, мать сугубо-ненавистного наркома.

---

[1] «Донские Ведомости», № 229. Это рассказ самого Мамонтова на заседании Круга.

[2] «Донские Ведомости», № 186, от 14 августа.

Виктор Севский поспешил причислить Мамонтова к лику первоклассных казачьих героев и посвятил ему несколько страниц в своих святцах, носивших название «Донская Волна».

Точно в честь новоявленного святого, составлялись целые акафисты Мамонтову, писались его жития, не уступавшие по достоинствам и достоверности творениям митрополита Макария, автора Четий-Миней.

Новочеркасский адвокат Павел Казмичев соловьем заливался в своей «Легенде о Мамонтове», помещенной в «Донских Ведомостях».[1]

«...Есть люди, делающие бурю. Они не выносят покоя. В них заложены огромные силы, ищущие выхода в неустанном напряжении, в непрерывной борьбе и вечном кипении. Если не дать выхода этим силам, они пожирают человека. Одни спиваются, другие кончают жизнь самоубийством, третьи делают бурю. Таким человеком, делающим бурю, является Мамонтов.

«Расспросите о нем тех, кто окружал его в жизни раньше. О нем скажут: «Беспокойный Мамонтов! Неуживчивый Мамонтов. Дольше месяца не служил на одном месте. Менял службу. Менял полки. Много хлопот доставлял начальству. Много тревог своим близким. Зря ставил на карту свою жизнь и чужую. Играл смертью своей и чужой».

«И уже бессмертный... Апофеоз... Апофеоз казачества!»

«И вдруг в Козлове крики: «Казаки! Казаки!». И в Тамбове крики: «Казаки! Казаки!». В Туле крики: «Казаки! Казаки!». Где казаки? Какие тут казаки? Донские казаки. Пошли на Москву. Казаки идут на Москву, вот они, вот они.

«Вы можете себе представить, какими потрясающими раскатами грома пронеслись эти крики в мертвой тишине придушенных сел и деревень... Ведь это же чудо! Это от бога!

«Огненная легенда красными сполохами закружилась и полетела от села к селу, от деревни к деревне... Где-нибудь на краю Олонецкой губернии, ночью, кряхтя, молитвенно шепчет трепетными губами несчастный, все потерявший старик: «Слава тебе, господи! Казаки завтра здесь будут... Воля к нам пришла». А еще где-нибудь на далеком севере, в келье, монах-живописец в исступленной мечте рисует Мамонтова на белом коне в образе Георгия-победоносца».

[1] «Донские Ведомости», № 206.

Менее поэтичный Павел Михайлович Агеев характеризовал подвиг Мамонтова короче и выразительнее:

«Генерала Гусельщикова зовут генералом от побед. Мамонтов еще выше. Он, победив пространство, вместе с тем победил русского человека, его предубеждение против казака, создал казачье настроение во вражьем стане».[1]

До таких геркулесовых столпов доходило тогда самообольщение казакоманов.

«— Неужели белые генералы думают захватить Москву налетом, оторвавшись верст на двести от фронта? — сказал Троцкий», — сообщали «Донские Ведомости» со слов «Правды» в том же номере, где Казмичев канонизировал Мамонтова.

— Надо положить конец безнаказанному разбойничанью Мамонтова! — сказали наконец в Советской России,[2] после чего, в ответ на смелый набег донцов, красные нажали от Волги до Хопра.

Из Камышина, где ген. Покровский публично повесил пять комиссаров, части Кавказской армии отошли еще раньше. Теперь пришлось оборонять уже самый Царицын.

23 августа красные войска, во главе с отрядом матросов, яростно штурмовали свой павший Верден. При отбитии атаки, по словам самого командарма ген. Врангеля, пленных почти не брали: матросы, не желая сдаваться в плен, кончали жизнь самоубийством.[3]

Штурм отбили, при чем много помогли английские летчики. 1 сентября они совершили два полета в базу неприятельских гидропланов у Дубовки, где сбросили 656 фунтов взрывчатых веществ и сделали до 800 выстрелов из пулеметов.[4]

Север Дона опять дрогнул, подвергшись нашествию врага.

Опять скрипучие стаи повозок, нагруженных казачьим добром, потянулись, как журавли, к югу, порождая панику в глубоком тылу.

Радужное настроение, навеянное «полетом донской стрелы», как рукой сняло. Еще не так давно обыватели рисовали картину переполоха, который творится в Совдепии в связи с мамонтовским рейдом. Газеты писали, что Совнарком уже ведет переговоры с Китаем о предоставлении там убежища советским верхам. Писали, что народные комиссары живут в поездах, готовые бежать из России.

А теперь сами граждане белого стана дрожали как листья осины.

---

[1] «Вольная Кубань», № 282.

[2] «Донские Ведомости», № 206.

[3] «Донские Ведомости», № 198, от 29 августа.

[4] «Донские Ведомости», № 201, от 2 сентября.

Успехи добровольцев, занявших Киев, быстро перестали радовать. Мамонтова, пугавшего Москву, забыли.

В стольном городе Дона царила скука и затаенная боязнь. Ведь если наступают большевики, значит, казаки колеблются.

— Как дело на фронте? Казаки митингуют? Бросают оружие? Ведь Хоперский и Усть-Медведицкий округа заняты? — глухо шушукались обыватели.[1]

— Родной край в опасности! — панически заголосил 20 августа ген. Богаевский и объявил мобилизацию всех «иногородних» до 40-летнего возраста включительно.[2]

Впрочем он скоро спохватился, — сам или по указке других, — и 28 августа издал другой, успокаивающий приказ:[3]

«Снова, как прежде, появились мрачные слухи и сплетни о нашем положении на фронте, распускаемые трусливыми обывателями и очевидцами, о которых недаром сложилась поговорка: «врет, как очевидец». Положение на фронте, действительно, серьезно, но далеко не катастрофично. Больше бодрости и спокойствия! Обычная на войне смена успеха и временных неудач. Есть полная надежда на то, что блестящие боевые действия ген. Мамонтова в тылу красного фронта, в связи с успехами Добровольческой армии и спокойной стойкостью Донского фронта, скоро обратят временный успех красных злодеев в полное их поражение».

В этом приказе ген. Богаевский, подобно известной героине Гоголя, в первую очередь высек самого себя.

Доморощенный донской политик, член Круга, полковник генерального штаба Сисой Капитонович Бородин, тоже предсказывал близкий конец наступления красных на Донском фронте. А почему так должно быть, тому следуют пункты:

1. Нами захвачен приказ командующего 10-й советской армией Клюева, в котором он угрожает преданием военному суду начальникам дивизий за недостаточно энергичные действия в период с 14 по 19 августа (нов. ст.).

2. Прибывающие с колчаковского фронта части в боевом отношении не лучше ранее бывших частей 10-й армии.

3. Советские войска несут очень большие потери.

4. Красным командованием принимаются меры к увеличению числа красных бойцов.

---

[1] «Донские Ведомости», № 194, статья «Тыловые страхи» С. Бородина.

[2] Приказ всевеликому войску Донскому от 20 августа № 1273, «Донские Ведомости», № 194.

[3] Приказ всевеликому войску Донскому от 27 августа, № 1307, напечатанный в «Вечернем Времени», г. Ростов, № 349.

— А потому, — делал не совсем логичный вывод из этих посылок Бородин, — временный успех красных скоро превратится в поражение.[1]

Логика у Бородина вообще хромала не только в этой статье.

— Мои разъезды уже доходили до Рязани, были взяты Богоявленск и Раненбург; до Москвы оставалось 260 верст. И мы вошли бы в Москву, если бы не особые обстоятельства на фронте Донской армии, — хвастливо говорил впоследствии Мамонтов.[2]

Если бы да кабы...

Спасаясь от зажима в тиски, смелые налетчики бросились на юг, очень искусно заметая свои следы. Красное командование не всегда знало, где находится вражеский корпус, который иногда совершал переходы по 50—60 верст в сутки.

Под Воронежем, наконец, Мамонтов встретился с частями ген. Шкуро. Рейд был кончен.

Всего «донская стрела» пролетела за полтора месяца 2 040 верст.[3]

Основной цели Мамонтов не достиг. Москвы не взял налетом.

Но советские тылы изрядно потрепал.

Это ему и поставили в заслугу.

Возвращение Мамонтова на Дон напоминало прибытие триумфатора.

Громадную, ценную добычу привез он в дар войску Донскому. Чего в ней не было, — тысячи золотых и серебряных вещей, иконы в золотых окладах, церковные сосуды, жемчуг и бриллианты.

Это сокровище, официально названное «мамонтовской добычей», впоследствии за границей долгое время являлось яблоком раздора между донским атаманом и народными избранниками. Первый, однако, ухитрился завладеть золотым руном и «загнал» его итальянцам.[4]

Шестьдесят породистых коров, захваченных в совхозах, новоявленный герой принес в дар станице Нижне-Чирской, в которой он в 1918 году поднял удачное восстание против большевиков и которая избрала его за это в почетные казаки.

Ему до тошноты курили фимиам, и даже Доброволия, скупая на похвалу донских вождей, приветливо улыбну-

[1] «Донские Ведомости», № 194.

[2] Беседа Мамонтова с корреспондентом «Донских Ведомостей», помещенная в № 229.

[3] Там же.

[4] «В стране братушек», стр. 178.

лась смелому генералу. Военные авторитеты перебрали все эпизоды военной истории и нашли, что даже в эпоху гражданской войны в Американских Соединенных Штатах никто из генералов севера или юга не совершил такого отважного рейда в глубь неприятельской территории.

Художественный отдел Освага приглашал участников рейда дать правдивое и беспристрастное описание «полета донской стрелы» в глубокий тыл красных, предполагая «передать в художественных образах грядущим поколениям ряд картин беспримерного в мире рейда». [1]

8 октября героя чествовал Войсковой Круг.

Сильно загоревший во время похода, почти бурый, несколько утомленный, но крепкий, мужественный, он произвел самое отрадное впечатление на донских законодателей. Просто, безыскусственно, откровенно рассказал этот бравый усатый вояка о том, что он видел и слышал в Советской России, о том, что сделал во время рейда и т. д.

— Те элементы, — говорил он, — которые могли бы нам сочувствовать, в Совдепии сейчас придавлены, пришиблены. Надо дать им время притти в себя, отдышаться, и тогда они будут работать на нас. Сейчас же это одна грусть.

Не умолчал генерал и о том, что в прифронтовой полосе население отнеслось к казакам несочувственно:

— Не давали хлеба, давали плохой ночлег. Казаки стали волноваться. Везде я начал слышать ненавистное слово «авантюра». Лишь потом обстоятельства переменились, нас стали встречать лучше. Тогда и у казаков полились удалые песни. Слово «авантюра» заменилось словом «Москва».

— Казачьи части проявили доблесть, — продолжал генерал. — Но должен отметить и некоторую тревогу, проявляющуюся в том, что казаки поговаривают, будто бы к ним отношение не такое внимательное, как к Добровольческой армии, и что можно добровольцам, того казакам нельзя. Свое недовольство казаки высказывают в беседах между собою, но до протеста открытого не доходит. Во время моей долгой службы я всегда замечал, что казачьи части являлись пасынками. Их посылали вперед, а когда дело доходило до пирогов, то им говорили «подождите».

Круг бурно аплодировал этим словам, так как в это время Доброволия чересчур зазналась. Мамонтовских казаков, при всем восхищении перед их подвигом, «единонеделимцы» иногда вслух называли грабителями, хотя «цветные войска» «партизанили» ничуть не менее мамонтовцев.

— И когда настанет время движения на Москву, — закончил свою речь триумфатор, — когда «снежная красавица»,

---

[1] «Донские Ведомости» от 6 октября.

так назвал генерал Краснов Добровольческую армию, войдет в Москву, пусть она не забудет Дон, который, может-быть, в силу местных условий и не сможет вместе с Добровольческой армией войти в Москву. Когда же Дон Иванович явится туда истерзанный и в рубище, пусть ему будет приготовлено почетное место среди тех, кого он лелеял на своей груди. [1]

Благодарный Войсковой Круг поднес герою золотую саблю. Без конца лились приветственные речи. Представитель маленького терского казачества почтил его даже стихами, рисовавшими ужас большевиков во время набега Мамонтова, при чем каждый куплет заканчивался двустишием:

Мамонтов здесь, Мамонтов там,
Всюду он мчится у нас по тылам. [2]

В вихре торжества никто предвидеть не мог, что блестящий мамонтовский фейерверк был сигналом скорбного конца. Сокрушая тыл красных, летучий полководец более того навредил белому фронту.

Разрушительный набег, вопреки уверениям казакоманов, в Совдепии отнюдь не создал «казачьего настроения». Теперь не только прифронтовая полоса, переходившая из рук в руки, но и самое нутро России узнало казаков, позабытых после их подвигов в эпоху самозванцев. Как ни старался Мамонтов, особенно вначале, предотвращать грабежи, казаки грабили. В конце похода алчность охватила войска, вызывая преступное соревнование в пополнении кармана.

Кое-кто из населения, быть-может, ждал донцов, как избавителей. Но в движении Мамонтова увидели не серьезную боевую операцию, а лишь полет метеора, опасного для всех окружающих. Разгром казенного добра, разрушение путей сообщения, бессмысленная порча реальных национальных ценностей и под сурдинку бессовестный грабеж, — вот что видело население.

Марка спасателей отечества едва ли поднялась в его глазах выше после мамонтовского рейда.

Далее. В корпус Мамонтова отобрали лучшую донскую конницу, всего до пятнадцати тысяч. Хотя большинство людей вернулось из похода невредимыми, но конский состав при стремительном отступлении погиб почти наполовину, казаки же окончательно развратились, привыкнув к бескровным «победам» и к легкому обогащению.

---

[1] «Донские Ведомости», № 229, от 9 октября.
[2] Там же.

Вернувшись на Дон, обремененные добычей, с головой, вскруженной похвалами, они требовали отдыха, устремились в свои станицы и хутора, чтобы увезти награбленное добро. Рассказывали, что под их седлами прели пачки николаевских и керенских денег. Случалось, что пьяный мамонтовец разбрасывал на улице эти бумажки, все еще ценные в белом стане.

— Почем арбуз?

— Пятнадцать рублей.

— На двести! Знай мамонтовцев.

Их добыча возбуждала зависть у остальных и жажду поднажиться таким же образом в первой попавшейся деревне.

Еще много времени спустя, в эмиграции, где-нибудь в классической Элладе, приходилось слышать такие разговоры среди донцов:

— А у него есть монета?

— Как же... Есть и золото... Он же был в рейде с Мамонтовым.

Самого предводителя считали честным человеком, отнюдь не грабителем. Но и он кое-что скопил детишкам на молочишко. Его супруга купила в Болгарии именьице и мирно проживает под сенью лесистых Балкан.

Ген. Постовскому не повезло. Во время эвакуации у него похитили чемоданчик с драгоценностями.

Честнейший вояка ген.-лейт. А. С. Секретев, не взирая на то, что в молодости служил в гвардии, за границей не постеснялся заняться честным физическим трудом, а затем вернулся в Россию, которая приветливо приняла раскаявшегося блудного сына.

Долгое безнаказанное хозяйничанье Мамонтова в красном тылу научило кое-чему и советское командование.

«Пролетарии, на коней!» — прозвучал очередной лозунг в Совдепии, где поняли, что большие массы кавалерии, использованные более умело, действуя в связи с общим ходом операций и не повторяя ошибок Мамонтова, могут сделать многое,

Советская власть ускорила формирование 1-й Конной.

1-я Конная доканала белый стан.

XIV.

СНЕЖНАЯ КРАСАВИЦА.

В десятках газет добровольцам ежедневно пели хвалебные гимны. В них видели воплощение свято-русского богатырства, вечно юного. В них видели залог светлого будущего.

Но бойцы составляли только одну половину Добровольческой армии, которую Краснов как-то раз, не без иронии, назвал снежной красавицей. Вторая половина не воевала, а делала политику.

Войска, в сущности, представляли мало интересного, как бы их ни расхваливали журналисты. Они воевали, то-есть шли в бой по приказу начальства или удирали без всякого приказа, при случае грабили население, пьянствовали на отдыхе и мало занимались политикой.

Более или менее определенный облик этой снежной красавице придавали те политические дельцы, которые приютились за спиной «аполитичной» Добрармии.

Они, действительно, были пришельцы с севера, из страны снежных сугробов. Но политическое тело, созданное снежными людьми и именуемое злопыхателями Доброволией, редко кто признавал красавицей.

Великая, единая, неделимая...

Это звучало гордо, но неопределенно.

«Вокруг лозунга единая, нераздельная Россия образовалась какая-то туманность, — писала «Вольная Кубань». — Одни понимают это так, другие иначе. Всем нам хочется, чтобы Россия создалась снова. И все мы идем к этому. Но какая Россия — старая или новая, в этом и расходятся дороги. Пока что, поднимать Россию приходится вооруженной силой. И надо было бы нам делать все, чтобы усилить вооруженную силу, а не ослаблять ее спорами, сомнениями, взаимным недоверием. А у нас как-раз наоборот». [1]

Деникин, прикрываясь лозунгом «единая и великая», от начала и до конца твердил о внепартийности своей армии.

26 августа 1918 года, когда на Украине и отчасти на Дону еще верховодили немцы, он сказал в г. Ставрополе, при приеме должностных лиц и общественных деятелей, следующую речь:

«На ряду с восторженным подчас отношением к себе Добровольческая армия встречает порой и полное непонимание и хулу. Причин этого явления не мало: Добровольческая армия поставила себе задачей воссоздание единой, великодержавной России. Отсюда — ропот центробежных сил и местных больных самолюбий. Добровольческая армия не может, хотя бы и временно, итти в кабалу к иноземцам и тем более набрасывать цепи на будущий вольный ход русского государственного корабля. Отсюда ропот и угрозы извне. Добровольческая армия, свершая свой крестный путь, желает опираться на все государ-

[1] «Вольная Кубань», № 116, от 17 ноября 1918 г.

ственно-мыслящие круги населения. Она не может стать орудием какой-либо политической партии или общественной организации. Отсюда неудовольствие нетерпимых и политическая борьба вокруг армии, которая чужда социальной и классовой борьбы». [1]

Образованием особого совещания Деникин показал, кого он считает государственно-мыслящими кругами. В это деникинское правительство вошли: ген. Драгомиров, ген. Романовский, ген. Лукомский, кадеты: Федоров, Лебедев, Астров, Маслов, Тихменев, Челищев,[2] старые сановники: Шипов, Чебышев и Нератов.

Если не бывший царский генерал-адъютант или сенатор, то эластичный, с черносотенной прослойкой кадет, напуганный революцией.

Политическая физиономия Добfinancial Доброволии определилась сразу же в силу пословицы: скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты.

Великодержавность создавалась услуживанием Антанты, которая заверяла Деникина, что она спит и во сне видит мощную Россию.

Единение насаждалось путем грызни с казачеством и открытой враждой, даже войной с кавказскими республиками. Вступить в рукопашную с прибалтийскими лимитрофами не позволяло расстояние.

Больше всего досаждали Доброволии кубанские «хведералисты». Кубань, враждуя с Доброволией, не желала предоставлять все свои житницы в распоряжение Деникина, который крайне нуждался в хлебе для расплаты с благородными союзниками.

Подстрекаемый англичанами, Деникин прибег к довольно ловкому, эффектному, хотя и не достигшему своей цели маневру для обуздания кубанских самостийников.

2 июня, в разгар весенних успехов на фронте, в Екатеринодаре состоялся банкет в честь уезжавшего в Англию ген. Бригса, главы английской миссии, преемника ген. Пуля. Перечислив заслуги этого иностранца перед белым станом, Деникин оттенил, что Бригс вкладывал душу в дело «спасения России».

Англичанин отвечал:

— Четыре месяца тому назад, получив приказ ехать в Россию в качестве главы британской миссии, я не знал, где находится Екатеринодар. По дороге мне говорили, что Деникин реакционер. Приехав же, я убедился, что он патриот.

[1] «Вольная Кубань», № 59, от 6 сентября 1918 г.

[2] До Челищева, ведавшего юстицией, в особом совещании находился генерал Макаренко, бывший главный военный прокурор царской эпохи. См. IV главу.

Англия статую такого человека поставила бы в национальный музей, как редкий образец истинного патриотизма. Когда я приехал, положение на фронте было тяжелое. Теперь на фронте блестящие успехи, высокий дух, единение, но в тылу мелкие политиканы ведут свои интриги. Похоже, будто хороший бульдог отвоевал себе большой кусок мяса, а сзади бросаются лающие собачонки, старающиеся каждая урвать хотя бы кусочек. Для завоевания России нужно единение, танки и хлеб.

«Я со своей стороны сделал, что мог: я просил свое правительство прислать танки, а Кубань должна дать хлеб. Мои заместители, ген. Хольман и Фриментль, будут энергично работать здесь на пользу русской армии; сам же я теперь могу принести больше пользы вашему делу в Англии, чем здесь.

Банкет близился к концу.

Деникин взял карандаш и написал записку председателю особого совещания ген. Драгомирову, прося его сказать речь в честь заместителя Бригса, ген. Хольмана, при чем намекнул, что потом и сам хочет кое-что сказать.

Когда Драгомиров кончил приветствие Хольману, Деникин, держа перед собой лист бумаги, неожиданно встал и прочитал:

«Приказ главнокомандующего вооруженными силами юга России от 30 мая 1919 года, № 145. Бессмертными подвигами Добровольческой армии, кубанского, донского и терского казачества и горских народов освобожден юг России и русские армии неудержимо движутся вперед к сердцу России. С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами русских армий, с верой, надеждой и любовью. Но, на ряду с боевыми успехами, в глубоком тылу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останавливающееся перед расчленением великой, единой России. Спасение нашей родины заключается в единой верховной власти и нераздельном с нею едином верховном командовании. Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой родине и ставя выше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку, как верховному правителю русского государства и верховному главнокомандующему русской армией. Да благословит господь бог его крестный путь и дарует спасение России».

В первый момент все русские остолбенели от изумления. Махровые реакционеры, боявшиеся сибирского либерализма, смекнули лишь спустя несколько минут, что означает эта история с подчинением Колчаку, который находится за тридевять земель и за столько же морей.

Громовое «ура» огласило зал.

— В эти исторические минуты мы чувствовали себя в буквальном смысле слова потрясенными, — говорили члены особого совещания, расходясь с банкета.[1]

Про настроение притаившихся меньшевиков и эс-эров «Донские Ведомости» писали:

«С чувством удовлетворения встречен приказ в социалистических кругах, которые склонны были отнестись с большим доверием к сибирскому правительству, чем к особому совещанию».[2]

На кубанских вожаков приказ произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Правительство и Рада поспешили собраться на экстренное заседание.

А Деникин, чтобы торжественнее оттенить акт своего «патриотизма», воспетого ген. Бригсом на обеде, назначил на соборной площади парад войскам и благодарственный молебен.

— Юг соединился с востоком в одно целое, — сказал он войскам. — Все силы, которые стоят на пути, как препятствующие к единению России, будут сметены в прах колесом истории.

Члены кубанского правительства и Рады не присутствовали на этом торжестве.

— У нас есть кубанская конституция, и изменение ее без санкции Рады с нашей стороны было бы актом революционным и было бы равносильно перевороту, — сказал тогдашний глава кубанского правительства Курганский, сменивший Быча.[3]

Зато на Дону, который с воцарением бывшего свитского генерала Богаевского и кадета Харламова обнаружил сильный уклон к подчинению Деникину, «патриотический» акт последнего встретили доброжелательно. «Донские Ведомости» писали в передовой:[4]

«Генерал Деникин признал адмирала Колчака верховным правителем России. Это признание указывает на непоколебимость и уверенность, на единение и согласие всех борющихся с красной властью сил. Свершилось! Уже одно наличие, одно даже наименование верховного правителя России подействует на самую психику общества и народа особым образом: все и повсюду почувствуют, что страница истории перевернулась, и начинается новая глава. Зловеще и панически будет, несомненно, действо-

---

[1] «Донские Ведомости», № 127, от 4 июня 1919 г.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.

вать это имя на красную власть и ее приспешников, бодряще и утешающе на всех русских граждан, томящихся под этой властью. Но не забудем, что акт ген. Деникина есть не только акт политической дальновидности, но и нравственно высокий акт личного величия и благородства, которым главнокомандующий подает высокий пример гражданской совести всех, кто действительно любит единую и великую Россию».

«Единонеделимцы» уже считали Россию спасенной.

Н. Львов писал в «Великой России»: [1]

«Мы получили, наконец, единую, всероссийскую, национальную власть, и все величие этого события не во внешнем блеске и внешней славе, а в той простоте, в которой это совершилось. Одним порывом благородного сердца Россия вдруг спаялась в одно неделимое целое. Мы получили власть, не силою нам навязанную, осуществленную не захватом «честолюбия, а бескорыстным признанием ради блага России».

Александр Яблоновский тоже славословил Деникина в «Утре Юга». [2]

«Вы помните, что говорили и сейчас говорят в красной Москве: подождите, дайте срок, придет пора и заговорят генеральские честолюбия; мы еще увидим, как воинство Деникина устремится на воинство Колчака. И вот пришла пора, и мы услышали только эти прекрасные и гордые слова: «Счастье России — выше всего». И заметьте: это было сказано среди громких и беспрерывных побед».

Существо дела, однако, нисколько не изменилось от акта 2 июня и никаких реальных результатов он не дал и не мог дать. Колчак находился очень далеко. Сношение с ним происходило через Западную Европу. В Екатеринодаре только через месяц получили ответ от Колчака в виде его приказа от 24 июня. Сибирский правитель России назначал Деникина своим заместителем, но с оставлением в занимаемой должности, при чем предусмотрительно добавил, что если в момент смерти или болезни верховного правителя заместитель будет отсутствовать, то власть переходит к председателю совета министров, который обязан как можно скорее вызвать заместителя. [3]

Кроме обмена пустословными приказами, от 30 мая и 24 июня, более ни в чем другом не выразилась связь между югом и востоком, о которой так восторженно говорил Деникин на параде.

---

[1] Выдержка, помещенная в «Донских Ведомостях» от 9 июня № 132.
[2] То же.
[3] «Донские Ведомости», 1919 г., № 164.

Грызня с кубанцами не умолкала. Грозное имя верховного правителя России и присутствие в Екатеринодаре его заместителя не заставили самостийников склонить выю перед «единонеделимцами». Как бы в ответ на их вызов, Рада избрала комиссию для обсуждения вопроса о скорейшем сформировании Кубанской армии, на манер Донской, подчиненной Деникину только в оперативном отношении.

Разогнать Раду деникинское правительство не решалось, чтобы не прослыть врагами представительного строя и чтобы не внести смуту в умы кубанских казаков. Кубанцы лениво и неохотно шли на фронт. Разгон Рады, к которой низы относились равнодушно, если не презрительно, дал бы им законный повод уклоняться от призыва в войска Деникина, не уважающего Кубань.

Расправу с Радой отложили до более удобного времени.

Среди казачьих политиков давно уже бродила мысль о создании южно-русского союза, государственного образования, состоящего из казачьих и горских областей. Закавказские республики теперь декларировали свое полное отделение от России, поэтому с ними не могло быть разговора. Зато выросла Добровольческая армия, с которой приходилось считаться.

В связи с актом 2 июня мысль об южно-русском союзе теперь опять оживилась. Созвали конференцию, на которую были приглашены и представители Доброволии.

Казачьи политики рассчитывали, что объединенное казачество, в случае ниспровержения большевиков, легче отстоит свои казачьи привилегии и казачью государственность. «Единонеделимцы» пошли на конференцию, но всячески тормозили ее работу, выжидая падения Москвы, когда они будут уже не совещаться с казаками, а диктовать им свою волю.

При полной непримиримости двух идеологий, при отсутствии такта и политической проницательности у тех и других — игра не стоила свеч.

Казачьи делегаты сразу же начали критиковать акт о признании Колчака. Учитывали дальность расстояния, отсутствие единого фронта, а также необъятность сибирских пространств и крайнюю разжиженность населения, отсутствие мало-мальски развитой фабрично-заводской промышленности, крайнюю бедность в отношении путей сообщения и вообще недостаточную солидность базы, на которую опирается Колчак.

— А самое главное, — говорили на конференции, — почему казачество не может признать Колчака верховным

правителем, это то, что природа и сущность его власти никому неизвестны. [1]

Деникин, не видя проку от конференции, устраивал совещания с атаманами и через них старался фактически властвовать и в казачьих областях.

О Колчаке скоро забыли, особенно когда Деникин отдал приказ двигаться на Москву, а не на соединение с Колчаком. Реакционеры и честолюбцы успокоились: занятие Москвы Деникиным, находившимся в их руках, ранее Колчака обеспечивало им первенствующую роль в будущем обще-русском правительстве.

Деникин еще весной издал декларацию о тех целях и задачах, которые преследует Добровольческая армия. Но тут все было сказано так туманно, так расплывчато, так загадочно, что приходилось поневоле становиться втупик, старый или какой-нибудь новый режим несут добровольцы на своих штыках.

Неясность и неопределенность звучала в программах почти всех белых спасателей России. Колчак в своем приказе от 21 августа 1919 г. писал: [2]

«По сведениям, доходящим до меня, многие из наших солдат не знают, какие цели мы преследуем в борьбе против большевиков, которую мы будем продолжать, пока не достигнем полной победы. В виду сего я приказываю сообщить: мы сражаемся за русское народное дело».

Далее в приказе пояснялось, что это за русское народное дело, но пояснялось так, что уже окончательно никто ничего не мог разобрать.

В 1919 году Деникин об учредиловке более не говорил, а как-то раз заикнулся о «многогранной воле русского народа, выявленной в представительных учреждениях».

— Это еще что за штука?—недоумевала Рада. — В апреле 1918 года Деникин определенно говорил о том, что Добровольческая армия борется за Учредительное Собрание. Зачем же теперь всем ясный термин заменен другим, крайне расплывчатым и непонятным? [3]

Заместитель Драгомирова, ген. Лукомский, не постеснялся уведомить кубанских законодателей о том, что теперь обстоятельства изменились и «мы не находим удобным выкинуть лозунг Учредительного Собрания». [4]

Итак, чем ближе подходила к своей цели Доброволия, тем более отмежевывалась она от всяких демократических идей.

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 168.
[2] «Донские Ведомости», № 186.
[3] «Вольная Кубань», № 170, речь Воропинова.
[4] Там же.

Наконец, 31 июля Деникин прямо заявил в Ростове.

— Революция безнадежно провалилась.

Истинная сущность великой и неделимой теперь расшифровалась с возможной полнотой.

«Аполитичная», «внепартийная», отрицавшая революцию, даже февральскую, с ее детищем — учредилкой, управляемая кадетами и царскими генералами, Добровольческая армия не могла не распевать «Боже царя храни». Монархический дух веял как над фронтом, мало занимавшимся политикой, так и над политиканствующим тылом этой грандиозной организации.

Восстанавливались старые полки, с прежним офицерским составом, кичившимся блестящей формой, царскими вензелями и лихими традициями. Служба в белом стане рассматривалась как служба царю и отечеству; смерть от красноармейской пули или штыка считалась смертью за царя.

Так, например, в № 270 «Великой России», от 31 июля 1919 года, можно прочесть траурное объявление:

«Командир и офицеры 1-й ген. Маркова батареи извещают о смерти их бывшего сослуживца поручика Николая Ивановича Галицынского, павшего смертью храбрых за веру, царя и отечество».

Другой раз объявлялось еще яснее:

«Стрелки императорской фамилии извещают, что погребение убитого в бою 2 июня полковника князя Ник. Ар. Ухтомского состоится в субботу 8 июня».[1]

Совсем как в Вандее: императорско-христианская армия!

Черносотенцы и их пресса пользовались исключительным вниманием правящих, кадетских кругов. Борис Суворин воспитывал добровольцев в идеях своего «Вечернего Времени». Его газета вместе с «Великой Россией» Шульгина являлись негласными официозами Доброволии.

Обе газеты дружно провоцировали всех инакомыслящих и очень скоро достигали цели.

«Короленко пишет, Зарудный говорит, «бабушка» едет!» — поднимали вопль суворинские и шульгинские молодцы.

В. Г. Короленко, тотчас же после беседы с начальником контр-разведки полк. Л. Щучкиным, переставал писать против добровольческих погромов. Харьковские лекции А. С. Зарудного, скорбевшего о временном правительстве, в котором он занимал пост министра юстиции, мигом приостанавливались. «Бабушка» (Брешко-Брешковская) ехала, ехала, да так и не могла добраться до своей внучки, снежной красавицы.

---

[1] Выдержка из «Великой России», помещенная в № 124 «Вольной Кубани» от 8 июня 1919 г.

Поклонники «бабушки» писали, что она, прибыв на юг России, вместо отдыха, займется большой культурно-просветительной работой. Большевики подхватили это известие и с иронией писали, что «бабушка» будет обучать политграмоте солдат Деникина.

Зубоскалы немедленно сочинили каламбур:

— Как сделаться дедушкой русской революции?

— ? ? ?

— Жениться на бабушке.

— Внучка готовила для «бабушки» шомпола.

— Бабушке захотелось козлика, а от козлика остались рожки да ножки! — издевались суворинцы.

Иногда властям приходилось для виду умерять монархический пыл «общества», особенно офицерства. Так черноморский губернатор запретил в общественных местах исполнение преображенского марша. Правда, это случилось уже в декабре, когда дело Доброволии определенно проваливалось.

Но вообще в Новороссийске, где жило не мало иностранцев, приходилось держать ухо востро. Европа ведь как-никак — демократическая! Ее общественное мнение осудило бы помощь явным русским реакционерам. Маклаков 12 марта 1919 года телеграфировал кубанскому атаману из Парижа:

— «Без широкого осведомления Европы о действительном характере борьбы с большевиками, чуждой реакционного плана, трудно надеяться на реальную помощь союзников и трудно привлечь симпатии широких демократических влиятельных кругов к делу помощи юга России». [1]

Если бы не Европа, ради которой приходилось несколько маскироваться, в Доброволии, быть-может, давно прозвучал бы ясный и определенный клич:

— За веру, царя и отечество.

Пока его скрывали под маской расплывчатых обещаний, Европе же втирали очки.

Ни в чем так не выразилась реакционность особого совещания, как в земельном вопросе.

Оно издало приказ, который признавал право собственности на землю за прежними владельцами (помещиками) и лишь допускал фактическое владение новых, на условиях аренды, с уплатой помещику трети урожая.

Главноначальствующий в Новороссии ген. Шиллинг доносил Деникину, что в признании прав старых владельцев крестьяне видят акт, знаменующий восстановление

[1] «Вольная Кубань» 1919 г., № 62. Эта телеграмма была оглашена в заседании Рады 15 марта.

старых порядков, полагая, что если утраченное право сегодня восстанавливается в частности, то постепенно восстановится и в целом. [1]

Действительно, помещики во многих местах явились в свои имения и начали хозяйничать по-старому. Им содействовала как полиция, так и многочисленные войсковые, преимущественно кавалерийские части, формировавшиеся в тылу из всякого сброда, но под командой офицеров-дворян, помещичьих детей. [2]

В Екатеринодаре даже организовался всероссийский союз земельных собственников для защиты своих классовых интересов.

Заседания его происходили не где-нибудь, а в управлении общества всероссийского красного креста, главного пристанища всех обездоленных революцией бар и бюрократов. [3]

Под самым носом у Деникина помещики хозяйничали почем зря.

«В селе Владимирском, Ставропольской губернии, — сообщал «Приазовский Край» в конце 1919 года, [4] — безземельные крестьяне до сих пор не могут сговориться с помещиком Б. А. Юрьевым об аренде, несмотря на энергичное вмешательство в это дело военного губернатора. Губернатор разрешил владимирцам засеять 3 000 десятин земли из угодий Юрьева, но за плату по соглашению с владельцем. Юрьев затягивает переговоры назначением неимоверных арендных ставок, сам же не засевает ни одной десятины».

В Ставропольской губернии, в связи с восстановлением помещичьих прав, вспыхнуло восстание в восемнадцати селах.

Уже в первых числах июня, то-есть почти в начале похода на Украину, Деникин вынужден был охлаждать аппетиты помещиков.

«По дошедшим до меня сведениям, — телеграфировал он командармам, — вслед за войсками при наступлении в очищенные от большевиков места являются владельцы, насильно восстанавливающие, нередко при прямой поддержке воинских команд, свои нарушенные в разное время

---

[1] «Донская Речь», г. Ростов, 1919 г., № 28.

[2] Офицерский состав кавалерии в царское время пополнялся большей частью детьми помещиков, уже с малых лет привыкшими в своих имениях к верховой езде. Неимущие офицеры в кавалерии не могли служить в виду разорительных традиций, дорого стоящей формы и т. д.

[3] «Великая Россия», 1919 г., номер от 20 июня.

[4] «Приазовский Край», 1919 г., № 232.

имущественные права, прибегая при этом к действиям, имеющим характер сведения личных счетов и мести. Приказываю такие явления в корне пресекать и виновных привлекать к строгой ответственности».[1]

Чтобы как-нибудь урегулировать взаимоотношения между прежними и новыми владельцами земли, особое совещание разработало законопроект, по которому крестьяне должны были сдавать причитающееся помещикам сено через военное начальство. Это последнее, обращая сено для потребностей армий, обязывалось производить денежный расчет с помещиками.

«Теперь Шкуро, Покровский и другие генералы обратятся в настоящих помещичьих конторщиков», — иронизировала «Вольная Кубань», выражавшая пожелание, чтобы Деникин не утверждал этого закона.[2]

Деникин неоднократно заявлял, что его цель — создание такого порядка, при котором всем жилось бы хорошо. Этот порядок он водворял наверху — с помощью особого совещания, а на местах — при посредстве губернаторов и прежней полиции, переименованной в государственную стражу.

Когда появился приказ Деникина о назначении губернаторов в ряд городов, частью еще и не завоеванных, публика широко раскрыла глаза. Воскресшие мертвецы! Знакомые все лица...

Те самые, которые усердствовали по разуму и не по разуму батюшкам-царям...

Камергеры, шталмейстеры, гофмейстеры...

Тверской... Римский-Корсаков... Борзенко...

Даже самые благонамеренные неполитики увидели, что восстановление старого режима идет чересчур уже быстрым темпом. Отважные газеты поспешили разъяснить обществу необходимость этой меры.

Губернаторы занялись весьма энергично формированием соответствующих чиновничьих штатов. Тут желающих нашлось более, чем нужно. Но старые бюрократы искали старых же, испытанных работников-бумагоедов.

В Черноморской и Ставропольской губерниях существовали военные губернаторы. Они подбирали администрацию в уровень с собой: или гвардейских «жоржиков» или «первопоходников», привилегированное сословие Добровольческой армии.

---

[1] Эта телеграмма объявлена в приказе Донской армии и флоту от 10 июня за № 209, напечатанном в «Донских Ведомостях» в № 141 от 20 июня.

[2] «Вольная Кубань», № 150.

Большинство последних были больные люди, измученные в беспрерывных боях, взвинченные кокаином или алкоголем, несчастные жертвы войны, не способные к серьезной работе. Их, в виде награды за подвиг и ради отдыха, штаб Деникина охотно назначал на тыловые должности.

Административная деятельность таких нравственных и физических калек впоследствии несомненно будет предметом специального исследования врачей-психиатров.

«В военно-гражданском управлении эти люди воскрешают мрачные времена самодержавия, — писала газета «Наш Путь» (статья «Об истребителях большевиков» А. Панкратова). — В Туапсе, управляемом также чинами армии, нельзя говорить в газете об Учредительном Собрании и даже произносить слово «выборы». Некоторые приходят от большевиков с раскаянием, но им мстят. Их товарищи узнав об этом, бьются в рядах красных до конца».

«А только вы не судите нас строго, — рассказывал автору этой статьи под Майкопом один поручик. — Разве мы там, на позициях, люди? Волки, самые настоящие шакалы. Я три года провел на той, большой войне и чувствовал все-таки себя человеком. По крайней мере, ни разу не забыл, что я человек. А тут забыл... Иногда колешь штыком, на минуту остановишься и задумаешься: человек я или зверюга? Образ человеческий теряем... Не судите нас... На большой войне мы штыковые схватки наперечет помним. Одна, две, три — и достаточно... Годы о них рассказывать. Только и помним их, а остальное на той войне было такое серое, обыкновенное: сидим и постреливаем; убиваем или нет, — не знаем, не видим. А знаете, что здесь происходит? Здесь ад. Здесь то, от чего можно умереть, увидевши раз. Мы не умираем, потому что привыкли и совершенно убили в себе человека. Мы пять месяцев под ряд, ежедневно, ежечасно, идем штыковым строем. Только штыковым, ничего другого. Понимаете, — пять месяцев видеть ежедневно, а то и два — три раза в день, врага в нескольких шагах от себя стреляющим в упор, самому в припадке исступления закалывать нескольких человек, видеть разорванные животы, развороченные кишки, головы, отделенные от туловищ, слышать предсмертные крики и стоны... Это непередаваемо, но это, поймите, так ужасно. А между тем все это стало для нас обыкновенным. Я в воде вижу постоянно кровь, — и пью. Иду и замечаю, что пахнет кровью или трупом, а мне все равно. Когда я почувствую на своей груди штык, я не испугаюсь. Это так для меня обычно. Я даже знаю, какие боли от штыка. Иногда, когда безумно устанешь, мысли в голове нет, а нервы дрожат, как струны, безумно хочется этого штыка

или пули. Все равно, ведь рано ли, поздно ли... Разве можно уцелеть в этой войне? Да! Нет, не судите. Мы шакалы и война эта проклятая — шакалья».[1]

Сплошь и рядом этакие, явно патологические, типы попадали, вместо богаделен, приютов и лечебниц, на административные должности. Что могло ожидать от них мирное население? Какие «новые» порядки могли проводить они в жизнь?

«Нас упрекают, что мы не желаем участвовать в общегосударственных повинностях, — писал в «Вольную Кубань» корреспондент из Черноморской губернии. — Но мы не желаем участвовать в строительстве такого государственного аппарата, в котором опять будет загон, а мы скот. В плетении кнута для собственной спины мы не желаем принимать участия. Приемы управления на побережьи, первые шаги власти дают нам полное право думать, что нам уготавливается неслыханное рабство. Правда, мы читаем речи, произносимые ген. Деникиным то в одном, то в другом месте; мы читаем его обращения к нам, крестьянам и рабочим, но и речи и обращения мы расцениваем по тем формам и методам управления, от которых на наших собственных спинах появились уже сиво-багровые полосы. — Нас стараются убедить, что все беды от революции, что вот, дескать, в старом все было так хорошо, что Россия и сильна была, и занимала определенное место среди других народов и нам всем жилось так прекрасно. — Большинство из нас переселенцы Каменец-Подольской, Киевской, Херсонской и Полтавской губерний — ус у нас длинный, хохлацкий и все эти разговоры мы на него наматываем, а сами думаем:

«Брешете вы, хлопцы, та ще й здорово».[2]

В центре, в правительственных учреждениях Доброволии, пристроилась соль земли русской — обломки первенствующего сословия. Пока бойцы не отвоевали им их вишневых садов, они прохлаждались в сени разных канцелярий.

Очень милую картинку мирного жития в одном из деникинских учреждений нарисовала «Вольная Кубань», выяснив, кому в Екатеринодаре жить хорошо.[3]

«В Екатеринодаре, на Кирпичной улице, стоит бывшая женская гимназия. Директором этого приюта,—тьфу, начальником управления, ибо это управление отдела продовольствия особого совещания, — состоит в высшей степени любезный человек г. Маслов. Он не любезен только к нашим

---

[1] Эта статья перепечатана «Вольной Кубанью», № 145, 1919 г.

[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 160; В. Васильев. «С Черноморского побережья», письмо 1-е от 7 июля.

[3] «Вольная Кубань», № 152, от 2 июля 1919 г.

храбрым командирам корпусов, дивизий и других боевых единиц, ибо это его перу принадлежит законопроект о превращении ген. Шкуро, Врангеля, Май-Маевского и др. в помещичьих приказчиков, ибо на них он хочет возложить расчеты с помещиками за собранное в этом году сено.

«Но г. Маслов, имеющий намерение заложить начальникам боевых частей за ухо карандаши и дать в руки, вместо остроконечной шашки и револьвера, приходные книги по помещичьим имениям и счеты, ко всем невоенным и нефронтовым, наоборот, очень предупредителен.

«Его штат служащих составляют дамы, и какие! Зайдите в его управление. Вы увидите там не меньше дам, чем увидел Чичиков на губернаторском балу, и услышите фразы: « — Графиня! Не откажите переписать на машинке эту бумагу. — Княгиня, не будете ли вы так любезны достать дело № 123456-А. — Баронесса, не составит ли для вас труд дать справку по бумаге № 98765-Б. — Ваше высокопревосходительство! Вы ошиблись: ведь это входящая бумага, а вы записали ее в исходящий журнал».

«Ну, слава богу, — скажет читатель, — значит графини и княгини начали зарабатывать себе хлеб!» — «И не только хлеб, подхватим мы, но и сахар, и спирт, и вино».

«Управление продовольствием. Цель существования этого учреждения лаконически выражена в самом его названии. Кого же оно продовольствует? Армию? Но у армии есть начальник снабжений, который исполняет свои обязанности. Население? Но ни жители Екатеринодара, ни население Кубанского края ровно ничего не получили и не получат от этого учреждения. Население освобожденных областей? Но заготовка продовольствия на Кубани находится в руках кубанского краевого правительства, и мы ничего не знаем о параллельных закупочных операциях управления продовольствием.

«Продовольственные органы мы привыкли видеть как центры заготовки и распределения продуктов питания среди населения и армии. В данном же случае мы встречаемся с особой разновидностью, до сих пор небывалой: управление продовольствием есть орган и получающий, и потребляющий.

«Спросите раненых, спросите фронт, спросите тыл, спросите население, давно ли они видели сахар и ощущали его вкус. Увы, ответ будет самый плачевный. Но спросите любого из многочисленных служащих управления продовольствием, и они ответят, что получают по пуду на человека в месяц. Сладко живется в отделе продовольствия. Но не только сладко, а и весело, ибо все служащие еже-

месячно получают спирт, вино и другие недосягаемые для раненых, больных, для бойцов вещи. Мы только рекомендуем г. Маслову изменить название. «Отдел продовольствия служащих управления особого совещания» — это было бы вернее и не вводило бы в заблуждение».

Безвременно погибшая военная молодежь и старый царский хлам, вот тот материал, с помощью которого снежная красавица создавала благодетельные для всего русского народа порядки, обещанные широковещательными декларациями ген. Деникина.

XV.

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ ЯЗВЫ.

Достоинство всякой власти заключается в умении добиться исполнения своих распоряжений, исполнения действительного, а не на бумаге.

Носитель власти может обладать большой волевой силой, может в отдельных случаях жестоко карать за неисполнение своих приказов. Но если среда исполнителей дрябла, бюрократична, не чиста на руку, не проникнута сознанием гражданского долга и безответственна, то все благие веления власти обращаются в пустой звук.

Белому стану не везло как по части верховных руководителей, так и по части исполнителей их воли.

Краснов был более или менее сильной личностью; Деникин так себе; Богаевский и Филимонов — полные ничтожества. Все они издавали законы и приказы, подчас очень грозные, для истребления разных злоупотреблений и бесчиний, но из их бумагомарания не выходило никакого проку. На фронте они иногда имели успех над советскими армиями, но в борьбе с язвами фронта и тыла терпели поражение за поражением.

«Надо, чтобы население уважало закон, а для этого необходимо заставить исполнять закон своих подчиненных передатчиков и проводников велений власти. У нас этого нет, потому что у нас не все благополучно, потому что у нас тыл подобен клоаке грязной и зловонной, заглушающей своим ядовитым испарением святое дыхание возрождающейся России». [1]

Так писал в «Великой России» старый нововременец Ксюнин по поводу непретворившихся в жизнь приказов Деникина о борьбе с дезертирством и другими язвами. Бичуя тыл, он бичевал остов, фундамент той великой

[1] «Великая Россия», № 347, от 15 ноября 1919 г.

и неделимой, которая создавалась Деникиным. Ведь здесь находился «мозг страны» — достохвальная интеллигенция; здесь помещались высшие штабы и сосредоточивалось все управление; сюда стекались для работы все те «честные люди», которые не могли мириться с порядками большевиков; здесь верховодили бывшие и будущие вершители судеб России, задавшиеся целью облагодетельствовать весь русский народ.

И вдруг клоака... Следовательно, тот материал, из которого вылепливали здание единой и великой, носил явные следы болезненного гниения.

Самым больным местом белых армий являлось пополнение их людским составом. Мобилизации производились беспрерывно; но процент уклоняющихся достигал колоссальных размеров.

С фронта в тыл стремление было неудержимое; на фронт никто не рвался. Тыловые военные и полувоенные учреждения разбухали, как рис в кипятке. Фронтовые части страдали хроническим худосочием.

Принимать активное участие в «спасении отечества» желающих было очень мало.

Чтобы судить о том, с какой охотой воевали, например, казаки, стоит просмотреть только несколько документов. Так, в приказе Донской армии и флоту от 13 июня за № 230 [1] приводится поименный список казаков, бежавших в мае из команды пополнения для 1-й донской конной дивизии. Тут перечислено свыше ста человек, что составляло не менее 30—40% всей команды. И это в период удачного наступления, когда замечается общий порыв, так как враг бежит и представляется тысяча случаев обогатиться на его счет!

Донской Войсковой Круг ввел порку за уклонение от военной службы, за дезертирство и т. д. В Ростове сформировался даже особый военно-полевой суд, разбиравший эти дела. Начальник гарнизона ген. Тарасенков, для острастки населения, чуть не ежедневно печатал приговоры этого суда в «Приазовском Крае». Возьмем выдержку из первого же попавшегося под руку № 180 (за 1919 г.) этой газеты:

«Бурмас Александр за неявку после болезни в свою часть приговорен к шестидесяти ударам розог. Черняев Харлампий за неявку после болезни на призывной пункт, подвергнут пятидесяти ударам розог. Голонос Павел за то, что, возвратившись из плена и не имея документов, не явился на призывной пункт, в виду чистосердечного

---

[1] Напечатан в «Донских Ведомостях», № 141, от 20 июня 1919 г.

признания и ранения, — приговорен к двадцати пяти ударам розог...»

И так далее, и так далее.

Пороли казаков, пороли крестьян, пороли ростовских чернорабочих. Но никого другого. Точно одни представители низов числились в «нетях»; точно верхи общества свято исполняли свой долг перед великой и неделимой.

Но как ни пороли чернь, тысячи, десятки тысяч дезертирских спин не только не испытали прикосновения розог, но даже не считали нужным прятаться. Развращенная старая администрация за хорошую мзду закрывала глаза и не видела даже у себя под носом беглецов с фронта. Хутор Дращинский, например (Майкопского отдела Кубанской области), оказался переполненным дезертирами, к числу которых принадлежал и сам хуторской атаман Ткаченко.

Окружный атаман Черкасского округа ген. Г. П. Янов («Жорж») возмущенно писал в приказе от 5 июля за № 186:

«По имеющимся у меня сведениям, в округе, несмотря на принимаемые меры, продолжает укрываться от военной службы под тем или иным предлогом значительное количество воинских чинов, как подлежащих призыву в войска, так и бежавших из частей Донской армии. Этот преступный элемент находит у населения вверенного мне округа если и не благожелательное, то во всяком случае безразличное к себе отношение, при чем такое положение усугубляется попустительством станичных, волостных, хуторских и поселковых атаманов. Между тем долг каждого гражданина, а тем более выборной власти, обязывает принять все меры к изъятию из своей среды этих негодяев».

«Легальное» дезертирство в белом стане облекалось в тысячу разных форм, порою довольно оригинальных.

Такова была, например, запись во вновь формируемые части.

В Добdrоволии существовала мания к новым формированиям со старыми названиями. Считали, что стоит войсковой части присвоить какое-нибудь славное боевое имя, например, Фанагорийский гренадерский полк (любимый суворовский), как весь зачисленный в него сброд моментально превратится в чудо-богатырей. Доблесть и отвагу ставили в зависимость от выпушек, бантиков, петличек, изодранных знамен, бравурных маршей.

Формированием ведали нередко разные аферисты, набивавшие карман на выгодном деле. Офицеров всегда находилось достаточно, даже старых кадровых того самого полка, который возрождался. Насчет солдат дело обстояло

слабо. Благодаря невероятному дезертирству, едва удавалось затыкать дыры на фронте, вследствие чего формирование новых частей замедлялось. Некоторым из них так ни разу и не удалось понюхать пороха.

В газетах того времени кишмя-кишели объявления на манер такого, напечатанного в «Донских Ведомостях», в № 166 от 20 июля 1919 года:

«В формируемую запасную сотню туземного конного дивизиона нужны офицеры, кавалеристы, юнкера, вольноопределяющиеся и охотники. Запись производится в Новочеркасске, Платовский проспект, д. № 59-а».

В составе Донской армии возрождались лейб-гвардии Финляндский и Московский полки, Мариупольский гусарский, Клястицкий гусарский и т. д.

Что из себя представляли эти полки по своему составу, видно хотя бы из примера Мариупольского гусарского полка, для которого кое-как удалось сформировать два эскадрона. По словам «Донских Ведомостей» тут служили добровольцы-партизаны, донские, кубанские и терские казаки, кабардинцы и бывшие солдаты регулярной кавалерии.[1]

Формирование л.-гв. Финляндского полка началось в станице Бесергеневской с приобретения музыкальных инструментов и найма музыкантов, чтобы услаждать за обедом слух кучки офицерского кадра. Не получив во-время жалованья, хор разбежался, прихватив в виде залога казенные инструменты, и нанялся в какой-то подобный же блестящий полк.

Вот в такие-то части валом-валили дезертиры, учитывая, что хотя их и должны двинуть на фронт, но улита едет — когда-то будет. Командиры, нуждаясь в людях, принимали всякого, кто ни приходил, и не особенно строго следили за документами.

«За последнее время, — писал 31 мая 1919 года донской атаман в приказе № 872, — наблюдаются случаи зачисления в части войск, учреждения и заведения военного ведомства казаков других частей, выбывших из них по различным причинам, при чем зачисление это происходит без ведома и согласия начальников частей, из которых казаки эвакуированы. В эту категорию входят и казаки, самовольно оставившие части. Зачисляясь в тылу, эти казаки думают, что они, будучи уже зачислены в новые части, тем самым искупают свою вину — самовольное оставление частей. Приказываю немедленно откомандировать таких людей в свои части. В случае повторения подобных явлений, на начальников буду накладывать взыскания».

---

[1] «Донские Ведомости», № 161, от 14 июля.

Иногда находились такие ловкие предприниматели, которые начинали формировать отряды с исключительной целью наживаться от зачисления в них дезертиров. Так, в ноябре 1919 года ростовская городская стража задержала субъекта, подозреваемого в уклонении от военной службы. В участке он заявил, что состоит во вновь формируемом партизанском «славянском» отряде, хотя по национальности принадлежит к чистокровным русским. Организатор отряда, г. Стоянович, явился в участок хлопотать об освобождении арестованного. Стража заинтересовалась, где же казармы этого отряда, к какой армии, Донской или Добровольческой, он причислен, кто дал разрешение на формирование и т. д. По расследовании оказалось, что «славянский» отряд — миф, что солдаты этой части сражаются в игорных притонах, производят разведки на бирже, ведут хозяйственные операции в кафе «Ампир», притоне спекулянтов [1] и т. д.

Второй вид легального дезертирства состоял в зачислении на мнимую службу в предприятия, работающие на оборону. К нему прибегали, по преимуществу, ремесленники и торговцы, те элементы города, которые, по словам члена Круга П. М. Агеева, имели «золотой ключ» для освобождения их от призыва.

Генерал Богаевский, в приказе от 22 октября 1919 г. за № 1681, отметил и это явление:

«Предприятия и учреждения, работающие на оборону, принимают не только военно-обязанных, но и явных дезертиров, подлежащих преданию военно-полевому суду. С грустью подчеркиваю этот невероятный по своей смелости факт! Это делается тогда, когда налицо имеется свыше десяти тысяч военнопленных, которых правительство предлагает поставить на работу».

Далее в этом приказе следовал целый ряд упреков.

Но и только!

Про военнопленных атаман упомянул кстати: их не знали, куда девать. Порою в «Донских Ведомостях», среди объявлений о продаже мануфактуры, только-что прибывших поросят и битой птицы, предлагался товар такого сорта:

«Военнопленные имеются в большом количестве. Требования адресовать в военный отдел правительства всевеликого войска Донского». [2]

Кой-куда их назначали, но, в виду общей расхлябанности, не умели использовать их труд должным образом. Душ

[1] «Донская Речь», г. Ростов, 1919 г., № 17.
[2] «Донские Ведомости», 1919 г., № 227.

десять взяли для обслуживания донского войскового (офицерского) собрания.

12 октября 1919 года управляющий военным отделом ген. Дубовской писал в своем приказе: [1]

«10 октября я посетил войсковое собрание и был поражен его неряшливым видом. У входных дверей никого. От великолепного здания остались внутри только развалины. Войти в собрание без отвращения нельзя. Такую запущенность нельзя объяснить недостатком рабочих рук, так как находящиеся при собрании восемь военнопленных жалуются на отсутствие работы и играют в карты».

Донской Войсковой Круг проявил некоторую законодательную энергию в борьбе с дезертирством. Он образовал комиссию по поверке лиц, освобожденных от мобилизации. Ей удалось за полгода отправить на фронт до 1 200 человек, девятерых она предала военно-полевому суду.

Но ни один чиновный укрыватель не понес наказания. А в укрывателях и лежало все зло.

Попытки, правда, делались. Но, помилуйте, как же было садить на скамью подсудимых представителей общественности, представителей промышленного капитала, представителей интеллигентных профессий, и т. д. Что скажет Милюков в Париже, Крамарж в Праге, Гессен в Берлине?

Однажды в «Донских Ведомостях» появилась заметка о том, что председатель чрезвычайной комиссии по проверке мобилизации в г. Новочеркасске полк. Пронин в беседе с корреспондентом газеты сообщил о предстоящем предании суду администрации фабрики суконных изделий общества «Утоли моя печали» за укрывательство мобилизованных. Однако, спустя несколько дней появилась поправка:

«Чрезвычайная комиссия лишь сделала постановление о предании администрации упомянутой фабрики военно-полевому суду, но окончательное разрешение вопроса зависит от командующего армией, которому передано постановление». [2]

Командующий армией, конечно, положил на всем крест.

Председатель чрезвычайной комиссии по поверке мобилизации в г. Ростове ген. Алферов (одно время был донским премьером) нашел нужным проверить документы некоторых лиц, проживавших в «Палас-Отеле». Донской углепромышленник Лилиевский не пожелал явиться в комиссию, вследствие чего его подвергли приводу и заключили в кордегардию. Но он подал атаману жалобу, указывая

[1] № 406.
[2] «Донские Ведомости», 1919 г., № 133.

в ней, что ген. Алферов поступил с ним так сурово из личной мести, и тотчас же был освобожден.[1]

Стоило только привлечь кого-нибудь из «общества», как сейчас же нажимались все педали, чтобы вызволить его из беды. Помню один случай из нашей судебной практики.

В Ростове каким-то чудом уличили одного врача Э. в том, что он выдал свидетельство военнообязанному о мнимой болезни и спас его от призыва. Так как врач оказался евреем, то известная часть прессы подняла шумиху. Комендатура посадила врача в тюрьму, дело же передали военному следователю подполковнику Р. Вскоре нахлынула волна новых злоб дня, и об этой истории забыли.

Тогда подняла голову родня доктора. Ко мне в Новочеркасск подослали красивую даму, назвавшуюся племянницей арестованного. Она умильно просила меня освободить «дядю» и убедительно предлагала, в случае приезда в Ростов, навестить ее, так как она скучает.

Однако, я проявил жестокосердие.

Махнув на меня рукой, изыскали какой-то другой способ.

Через неделю или две врач уже гулял на свободе, а следствие, как и подавляющее большинство следствий, затянулось до нашествия большевиков.

Сотни простаков приговаривались ежедневно к наказанию розгами за уклонение от фронта; но я не помню ни одного случая, чтобы пострадал за ту же вину хоть бы один интеллигент или торговец.

То, что происходило на Дону, повторялось повсеместно. Везде шла борьба с дезертирством, но чаще всего бумажная и всегда бесцельная. В Екатеринодаре, например, при штабе главнокомандующего существовала особая комиссия по выработке мер к устранению этого зла. Она не нашла ничего более практичного, как возложить ловлю дезертиров на квартальные организации.

Дезертирство нигде не получило такого распространения как на Кубани.

— Мы все как один, стар и млад, пойдем бить большевиков на защиту вольной Кубани! — гласили резолюции станичных сходов.

— На сборный пункт в назначенное время не явилось ни одного человека! — доносили станичные атаманы.

Горы, степи, камыши давали возможность дезертирам не только укрываться в случае преследования, но и «гарнизоваться» в шайки и безнаказанно заниматься грабежами. Они иногда нападали на станицы или являлись туда мирно

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 250.

за провизией, которой население снабжало их довольно благосклонно.

Такие дезертирские шайки получили название зеленых. К ним бежали и те, кого мстительная власть преследовала за большевизм или за какие-либо преступления.

Черноморская губерния кишела зелеными, к которым присоединялись многие крестьяне, обиженные добровольцами. 21 июля 1919 года зеленые напали на шоссе около Туапсе на трех английских солдат, ограбили их до снятия сапог включительно, изрядно избили, а одного смертельно ранили.[1] Союзники сделали добровольческим властям соответствующее представление. Репрессии в отношении крестьян еще более усилились. Начальник Туапсинского округа объявил, что будет брать заложников и разносить артиллерией те селения, где будут обнаружены зеленые[2].

Кубанское правительство снаряжало против зеленых целые экспедиции, даже с аэропланами, которые выслеживали убежища шаек; арестовывало семьи казаков, убежавших к зеленым; обещало помилование, если виновные явятся к властям к назначенному сроку, и т. д. Но зеленое движение разрасталось прямо пропорционально разложению белого стана, который, таким образом, все более и более «зеленел».

Если провинциальные зеленые, казаки и крестьяне, сходясь в шайки, занимались грабежами для добывания куска хлеба, то не менее зла причиняли и ростовские, екатеринодарские и другие зеленые, представители сытых и обеспеченных классов.

Легально дезертируя с помощью «золотого ключа», они, хотя действовали вразброд, но так спекулировали и вздували цены, что их разбойничанье мало чем отличалось от бесчинств их захолустных собратьев.

«Донская Волна» не раз с ревом и пеной обрушивалась на ростовских зеленых, которые, впрочем, боялись фельетонов Севского не больше, чем атаманских приказов. Однажды молодой поэт-донец Фил. Пенков[3] поместил в «Донской Волне» забавную юмореску по поводу газетных известий о том, что отряды зеленых носят название тех мест, где они скрываются:[4]

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 164.

[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 177.

[3] Подъесаул Максимилиан Филиппович Филиппенков, юрист по образованию, талантливый начинающий литератор; служил по военно-судебной части; погиб при бегстве Донской армии в 1920 году по Кубани 23 лет от роду.

[4] Обычно зеленые звали себя на Северном Кавказе «кукурузная армия». В низовьях Кубани их звали «камышатниками», так как они прятались в камышах.

Да-с, был денек! Неоднократно
Уже с утра ходили в бой:
На правом фланге — «Подкроватный»,
На левом — «Конно-Погребной».
Вначале бой был неудачный,
Противник даже фронт прорвал,
Два пулемета сдал «Чердачный»
И «Лейб-Сарайный» отступал.
Но тут из общего резерва
Зашел противнику во фланг
«Подъюбочный стрелковый первый»,
С ним пулемет и малый танк.
И враг бежал. Конец сраженья...
Как много жертв, потерь, утрат...
Не бойтесь: скоро пополненье
Пошлет к вам наш зеленый град.
Кого-кого, — в ростовском мире
Не мало доблестных орлов!
За юбкой тетушек, в «Ампире»
И в темных нишах погребов. [1]

Вторая главнейшая язва белого стана вообще, а белого тыла в особенности, язва, с которой власть также не умела справиться, это повальное, безудержное пьянство.

Вся тыловая работа совершалась в пьяном угаре. Чтобы раздобыть спирт, исключенный из свободного обращения (вино — не в счет), пускались на все средства. Шли на унижения, на мошенничества, на что угодно. «Святое дыхание возрождающейся России» было насквозь пропитано алкогольным перегаром.

Борьбу военного начальства против «пьянства, буянства и окаянства» даже нельзя назвать борьбой. Применялись только бюрократические приемы.

Старшие могли пить и безобразничать безнаказанно. «Жоржа» Янова Краснов выкинул из министров за пьяный дебош. Богаевский произвел его в генералы за устройство 24 июня 1919 г. пирушки в станице Старочеркасской, где происходило празднование двухсотлетнего юбилея освещения тамошнего собора. [2] Генерала Селецкого, первого военного прокурора войска Донского, с бесчестьем проводили с Дона за пьяные уличные скандалы. Доброволия назначила его председателем военно-окружного суда.

Само высшее начальство потворствовало пьянству младших, охотно присутствуя на разных торжественных обедах и ужинах, где без конца лились застольные речи и раздавался «чаш заздравных звон». Этому последнему придавали почти мистическое значение, как и малиновому звону

---

[1] «Донская Волна», 1919 г., № 30.
[2] Этот юбилей приходился на 1 февраля, но в силу военных событий пришлось его отложить. См. приказ всевеликому войску Донскому, от 19 июня, № 938.

«сорока сороков», выпивка же носила характер священнодействия. Стоит только прочесть стихи некоего Корзюкова, читанные им в Таганроге, на обеде в честь первой годовщины основания таганрогского градоначальства:

Провозглашаю этот тост
За мощных сил могучий рост
Великой родины моей...
Пусть у разбитых алтарей
Сейчас мы слышим скорбный стон...
Но этих чаш заздравных звон,
Как вещий символ, нам звучит,
В сердцах уверенность родит,
Что скоро грянет звон другой —
Со всех церквей земли родной,
С высот зубчатого Кремля,
И грянет русская земля
Под этот вечный правды звон:
Ура, Добрармия и Дон. [1]

Для очистки совести, маленьких офицериков, не имевших «заручки», иногда подвергали разжалованию в рядовые за пьянство и дебоши. Но такое наказание не имело никакого устрашающего значения. Половина офицеров и без того занимала солдатские должности (в Добрармии), офицерский же чин доставался очень дешево, даже и вторично, после разжалования.

Если бы собрать воедино все приказы высших начальников по поводу пьянства и сопряженной с ним распущенности, картина получилась бы потрясающая.

Белый стан держался на офицерах. Несомненно, и в дальнейшем, при устройстве государственного порядка после изгнания большевиков, белые вожди предполагали опираться по преимуществу на офицерство, как на силу созидающую.

О недоброкачественности этого материала, однако, свидетельствует сама высшая власть.

«В присутственных местах офицеры появляются в истерзанном виде, со стеками, хлыстами, нагайками. Употребление спиртных напитков чрезмерное, а за ним—скандалы, стрельба, сопротивление комендантским адъютантам и даже вооруженному наряду», — писал 3 октября 1919 года в своем приказе № 1 комендант штаб-квартиры начальника снабжений вооруженных сил юга России, на обязанность которого Деникин возложил наблюдение за внешним поведением добровольческих войск в Ростове.

Почти в то же время, 28 сентября, ростовский городской комендант ген. Фетисов отметил те же безотрадные явления:

---

[1] «Приазовский Край».

*

«В последнее время очень часто замечаются случаи появления воинских чинов в пьяном виде на улицах, в клубах и на вечерах, устраиваемых с благотворительной целью. Некоторые доходят до такого состояния опьянения, что совершенно не отдают себе отчета в своих поступках: позволяют ссоры между собой, открытую площадную брань, приставанья к публике, оскорбления, требование документов, на поверку которых никто их не уполномачивал, обнажение оружия, стрельбу из револьверов, вмешательство в действия чинов власти. Словом доброе имя воина до такой степени унижается, что можно подумать: это же враги настоящего порядка, враги военной среды, но в их форме, с целью как можно больше развивать ненависть к этому званию во всех слоях общества».

«За последнее время, — писал 22 ноября 1919 г. в приказе № 197 комендант г. Новочеркасска ген. Яковлев, — наблюдаются такого рода явления: офицеры, после чрезмерной попойки, учиняют в общественных местах буйства и всякие безобразия, а потом, чтобы избавиться от законной кары, прибегают к всевозможным покровительствам... Долг чести офицера, раз уже с ним случилось такое несчастие и он натворил бед, требует, чтобы он безропотно понес наказание, а не прятался бы за протекцию».

В том же духе не раз писал кубанский атаман ген. Филимонов [1], ген. Кутепов [2] и др. Только ни разу не приходилось мне читать подобных приказов за подписью Шкуро, Покровского и Май-Маевского. Эти остались до конца верными принципу: «живи и жить давай другим».

Наконец, третья язва белого стана, и тоже непобедимая, это очень легкое отношение к казенному добру.

Интересная вещь произошла с английским обмундированием, привезенным для армии. Едва успели его выгрузить в Новороссийске, как оно уже повсеместно появилось на рынке. Подъесаул Изварин, получавший для Дона английские вещи в этом городе, имел гражданское мужество заявить даже в Войсковом Круге о том, что при разгрузке происходили неимоверные хищения. [3]

К июлю уже значительная часть мирного населения ходила в английских френчах, шинелях, фуражках и обмотках. Даже женщины нарядились в эти подарки английского короля. Бойцы же на фронте, по обыкновению, ходили оборванные, и их начальство должно было просить милостыню у буржуев, чтобы одеть своих подчиненных.

[1] Напр., приказ от 6 августа 1919 г., № 930.
[2] Напр., приказ от 30 сентября 1919 г., № 277.
[3] «Донские Ведомости» от 25 мая 1919 г.

2 августа приказом по Донской армии за № 1233 было предписано населению Донской области сдать властям английское обмундирование, но еще и в октябре, как отмечал в своем приказе № 176 новочеркасский комендант, половина города, в том числе и женщины, продолжала щеголять в одежде защитного цвета с клеймом британского интендантства.

Тыл являлся не только ареной для подвигов разных бессовестных хозяйственников и администраторов и убежищем для дезертиров, но и притоном для всевозможных темных личностей, очень ловко обделывавших свои дела. Страсть белого стана к бирюлькам в роде крестов, орденов и разных внешних отличий, не говоря уже про чины, была, как нельзя более, на руку разным самозванцам.

Уже самая офицерская форма давала повсюду пропуск. Блестящий гвардейский мундир гарантировал от требования документов. Прибавленный к своей фамилии титул обеспечивал место в штабе или в каком-нибудь хлебном учреждении.

Появлялись такие субъекты, которые к громкому титулу прибавляли чужую, очень громкую фамилию и до поры до времени колпачили доверчивое начальство. Так в донском тылу одно время подвизался «граф Сфорца-ди-Колонна князь Понятовский». Попадались более заковыристые клички.

В новочеркасской комендатуре еще с осени 1918 года приютился самозванный штаб-ротмистр Патушинский. Он выдавал себя за сына сибирского миллионера и деньги разбрасывал направо и налево. Человек ловкий и развязный, он втерся, через сенаторшу Э., даже в атаманский дворец. Его разоблачили лишь следующей зимой и упрятали на гауптвахту. Контр-разведка выяснила, что он еврей по национальности и карточный шулер по профессии.

Другой самозванец проник даже в наш военный суд. Об этом субъекте стоит поговорить несколько больше.

Летом 1919 года на улицах Новочеркасска появился некий кавалерийский ротмистр, с шестнадцатью поперечными нашивками на левом рукаве, что означало шестнадцать ранений в мировую войну, с четырьмя солдатскими и с одним офицерским георгиевским крестами, с двумя учеными знаками и рядом других отличий.

Блестящая форма несколько не гармонировала с его некрасивым, обезьяньим лицом и с грубыми манерами. Точно также бросалось в глаза и его оружие. Помимо шашки, разумеется, украшенной георгиевским темляком, ротмистр носил револьвер на ремне, точь-в-точь, как это делали полицейские.

В один прекрасный день этот субъект, уже примелькавшийся на улице, явился к нам в прокуратуру с приказом атамана о зачислении его на службу кандидатом по военно-судебному ведомству.

— Ротмистр Яковлев, — отрекомендовался он. — Бывший офицер лейб-гвардии гусарского его величества полка. Окончил университет и политехникум.

На первых же порах обнаружилась его юридическая безграмотность. Потом поступила жалоба на его хулиганскую выходку, потом на мошенническую. Но выгнать не посмели. Ведь ротмистр гвардии назначен по протекции командарма.

Вдобавок 26 ноября, на празднике георгиевских кавалеров, атаман произвел героя в подполковники.

Только впоследствии, когда нам пришлось блуждать по задонским степям и близко столкнуться друг с другом, другие кандидаты, настоящие юристы, обнаружили, что Яковлев несомненный самозванец. В ст. Павловской, где мы остановились на более продолжительное время, я отправился к ген. Сидорину, чтобы доложить ему о наших сомнениях насчет его протеже.

— Кто в точности этот Яковлев, я не знаю. Знаю лишь, что при Каледине он участвовал в партизанских отрядах. Если находите нужным, арестуйте его, — сказал мне командарм.

Когда я вернулся в станицу, Яковлева уже след простыл. Он пронюхал, что затевается что-то недоброе в отношении его и скрылся. Немного спустя я выяснил, что этот господин, прослуживший в прокуратуре три месяца, не более как околоточный надзиратель из г. Луганска. За время своей службы у нас он успел довольно выгодно жениться, при неразведенной первой жене, простой бабе.

Таких Патушинских и Яковлевых, «спасавших» Россию в тылу, обреталось великое множество. В Добровольческой армии, куда стеклось офицерство со всех концов русского государства, в 1919 году была учреждена особая комиссия для поверки прошлого офицеров. Она постоянно обнаруживала то два-три прибавленных чина, то самопроизводство в офицеры, то преступников в офицерской форме.

Характерен не факт появления среди тогдашнего хаоса самозванцев, с пышными титулами, высокими чинами и мнимым высшим образованием. Характерно то изумительное легковерие, с которым относились к неизвестным лицам при приеме их в армии и назначении на должности.

Одет человек в офицерскую форму, и баста. Значит, он офицер. Значит, избранный.

При таких условиях для вражеских разведчиков и агентов открывалось широкое поле деятельности.

XVI.

КОЛДУНЬЯ В ШАПКЕ-НЕВИДИМКЕ.

— Справимся на фронте с большевиками, пойдем в тыл бить спекулянтов, — грозил однажды «народный герой» ген. Шкуро.

— Тут-то наверняка расшибем себе голову, — заметили ему боевые соратники.

Развитие спекуляции являлось естественным и неизбежным последствием того строя, который царил на юге России. Ее порождали священное право собственности, свобода товарообмена, обилие денежных знаков при недостатке товаров, а отнюдь не какая-нибудь особенно злая воля, ничуть не более преступная, чем при обыкновенной купле-продаже.

Донской публицист Сисой Бородин дал довольно меткую характеристику спекуляции, хотя и в общих чертах, и указал причины, почему борьба с нею безуспешна.

«Всеведущая, вездесущая и всемогущая спекуляция спокойно избегает кар, — писал он в «Донских Ведомостях». —[1] Она всюду чувствуется, но никак никто ее не поймает. Правительства юга России думают поймать соблазнительную греховодницу и «повесить ее между двух столбов на перекладине». От всей души желаем увидеть спекуляцию в лице ее дельцов повешенной.

«Но кого же мы повесим? И сколько нужно столбов с перекладинками? Не будет ошибкой, если скажем: да не меньше миллиончика для одного Дона с Кубанью и Тереком.

«Кто спекулирует? Да все, кому есть охота и кто чужим добром не брезгует. Все, кого нужда гоняет и кто хочет на большие барыши посидеть в ресторанчике за круглым столиком с бутылочкой.

«Посмотрите в Ростове и стольном городе Черкасском на упитанных и прилизанных господинчиков и смело ведите их на перекладинку: то все спекулянты чистокровные, ошибки не будет никакой. Спекулируют и бабы кривянские, потеряв стыд и совесть: на базаре берут за фунт масла последний ермак[2] из рук офицера хромого или чиновника захудалого».

Публицисту — законодателю и полковнику генерального штаба было крайне неудобно в официозе приводить конкретные примеры бьющей в глаза спекуляции и называть имена.

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 261.

[2] Донской денежный знак сторублевого достоинства.

А стоило бы! Хотя бы для истории.

Спекулировал, но крупно, очень крупно, богатейший донской туз Николай Елпидифорович Парамонов, действительный властелин Дона, так как «богатство — господство».[1] Его агент Воронков влип с покупкой мешков для хлеба и в разгаре «борьбы», т.-е. воплей о спекуляции, попал на казенные хлеба. На защиту парамоновского приказчика выступил «приказчик души Каледина» ген. Сидорин, командующий Донской армией. Он послал тюремной администрации приказание немедленно освободить Воронкова, грозя в противном случае прислать вооруженную силу. Перепуганная администрация не осмелилась ослушаться. Еще бы! В демократическом казачьем государстве вся армия и весь флот были к услугам либерального Парамонова!

Спекулировали кадеты, члены особого совещания деникинского правительства. М. М. Федоров, один из таких правителей, довольно искусно спекульнул имуществом РОПИТ'а,[2] добившись передачи его в собственность частной компании, которую он сам возглавлял.[3]

16 августа екатеринодарская стража арестовала юрисконсульта особого совещания Вячеслава Васильевича Жукова по обвинению в том, что он, заведуя кооперативом служащих особого совещания, выписывал товар яко бы для кооператива, а на самом деле для спекуляции через посредство некой г. Шабельниковой. На допросе сановный «спасатель отечества» показал, что он страдает повышенной сексуальной потребностью и идет на все требования женщин, этим и объясняется, почему он передавал Шабельниковой квитанции на товар, выписанный для особого совещания.[4]

Спекулировали пятигорские кооператоры Ш. и Б., посаженные, наконец, в тюрьму.[5]

Спекулировал комендантский адъютант г. Новочеркасска поручик Вальдберг, привозя из Харькова сахар и продавая его на рынок по повышенным ценам.

Спекулировали, в виде постоянного промысла, графини, княгини, баронессы, сенаторши, их превосходительства и их высокопревосходительства.

В довершение всего за попытку спекулировать мукою был отрешен от должности и предан суду председатель 2-го корпусного суда Добровольческой армии генерал И. А. Панов.

---

[1] Абхазская поговорка.
[2] Русское общество пароходства и торговли.
[3] «Вольная Кубань», № 160.
[4] «Вольная Кубань», 1919 г., № 188.
[5] «Великая Россия», 1919 г., № 347.

Спекуляция шла за белыми армиями. Очищалась местность от советских войск, и воздух тотчас же заражался спекуляцией. Деревенский производитель безбоязненно старался драть втридорога с перекупщика. Последний не имел оснований щадить городского покупателя.

Официозы уставали печатать восторженные резолюции сходов освобожденных мест о том, что «население» приветствует светлые дни торжества порядка и законности над насилием. В тех же номерах, в отделе «Известия с мест», раздавались душераздирающие вопли из тех же самых станиц по поводу неслыханной спекуляции.

«Особенно сильно беспокоит обывателя базар, — сообщалось в «Донские Ведомости» в июле 1919 г. из крупной Нижне-Чирской станицы, центра 2-го Донского округа.— Мясо здесь в весьма ограниченном количестве. Молоко и яйца отсутствуют, зелень и ягоды тоже. Вообще базарная площадь поражает своей пустынностью. Не едут на базар казаки: ничего им там для своих нужд достать нельзя, ничего не дает спекулирующий город в обмен на их продукты. И каждая подвода берется с бою, встречается бешеным натиском бегущих навстречу обывателей. Многие объясняют эти явления существующей здесь нормировкой цен. Стража принимает очень деятельное участие в базарной торговле. Часто можно видеть полицейского, развешивающего и отпускающего публике картофель. С базаром в Чирах весьма и весьма неладно». [1]

«Спекуляция ожесточает население, — в свою очередь писал в июле же корреспондент из Великокняжеской, центра Сальского округа. — Цены растут ежедневно и с каждым днем грозят дойти до городских даже на предметы сельского, местного хозяйства. Три недели назад мясо стоило 2 руб. 50 коп. фунт, теперь 5 руб., и то лишь благодаря таксе. Значительно способствуют росту цен наехавшие в станицу персы, торгующие сластями и орехами. Изюм, покупаемый в Новороссийске 13 руб. фунт, здесь 28 руб. Такие же проценты берутся и на другие товары». [2]

Не лучше дело обстояло и в Каменской, главной станице Донецкого округа. Отсюда в августе сообщали в «Донские Ведомости»:

«Спекулянтов, занимающихся торговлей сахаром, медом и т. д., много. На местную толкучку многие интеллигенты несут от нужды продавать вещи, чтобы купить съестного. Каменские домовладельцы побили рекорд во всех отношениях, потому что цены на квартиры повышаются с каж-

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 164.
[2] «Донские Ведомости», 1919 г., № 168.

дым днем. Квартира в июле стоила 20—30 руб. в месяц, теперь за нее требуют 120—130 руб.».[1]

Недаром ведь везде и всюду, куда прибывали белые войска, сейчас же восстанавливалось в полном объеме священное право собственности, попранное большевиками.

В Ростове, куда в августе перебралось особое совещание и все центральные учреждения Доброволии, кроме деникинского штаба, расположившегося в Таганроге, нагляднее всего обрисовывалась экономическая жизнь «освобожденной» части России.

Магазины то наполнялись товаром, то совершенно пустели, независимо от того, заходили в них розничные покупатели или нет. В аптекарском магазине иногда виднелись кипы мануфактуры, в мануфактурном—парфюмерия и кожа. Чаще всего витрину украшал совсем не тот товар, на котором делал дело владелец магазина.

Партии товара, привезенного из Новороссийска, быстро переходили из рук в руки. Товар все больше и больше поднимался в цене, но не доходил до розничного покупателя, который в большинстве случаев не мог ничего покупать, кроме минимального количества съестных продуктов.

Бойкая торговля, и притом оптом, шла только между спекулянтами. Розничная все более и более сокращалась. Получалась такая картина, что ассоциация спекулянтов «национализировала» все реальные ценности. Кафе «Ампир» и благотворительная «Чашка чаю» превратились в пристанище этих темных дельцов. Вот описание «Чашки», позаимствованное из газеты «Донская Речь».[2]

«Спекулянты с видом заговорщиков сидят за пустыми столиками, жадно ощупывают острыми глазами входящих, стоят в проходах. Между столиками, как голодная собака, подергиваясь на каждом шагу, вскрикивая, словно лая, бродит эпилептик—специалист по бриллиантам.

«В душном воздухе: —«Продаю!»—«Покупаю!».

«За пустыми столиками создаются миллионные аферы, в проходах цены на предметы первой необходимости вздуваются до астрономических размеров.

«—Вы интересуетесь мануфактурой?

«—Не купите ли вагон соли?

«Биржа спекулянтов. И биржа проституток.

«Неужели только для них это благотворительное учреждение? Очевидно так. Члены комитета не борются с наглой спекуляцией, покровительствуют амурам и зефирам. За отдельными столиками сидят почтенного вида дамы,

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 194.
[2] № 28.

комитетские старички. Их единственное занятие — пересмотр прейс-куранта. Как ртуть в термометре на сильном жару, ежедневно ползут вверх цены на продукты в кафе. Сегодня стакан жидкого чаю стоит 16 рублей, а завтра?

«Спекуляция на ценах — единственное занятие комитета. Комитет гонится за ценами, а кафе стало убежищем порока. «Чашка чаю», как дошла ты до жизни такой?»

В Новороссийске, обращенном англичанами в военную базу для снабжения армий Деникина, развилась и торговля. Иностранные купцы везли сюда товары и продавали их за деникинские и донские деньги, на которые тут же покупали хлеб. Из Новороссийска товары развозились по всему белому стану.

За все время существования этого города, знаменитого своим норд-остом, по-местному «бора», и своим колоссальным элеватором, жизнь в нем никогда не кипела так, как теперь.

«На пристани у цементных заводов под охраной часовых идет разгрузка бесчисленных английских транспортов,— описывал тогдашний Новороссийск некий Влад. Стеф. в «Донских Ведомостях». — Сейчас получены и частью уже вооружены четырнадцать больших танков, каких еще не было на нашем фронте. Прибывшие чудовища, вооруженные несколькими орудиями и порядочным количеством пулеметов, вызывают большой интерес и толки среди публики. В многолюдном и шумном кафе, наполненном самой интернациональной публикой, от английских моряков в безобразно широких брюках и кончая узкоглазыми мальчиками-японцами и черными неграми, только и слышится о танках.

«Коммерсантов сильно волнует и интересует сообщение нашей прессы о поднявшемся в наших правительственных группах вопросе об устройстве в Новороссийске порто-франко, вольного города, свободного порта с беспошлинной торговлей. Новороссийск, как никогда, переполнен иностранными кораблями, ибо нет Одессы, и все направляются сюда. Свободный рынок в международном порту, несомненно, ещё больше разовьет торговлю.

« — Что же тогда будет?—вздыхает какая-то дама в кафе,— и так мануфактуру чуть ли не в аптеках продают.

«Мимо террасы кафе тянутся бесчисленные подводы с иностранными товарами. Шныряют то и дело «форды» с англичанами в больших матерчатых шлемах. Вдали виднеются покрытые густым лесом горы, в вершинах которых запутались облака, и синеет море. За маяком и молом виднеются трубы и мачты красы и гордости Англии—дредноута «Император Индии», который не может

войти в гавань. На нем помещаются высшие военные английские власти. Вдали на горизонте показался дымок,— то новый иностранный корабль. В кафе начинаются споры и заключаются бесчисленные пари. Какой державе принадлежит корабль и с каким идет грузом?».

В июле мне пришлось пожить две недели в этом главнейшем порту деникинского царства. Что ни знакомый душка-статский, то миллионер. Конечно, миллионер нашего времени. Нуво-риш.

Вот Ваня Н—с, высокий, жгучий брюнет. Грек по национальности. С домашним образованием. Когда-то служил писцом за 25 рублей в месяц в отделении русского для внешней торговли банка.

А теперь...

Смокинг цвета сенегальских негров, светло-желтая панама, лакированные ботиночки и толстущая золотая цепь, нагло торчащая из кармана жилета. Смесь иностранного джентельмена и русского коммерции советника XX века.

Какая поступь, какое выражение лица... Вид почти победителя, но не очень уверенного в себе. С таким видом в прежнее время плуты-солдаты, перерядившись в офицерскую форму, разгуливали по бульвару, очень высоко держа голову и в то же время испуганно поглядывая по сторонам, не видно ли где офицера и не пора ли юркнуть в кусты.

Так или иначе, передо мной стоял крупный коммерсант, компаньон и личный друг г. Гильдмайлена, консула его величества короля Англии и императора Индии.

— Миллиончик есть?

— Так здесь теперь не говорят. Спрашивают: сколько десятков. А ты?

— Comme toujours: 250 рублей в месяц.

— Да это же... Это, если на изюм — фунтов десять изюму; если на шоколад, то... Мне такой суммы и на ужин не хватит.

Мы разошлись. Нам говорить было не о чем.

На Вельяминовской, у склада вин удельного имения «Абрау Дюрсо», отвратительно-интересная картина привлекает мое внимание.

Длинный хвост. Люди всех состояний. Благообразная дама, разодетая в стареющие, как и сама она, шелки, пушит молоденькую, в платочке, девицу, стоявшую в середине хвоста, с четвертью в руках.

— Что, не прошло? Барами, как мы, захотели быть, хамье? Равенство вам понравилось? Недолго погуляли, голубчики! Скоро и совсем вас скрутим. Будешь, как прежде, за два рубля служить одной прислугой. А то ведь выду-

мали—фу-ты, ну-ты! Восьмичасовой день, отдельную комнату... Не удалось? Кто хамом родился, хамом и останется.

Лицо барыни искажалось такой судорогой, что, казалось, она вот-вот бросится на перепуганную девчонку и ногтями выдерет у ней клок кожи. Злоба, которая накопилась за время революции, выливалась тут бешеным потоком. Злоба на низы, заставившие эту даму, быть-может, тайную советницу или владетельницу трех тысяч десятин, проживать у чорта на куличках в одной-двух неуютных комнатах, ходить на своих на двоих и самой гладить свои воротнички.

Прислуга сжалась, как еж. Она знала, видимо, по опыту, что в таких случаях лучше всего молчать. Чувствовала, что, если отгрызнется, дама завопит:

— Большевичка! В тюрьму таких надо.

Я смотрел на публику, составлявшую хвост. Хоть бы кто-нибудь подал реплику! Лица некоторых выражали явное неодобрение словоизвержению барыни, но и у них язык прилипал к гортани.

— Чего она разоряется? — спросил я знакомого офицера, тоже алкавшего виноградного сока.

— Пустяки! Барыня эта, чтоб ей скиснуть, проходила мимо хвоста и увидела эту девчонку, кажется, у ее знакомых служит. Чесала с ней язык минут десять, сначала так, все по-хорошему. Прислуга спросила ее: — «Как, барыня, вчера повеселились в городском саду?» — «Очень хорошо, — ответила барыня, — слава богу, в саду ни одного рабочего не было». — «Да и я, барыня, вчера тоже хорошо провела воскресный день на цементном заводе у родни. Там ни одной барыни не было». Ну, дальше, сами понимаете, разразились гром и молния.

— А кто эта дама?

— Не то родня, не то хорошая знакомая одного питерского типчика Де-Роберти, который тут при губернаторе примазался. Не раз видел я ее в этом кругу. Ох, и пренеприятный народ! На простых офицеров презрительно смотрят. Мы, мол, белая кость и голубая кровь, соль земли русской. А сами только живут да блаженствуют за спиной черноземного офицерства.

Через неделю я читал в газетах:

«В Новороссийске арестован чиновник для особых поручений при черноморском губернаторе Де-Роберти. Арест его находится в связи с хищениями вина из казенного имения Абрау-Дюрсо». [1]

---

[1] «Донские Ведомости», № 168, от 23 июля 1919 г.

Как раз в то самое время, когда я приехал в Новороссийск, тамошние «миллионеры» переживали неприятные дни. Они гурьбой бродили возле пристаней, с грустью поглядывая на пустынный горизонт, или шушукались в кофейнях.

— «Adria», говорят, вернулся в Ливорно. «Cambrig» повернул из Пирея назад.

— Вы только подумайте: чай в Ростове за неделю поднялся на сто, сахар на сто пятьдесят.

— У меня три миллиона донских.

— У меня два керенок и на триста тысяч займа свободы. С мола брошусь, если завтра ничего не привезут.

— Что случилось?—спросил я Ваню Н—са.

— Какие-то подлецы в Константинополе пустили слух, будто Добровольческая армия конфискует в Новороссийске товары, а купцов отправляет на фронт. Говорят, несколько итальянских пароходов ушло из Константинополя обратно в Средиземное море.

— Кто же эти злоумышленники?

— Кто? свои же, которые сами ездят в Константинополь за товаром. Им невыгодно, когда иностранцы привезут свой товар в Новороссийск. Потому они там и начали пугать коммерсантов, чтоб ничего сюда не везли.

Здесь думали только о товарах и о ценах на них. О существовании фронта здешние патриоты плохо помнили и вместо великой и неделимой выкрикивали другие слова:

— Даю...

— Беру...

Даже свой ближайший фронт, на черноморском побережьи, где шла кровавая борьба добровольцев с зелеными, мало интересовал рыцарей легкой наживы.

Спекулянтам зеленые не мешали.

Им вообще никто не мешал, не взирая на то, что Деникин, донской атаман, Круг, Рада громили спекуляцию устно и письменно; не взирая на то, что за спекуляцию полагалась смертная казнь и что, помимо судебной кары, законодатели устанавливали целый ряд мер для борьбы с этим злом.

Газеты тоже не оставались в долгу и ежедневно кричали о том, что баснословные цены на предметы первой необходимости есть результат злостной деятельности тыловой гидры.

«Что для них кровь, муки, страдания родины?—голосила «Вольная Кубань».—Родина—сытое пойло. Отечество—хлев. Благородство, достоинство, порядочность, с их точки зрения, принадлежность дураков».[1]

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 67.

Газета рекомендовала заменить слово «спекулянт» словом «каторжанин».

«Или на фронт, или вон из пределов края!—заканчивал кубанский официоз свои филиппики. [1]

«Несмотря на все принимаемые до сих пор меры борьбы со спекуляцией,—писал донской атаман ген. Богаевский в приказе всевеликому войску Донскому от 22 октября № 1686,—цены на все предметы продовольствия продолжают возвышаться с необыкновенной быстротой и скоро грозят обратиться в настоящее народное бедствие. Никакое увеличение заработной платы и жалованья не в состоянии угнаться за ними. Бесполезно обращение к чести и совести тех, кто на страданиях ближнего строит свое благополучие. Хотя в спекуляции повинны представители всех наций, живущих на земле всевеликого войска Донского, но раздраженное грабежом спекулянтов население уже начинает искать виновников своих бедствий среди евреев, как торгового класса, и едва предотвращенный недавно погром в Ростове—да послужит грозным предостережением для г. г. спекулянтов всех наций. Предлагаю управляющему отделом торговли и промышленности безотлагательно обсудить в комиссии из представителей всех ведомств меры борьбы со спекуляцией, приняв во внимание полуторагодовой опыт комиссии по борьбе с этим злом. Считаю, что карательные меры в виде штрафа или конфискации товара не достигают цели и могут применяться только как дополнение к тюрьме, каторжным работам и телесному наказанию. Я получил много обывательских писем с воплями отчаяния по поводу все растущей дороговизны и с указанием мер противодействия этому злу; к сожалению, все они сводятся к одному средству—виселице для спекулянтов. Средство, конечно, действительное и в наше жестокое время нередко применяемое; в случае крайности я не откажусь утвердить смертный приговор военно-полевого суда спекулянту, вследствие бесчеловечной жадности которого умирают от голода и холода семьи тех, кто защищает родной край. Необходимы беспощадные и действительные меры борьбы со спекуляцией, этим союзником большевиков; но кроме этого нужны и другие средства парализования этой заразы: общественные и кооперативные магазины, развитие потребительских обществ и проч. Проект положения о борьбе со спекуляцией, выработанный комиссией, представить мне к 1 ноября. Надеюсь, что личный горький опыт членов комиссии, с помощью накопленного богатого материала о проделках

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 75.

спекулянтов, даст им возможность предложить власти действительные меры борьбы с бедствием, без которого, быть-может, и безумный большевизм потерял бы уже свои корни в жизни».

Итак, на Дону объявлялся крестовый поход против спекуляции, союзницы большевиков.

Но где ее искать, вездесущую? Как обыкновенного торговца, комиссионера, агента, перекупщика отличить от спекулянта, достойного виселицы?

Знали, что в ростовском «Ампире», «Кафе Филиппова», в «Чашке чаю» — спекулянтские клубы и спекулянтские биржи, что из ста посетителей девяносто девять несомненные рыцари легкой наживы, но как установить, что они совершают воспрещенные законом сделки?

Ростовский генерал-губернатор ген. Семенов, преемник полк. Грекова (из бывших становых приставов), в целях борьбы со спекуляцией, вменил в обязанность страже трижды в неделю обходить эти кафе и... разгонять спекулянтов. [1]

Ни одна газета не писала, чтобы вследствие этой меры спекуляция в Ростове уменьшилась.

Судебная кара и виселица мало пугали спекулянтов. Суды судили кого угодно, только не их. Большевиков расстреливали, но спекулянты, которых донской атаман называл союзниками большевиков, с почетом принимались в атаманском дворце.

Только один раз ростовский военно-полевой суд приговорил торговцев Платовского к двадцати и Левкова к десяти годам каторжных работ за то, что они, купив соль по 3 руб. 82 коп. за пуд, продали по 18 руб.

Едва этот приговор прозвучал в воздухе, как случилось нечто непостижимое, нечто невероятное. Пресса, громившая спекуляцию и призывавшая на голову ее адептов все египетские казни, взяла под свою защиту осужденных.

Распродемократическая газета «Утро Юга» кричала:

«Нельзя такие дела рассматривать военно-полевым судом, в котором нет юристов и присяжных заседателей. Только специалисты по коммерческим делам, а отнюдь не простые офицеры, способны решить вопрос, является ли спекуляцией продажа соли с 417% прибыли. Суд присяжных, мы уверены, вынес бы более мягкий приговор». [2]

После этого никого не стоило судить за спекуляцию. Суды так и сделали.

---

[1] «Донские Ведомости», № 159, от 12 июля 1919 г.
[2] «Утро Юга», № 72.

Белая власть ничем так не обнаружила своей несостоятельности как своим неуменьем справиться с тыловой гидрой или, как метко выразился С. Бородин, с «колдуньей в шапке-невидимке». Никакие драконовские законы, ни самые «действительные» меры, ни даже грозный Шкуро с его «волками» никогда не могли бы истребить этого явления, органически связанного с тем общественно-политическим строем, который отстаивал белый стан.

Спекуляцией больше всего возмущался фронт.

Но никому из бойцов не приходило в голову, что защищаемая ими великая и неделимая и ненавистная им вездесущая и всемогущая относятся друг к другу, как роковая причина к неизбежному следствию.

Талантливый И. Эренбург раскрыл подлинную душу тех классов, интересы которых отстаивал белый стан. Он писал в «Донской Речи»: [1]

«Началась дикая погоня за деньгами на глазах смерти. Под треск пулеметов, под стоны умирающих в цепких руках мелькали кредитки. Менялись правительства и законы, флаги и песни. Тысячи умирали, а миллионы складывали в разные пачки: «николаевские» и «думские», и «украинские», и «пятаковские». Борьба идей, торжество правды — это слишком большая роскошь для бедного обывателя, у которого всего-на-все груды бумажек. Вчера киевлянин кидал цветы добровольцам, потом, когда анулировались советские деньги, несся с пачкой «пятаковок» к Семадени [2] и ругал резкие меры. Услыхав канонаду на Ирпене, [3] сплавлял «донские», ласково гладил несплавленные советские. Весь мир, по его мнению, создан только для охраны этих бумажных коллекций. Он не только принимает жандарма за крестоносца, но готов крестоносца считать жандармом. Благословляя добровольцев, жертвует широким жестом стоимость одного ужина на нужды армии и самодовольно улыбается, когда жена рассказывает всем встречным об его патриотизме. А потом... Добровольцы требуют денег, теплых вещей, — он негодует: — «Они как большевики!» Что ему Великая Россия! Он хочет просто ночных сторожей.

«Страшной болезнью заражены все... Молоденький адвокат негодует: — «Реакция... реставрация... отсутствие духовной жизни», — а через пять минут признается: — «Я собственно теперь занялся мылом... Скоро привезут вагон...

---

[1] № 21.

[2] Кафе на Крещатике, в Киеве, такой же притон спекулянтов как «Ампир» в Ростове.

[3] Речка в сорока верстах к северо-западу от Киева, на которой происходили бои за обладание городом между большевиками и добровольцами.

Скупаю царские, всего надежней». В Киеве вошел в еврейскую квартиру один из идейных противников адвоката и закричал: — «Христа распяли! Россию продали!», — а потом сразу деловито спросил: — «Этот портсигар серебряный»? — и поместил оный в свой карман. Писатель говорит: — «Написать статью против большевиков можно... Сколько за строчку? Мало... Не хочу... Большевистские газеты больше платили». А крестьянин прячет хлеб от умирающих беженцев, лучше сгноит его, чем отдаст на один рубль дешевле».

Спекулянт (этим именем подчас звали всех торговцев) наживался в то время, когда белый солдат защищал арену его свободной деятельности. И тот же спекулянт, когда требовали от него жертв на общее дело, отказывался, а в случае реквизиций, исступленно кричал:

— Чем же вы лучше большевиков?

Такие словечки слыхал не один И. Эренбург.

Когда ранней весной 1919 года советские войска подбирались к стольному Новочеркасску и богатому Ростову и когда эпидемии косили не только бойцов, но и мирное население, «зеленый» город встрепенулся от испуга. Купечество, фабриканты, владельцы разных предприятий решили отвалить на борьбу с эпидемиями 25 миллионов (конечно, не золотом), разложив эту сумму между собой.

Особая комиссия занялась сбором денег.

Пока то да иное, а весна сменилась дождливым летом, неустойка на фронте — победою. Паника улеглась, а вместе с нею пошел на понижение и патриотический порыв г.г. капиталистов. 25 миллиончиков, по курсу золота, теперь тоже понизились этак раз в шесть-семь. Но и теперь донское правительство, осилив кое-как эпидемии, никак не могло справиться с жертвователями, не желавшими исполнять своего обещания.

Надвигалась уже осень 1919 года. Деньги все более падали в цене.

Жертвователям назначили последний срок — 23 августа. Но они и 23 сентября не внесли своей лепты.

Атаману представили часть списка именитых граждан и богатейших фирм, отказавшихся внести деньги. Он опубликовал в газетах этот документ и разразился укоризненным приказом:[1]

«Добрый порыв богатых ростовских и нахичеванских обывателей, под влиянием страха эпидемий и нашествия большевиков и благодарности Донской армии за избавление их от последней неприятности, давно уже прошел и обе-

---

[1] Приказ от 12 октября 1919 г., № 1610.

щанные ими по самообложению на нужды армии и борьбу с эпидемией 25 миллионов рублей, несмотря на все усилия комиссии по сбору этих денег, все еще не собраны, хотя уже прошло много времени после того, как об этой щедрой лепте было объявлено всем и каждому. Дело приняло странный оборот: сгоряча наобещали много, а когда настало время расплаты, — гг. благодетели стали уклоняться всеми способами от исполнения своего обещания. До меня дошло жалобное прошение от хозяина одной из богатейших гостиниц г. Ростова, обязанного распределительной комиссией уплатить 20 000 руб., уверявшего, что не может уплатить этих денег, так как вся обстановка его дома не стоит этой суммы, и ни слова не упомянувшего, какие колоссальные барыши получает он от кутежей г.г. спекулянтов и посетителей его ресторана, вынужденных платить сотни рублей за скромный обед.

«Некоторые учреждения на страницах газет доказывают, что они и без того много жертвуют на нужды армии, а потому считают обязательство уплатить свою долю раскладки — насилием. Наконец, у всех перед глазами позорный список с именами тридцати именитых граждан и фирм, не пожелавших уплатить свою, ничтожную по их средствам, долю к последнему сроку — 23 августа; в конце этого списка стоит примечание: «продолжение следует».

«Пора кончить эту недостойную комедию. В ней затронуто достоинство власти, в распоряжение которой должны быть переданы собранные на благое дело средства. Никто не заставлял вышеуказанных лиц обещать что-либо дать на общую пользу, но раз обещано, должно быть исполнено.

«До меня дошло циничное замечание некоторых толстокожих г.г. коммерсантов: — «Пусть атаман прикажет, тогда мы уплатим». Сожалею, что приходится прибегать к более, видимо, приятным этим господам большевистским способам воздействия, а потому приказываю: к 18 октября всем лицам, фирмам, заведениям и учреждениям, принявшим участие в самообложении и еще не внесшим назначенную с них сумму, внести свою долю в распоряжение комиссии, ведающей этим делом. Список лиц, не пожелавших все-таки исполнить своего обещания, с указанием их общественного положения, состояния и суммы раскладки, представить мне к 21 октября сего года для принятия соответствующих мер».

Чем кончилось это состязание атамана с жертвователями, я не помню. Но если «именитые граждане» и внесли деньги, то когда они уже совершенно обесценились. О «большевистских приемах воздействия», во всяком случае, слышать

не приходилось; надо полагать, атаман не рискнул прибегнуть к ним.

В г. Александровск-Грушевске, недалеко от Новочеркасска, произошла еще более чудесная история с одним патриотом-жертвователем.

Здесь проживал некий ловкий человечек Ф. И. Малахов. Он торговал всем, что попадало под руку, от ржавого железа и раздорского вина до церковных хоругвей включительно. В эпоху белых уже причислял себя к лику миллионеров.

Этот буржуйчик очень любил жертвовать.

— Партизаны... Спасители отечества! — со слезами радости встретил он весною семилетовских партизан, которые явились к нему с просьбой пожертвовать что-либо для их благотворительного вечера.

— Как же, как же, родные! Орлы! Я ведь сам донец, патриот до мозга костей. Извольте, извольте, милые. Сейчас вам на складе отпустят два ведра вина. Защитнички вы наши.

Партизаны не знали, как благодарить щедрого жертвователя.

На другой день в штаб отряда принесли письмо от Малахова. Вскрыли и с изумлением прочли:

«Прошу уплатить за отпущенные для отряда два ведра вина, по оо руб. за ведро, всего оо руб.».

Летом 1919 года гимназия в станице Раздорской расширялась. Возникла необходимость в новых постройках. К кому обратиться как не к Ф. И. Малахову! Местное вино скупает тысячами ведер; еще молодое, едва скисшее, а берет и хорошо платит. Этот не откажет в помощи станице, с которой связан торговыми делами.

— За честь не знаю как благодарить, станичнички... Порадовали... Да я с руками и ногами... Дом бы свой отдал под гимназию, будь это в Раздорах. Хоть сам не учен и деток не имею, а все же понимаю: ученье свет! 10 000 кирпичей, так и быть, жертвую; есть у меня, закуплены. Поезжайте с богом в Раздоры. В скорости пришлю... Просветители вы нивы народной... Сейте разумное, вечное.

Обрадованная администрация гимназии начала ждать малаховских кирпичей. Ждет и по сие время.

Надвинулась зловещая осень 1919 года. Объявили сбор теплых вещей для фронта.

Малахов поет по-весеннему:

— Господи! да ведь защитничкам-то нашим ничего не жаль. Все отдам, не пожалею, последнюю рубашку сыму. Вот тут девяносто просоленных овчин. Какие полушубочки-то выйдут христолюбивым воинам, любо-дорого.

Комиссия по сбору теплых вещей осмотрела овчины, записала их на приход и временно оставила дареное добро в складе Малахова на хранение.

— Так уж вы, батюшка ваше превосходительство, не оставьте моей просьбицы без уважения, — униженно кланялся он через день начальнику гарнизона ген. Полякову.— Так и опишите господину атаману, что от Малахова девяносто просоленных овчин. На полушубки защитникам Тихого Дона. Хорошо бы и в газетах пропечатать. Не для моего восхваления, а чтобы это послужило примером александровско-грушевским толстосумам, которые уклоняются от всяких пожертвований на армию. Большевики поступали с ними иначе, и они давали.

Прошло две недели. Комиссия прикатила к Малахову за овчинами.

— Овчины, вы говорите? Овчины, овчины? Я чтой-то забыл? Ах, эти... Вспомнил теперь. Так, только знаете, господа, какая штука-то. Я их точно хотел пожертвовать, да пришлось переиначить, видит бог, против своей воли. Есть у меня один добрый человечек, племянничек. Приехал из Ростова и давай просить, пристал как банный лист. Почти сам, своей волей, забрал их и увез в Ростов. Нету овчин, нету. Напрасно побеспокоились.

Председатель комиссии Н. Г. Харчевников попробовал пристыдить и урезонить скареда.

— Не могу-с... Которые есть овчины на складе, это не те, — другие. Те, ей-богу, увез племянник.

— Мы у вас обыск сделаем. Силой отберем то, что вы обещали. Знаете, давши слово — держись!

— По-большевистски, значит, поступить хотите? Дело ваше. Только стыдно это, господа. Стыдно унижать донца, патриота своего казачьего отечества. Весь город знает, сколько я вытерпел за Тихий Дон да за матушку Русь великую, неделимую. Большевики разграбили мое добро, в тюрьму сажали, заставляли копать могилы для тифозных покойников...

Взбешенный начальник гарнизона, однако, бессильный предпринять что-либо существенное, приказад развесить по городу афиши, в которых описывался «патриотический подвиг» Малахова. [1]

— Что ж, брань на вороту не виснет. Только напрасно изволят гневаться его превосходительство. Воля моя: сегодня захотел, — пожертвовал; завтра раздумал, — взял назад. Мое полное право! — отозвался «жертвователь» на эту репрессию.

---

[1] «Донская Речь», № 28.

Всякий раз, как войска чего-либо требовали от Малаховых на армию, они орали:

— Требовать? Отбирать насильно? Вы что, большевики? А, вот какой вы порядок несете. Теперь будем знать!

Лица их горели благородным негодованием.

— Нельзя требовать, поймите: это же по-большевистски. Вот корниловский поход был, — красота. Герои разутые, раздетые шли по степям под ледяным ветром. Ни о них никто не думал, ни они о себе не думали. Им нужна была только великая Россия. Это, действительно, бескорыстный подвиг. А тут что? Грабеж, а не великая и неделимая.

Рыцари наживы, сами того не сознавая, силились убедить «спасателей отечества» в необходимости большевизма, как единственного средства для спасения экономической жизни России от окончательного разрушения ее колдуньей в шапке-невидимке.

XVII.

БЕЛАЯ ФЕМИДА.

Один из видных политических деятелей белого юга России, сенатор Чебышев, читая в 1918 году, в г. Новочеркасске, публичный доклад о большевистском правосудии и подтрунивая над малочисленностью статей в советских уголовных законах, подчеркнул такую фразу:

— Большевики мало льют чернил, зато очень много крови.

О жестокости Советской власти, об ужасах ее «застенков», о несовершенстве и беспощадности ее карательного аппарата белая пресса не перестает трубить за границей и по сие время. Еще в 1922 году небезызвестный нововременец профессор А. А. Пиленко писал в белградском «Русском Деле» о том, что «по изумительному уголовному кодексу РСФСР чиновник, не явившийся во-время на службу, подвергается расстрелу, а хулиган, ограбивший на улице этого чиновника, отделывается кратковременным тюремным заключением». [1]

Интересно посмотреть, сколь близко к совершенству стояло отправление правосудия в белом стане и во много ли раз тогдашние судебные порядки белых превосходили такие же порядки красных.

Белую Фемиду следовало бы изображать, как Януса, двуликою. Один ее лик, долготерпеливый и многомило-

[1] Автор этой книги оппонировал подобным оценщикам советского уголовного законодательства в статье «Без предвзятого мнения», газ. «Новая Россия», София, № 21, от 22 декабря 1922 г.

стивый, был обращен в сторону «своих», будь то величайший грабитель, насильник, взяточник; другой, — неумолимый, грозный, — пожирал кровожадными глазами тех, кто так или иначе имел прикосновение к смертному греху — к большевизму.

Согласно судебным законам трех государственных образований юга России — Добровольческой армии, Дона и Кубани, имевших свои особые и независимые друг от друга судебные организации, все дела о причастных к большевизму лицах передавались на рассмотрение военно-полевых судов, а при сложности и неясности — нормальных военных судов (военно-окружные, корпусные, донской военный суд), предварительное же расследование поручалось особым органам, судебно-следственным комиссиям.

Эти последние, впрочем, учреждались только в тылу, одна комиссия на округ или уезд. Во главе каждой комиссии стоял председатель, чаще всего из числа строевых офицеров, членами же назначались и офицеры-юристы, и офицеры-неюристы, и всевозможные чиновники, и мобилизованные адвокаты и т. д.

Одним словом, это было одно из многочисленных пристанищ для интеллигентов, предпочитавших окопаться в тылу, нежели сражаться на фронте. Настоящие интеллигенты охотно поступали лишь в те судебно-следственные комиссии, которые квартировали в хороших городах. В провинциальные — спихивали всякую заваль, так что они представляли из себя свалочное место.

До чего без разбору назначали людей в эти судебные органы, можно судить по тому факту, что председателем окружной комиссии Сальского округа долгое время состоял некто Смирнов, как потом оказалось, подозрительный авантюрист, взяточник, обобравший не мало богатых людей и затем неизвестно куда скрывшийся.

Организация судебно-следственных комиссий была настолько нецелесообразна и непродуманна, что еще и не такие безобразия совершенно безнаказанно могли вытворять служившие в них лица. Первоначально за комиссиями не существовало никакого надзора. Только в последнее время деникинского владычества, когда все чаще и чаще стали раздаваться голоса о чинимых в комиссиях беззакониях, надзор за ними предоставили военной прокуратуре. Последняя, по своей малочисленности и неподвижности, а также в силу того, что с ней начальство почти не считалось, не имела никакой возможности осуществлять свой надзор за комиссиями.

В Донской области прокурорское око заглядывало всего лишь в три ближайшие комиссии (областную, ростовскую

и таганрогскую), деятельность же семи остальных так и оставалась для нас все время terra incognita.

Во главе областной комиссии, которой подчинялись окружные, стоял генерал-лейтенант Пономарев, считавший себя выше всяких прокуроров и не считавший даже нужным отвечать на разные наши запросы.

На фронте судебно-следственных комиссий не существовало.

Там расследование о деятельности «причастных к большевизму лиц» возлагалось или на строевых офицеров, производивших краткое дознание, или на чинов контр-разведки. Это, столь прославленное, учреждение действовало и в тылу, играя роль розыскного аппарата и передавая добытые сведения в судебно-следственные комиссии.

Когда контр-разведка достаточно изобличала кого-либо в «причастности к большевизму» и дальнейшего расследования не требовалось, судебно-следственные комиссии имели право прямо направлять дело в военно-полевой суд. Напротив, если комиссия находила дело чересчур сложным и требующим серьезного расследования, она передавала его к нормальной военной подсудности, т.-е. к военному следователю.

Таким образом комиссии могли выбирать себе дела по вкусу, тянуть их сколько заблагорассудится, а затем или прекращать их своей властью, или передавать в суд.

Военно-полевые суды имел право учреждать при своей части каждый военный начальник, пользовавшийся правами командира полка. На Дону в каждом городе и сколько-нибудь значительном пункте при комендантских управлениях учреждались постоянные военно-полевые суды.

На практике при действующих частях, особенно на фронте, не существовало никаких судов, а применялась расправа на месте.

— Какие там суды в военное время!

Эта стереотипная фраза не сходила с языка начальствующих лиц, характеризуя их отношение к отправлению правосудия.

— Мы мало говорим, но творим свое маленькое дело. По отношению к большевикам мы суровы и беспощадны, ибо другого выхода нет и не может быть, — говорил в апреле 1919 г. корреспонденту «Вольной Кубани» начальник 1-го Конного корпуса. [1]

Рубить пленных не считалось преступлением. В официальных сводках иногда мелькали такие известия:

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 76.

«При разгроме у нижнего течения Хопра 23-й советской дивизии конница рубила красных беспощадно. Пленных не брали. Рубя большевиков, казаки с озлоблением приговаривали: «На наш Дон захотелось!».[1]

Заодно и после боя укладывали на месте всякого, заподозренного в большевизме.

Позволяя дикие расправы на фронте, вожди заражали подчиненных кровожадностью, приучали к произволу. Жажда крови была так велика в стане белых, что в каждой компании, где бы она ни собиралась, в ресторане, клубе, поезде, то и дело раздавались возгласы:

— Я бы их повесил!

— Такую сволочь надо вешать!

— Напрасно тут же не повесили.

Виселица, с легкой руки вождей, расправлявшихся с ее помощью с большевиками, казалась единственным радикальным средством избавления от всех общественных зол и напастей.

Ой яблочко
Да на елочку,
Комиссаров - жидов
На веревочку, —

беспрерывно горланили пьяные добровольцы.

В общественных кругах весьма серьезно обсуждали вопрос, какой мучительной казни подвергнуть Ленина, Троцкого и других большевистских вождей в случае пленения их в Москве. Даже осважная печать вмешалась в эти разговоры и доказывала, что злодеи должны претерпеть ту казнь, какую определяет им уголовный закон, а нечего выдумывать свою собственную.

На фронте долгое время не давали никакой пощады даже пленным офицерам, служившим у красных. В советских войсках это знали хорошо. Поэтому как только бывший офицер попадал в плен и его расшифровывали, он обращался к врагам с единственной просьбой:

— Расстреливайте скорей, только ради бога не издевайтесь.

Пробуждение в белом воине зверя не встречало никакого противодействия со стороны самих правителей юга России. В этом отношении побил рекорд ген. Краснов.

В 1918 г. особыми зверствами над причастными и непричастными к большевизму лицами на Дону прославился войсковой старшина Роман Лазарев. Бесчисленные жалобы на злодеяния этого бандита чуть не ежедневно неслись к атаманскому трону. Но Краснов считал поступки Лазарева не более как шалостями чересчур живого ребенка.

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 198.

«Беспутный, но милый моему сердцу Роман Лазарев»,— такую красноречивую резолюцию выгравировал атаман на одной из поданных на Лазарева жалоб.

В конце 1918 г. в г. Дмитриевске (Таганрогского округа) пьяный офицер гвардейского казачьего полка ворвался в арестный дом, потребовал предъявить ему большевиков и двух из них уложил на месте. Началось следствие, но атаман, по ходатайству «полковой семьи», приказал прекратить дело. Робкий судебный следователь гражданского ведомства, не взирая на всю незаконность такого распоряжения, написал постановление о прекращении дела и направил его нам, в военную прокуратуру. Я предложил следователю продолжать следствие, т.-е. зря марать бумагу, так как, пока шла переписка, полк уже выступил из г. Дмитриевска на фронт.

В тылу бессудные расправы сплошь и рядом производились над арестованными. Дескать, пытались бежать.

«Екатеринодар, 21 июля. Бывшая учительница Ессентукской гимназии Кравченко, арестованная за большевистскую деятельность, пыталась бежать, но выстрелами конвоя была убита», — сообщали однажды «Донские Ведомости». [1]

Такого рода заметки довольно часто попадались в газетах того времени, а еще чаще подобные эпизоды оставались безвестными. Начальству не приходило в голову производить расследование об этих прискорбных фактах.

Бессудные расправы, к сожалению, неизбежны в эпоху величайшего озлобления человеческих групп друг против друга. Как же действовали судебные карательные органы?

Военно-полевой суд, по законодательству царского времени, учреждение временное, создаваемое ad hoc и прекращавшее свое существование после разбора дела. В период гражданской войны на Дону, а частично и в Доброволии, эти судилища превратились в постоянные и разбирали дела всякого рода, больше же всего о большевизме.

Личный состав военно-полевых судов еще в большей степени, нежели состав судебно-следственных комиссий, оставлял желать много лучшего.

За время империалистической войны, а в особенности за время войны гражданской, умственный и нравственный уровень офицерства опустился до самого низкого предела.

Можно сказать безошибочно, что с точки зрения культурного развития стерлась почти всякая грань между строевым офицером и солдатом. Последних массами производили в офицеры, чтобы крепче спаять с белым станом. На Дону произвели в офицеры всех казаков, игравших мало-мальски

---

[1] № 168, 1919 г.

активную роль в период весеннего восстания 1918 года. Некоторые едва умели писать и вместо офицер говорили: «ахвыцер». Дело дошло до того, что военные следователи, при допросе таких офицеров, спросив их об имени, отчестве, фамилии и чине, задавали им и тот вопрос, за который в прежнее время могли получить или оплеуху, или вызов на дуэль, в зависимости от темперамента допрашиваемого, а именно:

— Вы грамотны?

Знаменитый казак Кузьма Крючков, перебивший в начале мировой войны чуть ли не зараз полторы дюжины немцев, кончил жизнь свою в одной из битв с советскими войсками в чине сотника.

Очень часто совершенно невежественный офицер, притом испорченный до мозга костей, привыкший «партизанить» (красть, грабить), обирать пленных, расправляться с ними на месте, назначался председателем или членом военно-полевого суда.

Некоторыми бытоописателями эпохи гражданской войны, как, например, Романом Гулем, автором книги о походе Корнилова, замечено, что наибольшей жестокостью в отношении пленных красноармейцев отличались те офицеры, которые во время боя стыдливо прятались за спины товарищей, зато свою храбрость усердно демонстрировали после боя на беззащитных пленных. Эти господа при первом удобном случае охотно уходили в тыл и охотно воевали с большевиками в качестве председателей и членов военно-полевых судов.

Неразумная беспощадность со стороны военно-полевых судей порою проистекала от чересчур зависимого их положения от начальства. Командир полка, городской комендант, начальник гарнизона мог в любое время сменить состав военно-полевого суда (если он был постоянный) и отправить на фронт неугодных судей.

Чаще всего в состав суда начальствующие лица назначали своих приближенных, адъютантов, офицеров для поручений и просто известных им своей жестокостью лиц, с обязательным наставлением:

— Да вы их, мерзавцев, хорошенько закатайте! А не то я вас всех загоню, куда ворон костей не носит.

Орган правосудия в таком случае представлял из себя не что иное, как часть начальнической канцелярии.

Председателем военно-полевого суда Астраханской армии состоял престарелый жандармский генерал Громыко.

Обвинительная тенденция в этих судах, проистекавшая то из-за темноты, то из-за страха перед начальством, порой доходила прямо-таки до геркулесовых столбов.

— Если ты предан суду, значит, что-нибудь да натворил. Не зря же тебя предали суду? — таким обвинительным материалом очень часто угощали судьи подсудимого, пытавшегося доказать свою полную невиновность.

Зависимость от начальства превращала военно-полевой суд в орудие административной расправы и личной мести. В тех же случаях, когда начальство было не заинтересовано в исходе процесса, решающую роль при постановке приговора иногда играла взятка. Случаи возбуждения уголовного преследования против военно-полевых судей за взяточничество далеко не единичны. Чем дальше от центра отстоял суд и чем менее культурные люди в нем заседали, тем больше беззаконий допускал он под влиянием подкупа.

Но и в центрах не всегда обстояло благополучно, как это видно из деятельности войскового старшины Икаева.

Произвол военно-полевых судов порой проистекал еще и вследствие неудовлетворительности материально-уголовных законов белого стана. Юристы Доброволии, Дона и Кубани неоднократно пытались возможно точнее формулировать состав преступления, именуемого «причастность к большевизму». На Дону определение этого деяния занимало одну печатную страницу большого формата, в Доброволии — две. И все-таки оставался самый широкий простор судейскому усмотрению, подводить или не подводить под статью о большевизме деятельность того или иного лица.

В нормальных судах недостатки законов восполнялись юридическим образованием судей. В военно-полевых судах они всецело отзывались на спине подсудимых.

«Иногородний», в период господства Советской власти в станице, утащил из пустой казачьей хаты кой-какой хлам. При возвращении белых казак отыскивал свой ухват и ведро у «иногороднего». Последнего привлекали к ответственности за большевизм.

Крестьянина избрали свои же сельчане в члены сельсовета и казначеи, совершенно так же, как раньше выбрали бы в старосты или в сборщики податей. Привлекается по обвинению в большевизме.[1]

Разгром помещичьей усадьбы в эпоху Керенского. Несомненный большевизм.

Когда летом 1919 года освободились от советских войск Донецкий и Верхне-Донской округа, то вернувшиеся на места белая власть и судебно-следственные комиссии при-

---

[1] 30 мая 1919 года военно-полевой суд при коменданте главной квартиры (Деникина) присудил за такие деяния к расстрелу крестьянина Курской губ. Никиту Ивановича Гиревого. Приговор был приведен в исполнение. «Вольная Кубань», № 120.

влекли к ответственности «за сочувствие большевизму» чуть-чуть не все неказачье население этих округов.

Случаи бывали до-нельзя курьезные.

Так, крестьянин уклонился от военной службы. Военно-полевой суд приговорил его к расстрелу «за большевизм».

«Уклоняясь от службы в Донской армии, подсудимый уменьшил состав последней на одного человека и тем самым оказал содействие Советской власти», — таковы подлинные слова приговора, поступившего к нам в прокуратуру на ревизию, увы, уже после того, как осужденного вывели в расход.

Случалось, что причастным к большевизму оказывался казак, продавший свою верховую лошадь цыгану: он ослаблял боевую мощь нашего войска к выгоде врага.

Некоторым противовесом всей этой безалаберщине, проистекавшей от чересчур расплывчатого определения «большевизма», служила весьма широкая санкция статьи, предусматривавшей это деяние, — от смертной казни до штрафа (на Дону), в зависимости от большей или меньшей активности подсудимого. Более человечные, более развитые или более политичные председатели военно-полевых судов не стеснялись пользоваться этой широтой при назначении наказания за большевизм.

Казалось бы, сознавая дефекты военно-полевой юстиции, белые законодатели, так ревновавшие о правовом строе, должны бы были установить самый реальный надзор за деятельностью судов этого рода. Намеки на такой надзор существовали, но только намеки.

По законам, действовавшим в Доброволии, приговоры военно-полевых судов, прежде обращения их к исполнению, представлялись, вместе с делом, на утверждение того начальника, который учредил суд. Нечего и говорить, что, утверждая или не утверждая приговор, такой начальник менее всего соображался с соблюдением или несоблюдением судом гарантий правосудия. Тут решающую роль играло соображение начальника о том, согласуется или не согласуется приговор с его волей.

В случае, если начальник находил приговор суда чересчур суровым, он мог понижать наказание (до известного предела) своей властью или же ходатайствовать перед высшей инстанцией о возможно большем смягчении участи подсудимого, равно как и о полном помиловании. Наоборот, если находил приговор чересчур мягкими или не соглашался с оправданием, он имел право возбуждать вопрос о пересмотре дела, при чем, в случае согласия на то высшего начальства, вторичное разбирательство происходило в нормальном военном суде.

В Добровалии, где непоколебимо господствовал дух царской эпохи, и нормальные военные суды находились под весьма большим влиянием высшего начальства, судейская совесть сплошь и рядом попадала под пресс начальнической воли, и далеко не все военные юристы имели мужество отстаивать интересы правосудия.

Помню один интересный случай. В 1918 году, при занятии белыми Ставрополя, попался в плен бывший интендантский чиновник, по фамилии не то Чиквадзе, не то Цивадзе, которого местный полевой суд приговорил к восьми годам каторги за то, что он у красных занимал должность дивизионного интенданта. Ставропольские военные власти, не соглашаясь с приговором, возбудили перед Деникиным вопрос о вторичном разборе дела, которое и попало в корпусный суд Добровалии. Полк. Сниткин исправил промах военно-полевых судей, приговорив злосчастного чиновника к расстрелу.

Таким образом в Добровалии почти весь судебно-карательный аппарат находился в ведении военного начальства; судьба подсудимых всецело зависела от разных начальников, военно-полевая же юстиция (а частично и нормальные военные суды) являлась орудием в их руках.

Благодаря этому наблюдалось необычайное различие судебной репрессии в отношении лиц, одинаково «причастных к большевизму», но имевших различные чины. В то время, как сама высшая власть в лице Деникина добивалась расстрела маленького интендантского чиновника, перебежчики — пленные генералы, а генштабисты и в меньших чинах, хотя и предавались для проформы военно-полевому суду за службу в Красной армии, но затем неукоснительно миловались. За всю войну на юге России белыми не был расстрелян ни один генерал. Для этих «своих» людей общий масштаб не подходил, даже когда они обвинялись в смертном грехе — большевизме.

По донским законам военному начальству не принадлежало право конфирмации приговоров военно-полевых судов, но зато устанавливался некоторый контроль деятельности этих судилищ со стороны военной прокуратуры. По обращении приговора к исполнению, военно-полевой суд обязан был отправить дело военному прокурору Донского военного суда на ревизию, т.-е. для оценки приговора с точки зрения законности.

Заметив явное нарушение законов при судебном разбирательстве или при постановке приговора, прокурор возбуждал ходатайство перед атаманом или об исправлении приговора путем приказа, или о вторичном рассмотрении дела в другом военно-полевом суде. Не ограничиваясь

этим, мы присвоили себе право возбуждать вопрос о перерешении дела и в тех случаях, когда находили приговор явно несправедливым и по существу дела.

Но и практиковавшуюся на Дону систему надзора над военно-полевыми судами нельзя признать удовлетворительной. Для лиц, осужденных к смертной казни и расстрелянных, прокурорская ревизия post factum не имела никакого смысла. Какие бы вопиющие беззакония ни были обнаружены прокурором, причиненное ими зло уже никто не мог устранить.

Далее, прокурорская ревизия мало достигала цели еще и потому, что все донское государство имело одного военного прокурора, с четырьмя помощниками, которых заваливали делами из военно-полевых судов. Фактически просмотром этих дел занималось два-три малоопытных кандидата. Они рылись, как кроты, в бумажных горах, не питая особой любви к этой мертвой работе.

При заинтересованности военно-полевого суда тем или иным делом он мог и вовсе не отправлять его на нашу ревизию. Мы не могли бы и узнать об его существовании.

Слабая попытка донского законодательства внести хоть какой-нибудь корректив в деятельность военно-полевых судов свидетельствовала только о добрых намерениях законодателя, но существенной пользы не приносила. Орган надзора, военная прокуратура, вообще в белом стане играл ничтожную роль. На глазах самой прокуратуры сплошь и рядом совершались грандиозные правонарушения, но она не смела и пикнуть.

Суждение лиц, «причастных к большевизму», нормальными военными судами производилось лишь в виде исключения из общего правила. По законам Доброволии, эти суды пересматривали все дела, поступавшие из военно-полевых судов, в виду несогласия начальства с приговором. Затем, по донским и добровольческим законам, нормальные военные суды разбирали те «большевистские дела», которые, по своей сложности и неясности, не могли быть рассмотрены такими примитивными судилищами, как суды военно-полевые.

Небезынтересно отметить, что при суждении «причастных к большевизму» лиц в нормальных военных судах смертные приговоры выносились очень редко, а наш Донской военный суд, разобравший за все свое существование таких дел не более десяти, не вынес ни одного смертного приговора. При всем моем слабом уважении к донскому атаману ген. Богаевскому, как правителю, я не могу не воздать ему должного: он никогда не пытался насиловать судейскую совесть, никогда не требовал ни для кого уси-

ленной кары и никогда не возмущался мягкостью приговоров нашего суда по «большевистским» делам. Более того, даже и то слабое наказание, которое назначал наш суд, этот мягкий человек сводил на-нет, пользуясь своим правом помилования.

Так как участия защиты в военно-полевых судах не допускалось, то главная забота тогдашней адвокатуры, к которой родственники подсудимых все-таки обращались за помощью, сводилась к тому, чтобы как-нибудь заинтересовать военную прокуратуру, доказать ей сложность и неясность того или иного дела, находящегося в производстве судебно-следственных комиссий или в военно-полевом суде, и добиться обращения дела к нормальной военной подсудности.

Достижение этой цели считалось венцом адвокатского успеха.

О контр-разведке, органе политического розыска, следует поговорить особо. Она снискала себе даже в самом белом стане печальную славу. Особенно контр-разведка добровольческая.

В ней находили себе пристанище наиболее темные, наиболее преступные элементы, бывшие провокаторы, охранники, жандармы, полицейские, казнокрады, воры и т. д. Эта продажная, бессовестная братия не столько вылавливала неприятельских агентов, сколько обывательские ценности всех сортов.

В Ростове, при донской комендатуре, контр-разведкой заведывал штабс-капитан Глинский, бывший помощник пристава.

В 1918 году, в период недолгого господства большевиков в Ростове, с февраля по конец апреля, он не ушел из города, а оставался на месте и отлично изучил всех советских должностных лиц. Когда возвратились белые, никто лучше его не мог выискивать советских работников. Беспрерывные обыски и аресты, которыми он руководил, обогащали его карман. Особенно разбогател он после того, как избавился от такого опасного конкурента как войсковой старшина Икаев.

Карьера Глинского закончилась самым обычным образом. Изобличенный в ряде вопиющих грабежей и вымогательств, он попал под следствие, но ни капельки не пострадал, так как нам было сообщено, что его отправили на фронт.

Двух его преемников постигла та же участь.

Одну жертву шт.-кап. Глинского мне чисто случайно удалось вырвать из костлявых рук смерти.

Дело таково, что на нем стоит остановиться.

Зимою 1918—1919 года ростовские газеты сообщили об аресте большевистского комиссара Абрамова. Комис-

сарами в белом стане, по недоразумению, звали всех ответственных советских работников.

Абрамов при большевиках, действительно, играл кой-какую роль в Ростове; если не ошибаюсь, был членом Совдепа. Человек семейный, он в апреле 1918 г. не захотел уходить с советскими войсками, остался в Ростове и скрывался под чужой фамилией. Через полгода Глинский все-таки пронюхал о пребывании Абрамова в городе и о том, что он иногда ночует у своей супруги, служившей в государственном банке.

Сделали облаву. Ворвались к М-me Абрамовой.

— Где супруг?

— Был, но ушел,—ответила дама, на которую было направлено несколько револьверных дул.

В квартире произвели тщательный обыск, реквизировали в свою пользу все ценности, но комиссара не нашли.

Хотели уже уходить, проклиная неудачу. В это время дозорные, расставленные на улице, донесли, что на крыше мелькает какая-то фигура.

Это оказался Абрамов. Его задержали и подвергли допросу с пристрастием. Считая, что Абрамов остался в тылу белых для конспиративной работы, контр-разведка раздула дело, приплетя к нему некоего Дерикафтанова и других, арестованных по обвинению в организации большевистского заговора. Абрамова провозгласили главою, руководителем красной разведки в Ростове, так что он вырос до размеров крупного большевистского деятеля.

Контр-разведка ликовала и готовилась пожать лавры. В смертном приговоре Абрамову никто не сомневался.

Как-то раз в апреле или мае 1919 года, когда я находился в Ростове, ко мне в гостиницу зашел мой добрый приятель подполковник Одишелидзе. Этот грузин был сын последнего командующего Кавказской армией (в мировую войну), назначенного затем военным министром меньшевистской Грузии. Желая доучиваться в Новочеркасском Политехникуме, Одишелидзе жил на Дону на положении иностранца. Я был крайне удивлен, увидя, что вместе с ним ко мне в номер пришла его супруга Клеопатра Александровна и еще какая-то молодая дама, исхудалая и заплаканная.

— Иван Михайлович! вся надежда на вас,—обратились ко мне супруги Одишелидзе.—Помогите, чем можете, спасите человека, которого сделали козлищем отпущения и хотят прикончить во что бы то ни стало.

Незнакомая дама вдруг упала в кресло и зарыдала.

— В чем дело? Кому я могу быть полезен?

— Спасите человека, хоть ради его семьи.

— Кого?

— Абрамова.

Я раскрыл рот от изумления, не понимая, почему за него хлопочет мой приятель.

— Абрамова, — продолжал Одишелидзе. — Я до сих пор стеснялся говорить это вам, но он родной дядя моей супруги. А это — госпожа Абрамова.

— Да, я жена человека, от которого отвернулся весь мир, — глухо, сквозь слезы, заговорила дама. — Глинский, контрразведка, начальник гарнизона, все, все хотят его смерти. А что он кому сделал худого? Спасите несчастного! Он уже и так на человека не похож, столько его терзали. Не смерти он боится, а дрожит за будущность семьи. Все, что у нас было ценного, Глинский забрал при обыске.

— Я решительно ничего не могу сделать. Абрамов предан военно-полевому суду, в деятельность которого мы не в праве вмешиваться. Наконец, об Абрамове так много говорили и даже писали, что он, несомненно, натворил много зла.

— Что вы, что вы! Он никого не убивал и не грабил. Душ десять ростовцев дали следственной комиссии самые хорошие отзывы о нем.

Супруги Одишелидзе заинтересовали меня делом, о котором я так много слышал.

— Хорошо. Я просто из любопытства постараюсь прочитать следствие. Если ваш дядя таков, как вы его рисуете, кое-что я предприму, но в частном порядке.

Абрамова сразу воспрянула духом.

— Когда же суд? — спросил я.

— Завтра. Судят его одного, без той компании, к которой его приплели. О тех еще ведется расследование.

— Дайте же мне адрес военно-полевого суда. Завтра утром я зайду туда и попрошу дать мне дело, думаю, не откажут. Если я увижу, что Абрамов никого не убивал и не подстрекал к убийству, а просто советский работник, укажу судьям на бессмысленность смертного приговора.

Одишелидзе и Абрамова ушли от меня сияющие. Слабая надежда, поданная мною, у них уже перешла в уверенность в благоприятном исходе дела.

На мое, точнее на счастье злополучного комиссара, председателем военно-полевого суда оказался молодой аристократ, гвардейский офицер, правовед по образованию, граф Ив. Ив. Канкрин. [1] Я хотя не был с ним знаком, но знал, что он хлопочет о своем назначении на должность воен-

---

[1] Правнук знаменитого министра Николая I.

ного следователя при нашем суде, так как военно-полевая юстиция тяготила его.

Утром, узнав о моем прибытии в суд, Канкрин выбежал встречать меня в зал заседаний и рассыпался в любезностях.

— У вас, граф, кажется, сегодня разбирается дело Абрамова?—спросил я как бы вскользь.

— Так точно. Видите, в углу арестант под конвоем. Это и есть Абрамов.

Я взглянул. Человек, обросший бородой, с тупым, бессмысленным взглядом, одетый в солдатскую шинель, сидел на лавке, выпрямившись, точно статуя Рамзеса.

— Это дело чистое,—продолжал Канкрин.—Наверно, сами знаете, г. полковник, что это за птица?

— Нет, пока точно не знаю. Если будете так любезны, то не откажите дать мне следственный материал.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Мы вошли в совещательную комнату, где находились секретарь и двое судей. Один из них, толстощекий есаул Е—ов, недружелюбно поглядел на меня исподлобья. Другой щупленький, неяркий офицерик почтительно вытянулся в струнку.

Я наспех проглядел следствие и убедился, что супруги Одишелидзе не ввели меня в заблуждение.

— Странно!—пожал я плечами.—Кричали, что Абрамов руководил большевистской разведкой, а это решительно ничем не доказано. Остается голый факт его работы при большевиках. Но и тут он не проявил никакого человеконенавистничества. Суровый приговор, по моему мнению, в данном случае неуместен.

— А по-моему, таких и судить нечего,—резко возразил мне Е—ов.—Раз, два и к стенке. Чего там миндальничать. Они тоже не щадили нашего брата.

— Но ведь Абрамов никого не убивал. Надо же разбираться в каждом отдельном случае. На то и суд существует.

Е—ов не унимался. Я подумал:

— Какой жестокий человек! Идейный мститель! Всякого большевика готов отправить к праотцам.

Но я ошибся. Через две-три недели графа Канкрина назначили к нам в суд, Е—ов занял его место и вскоре же попал под следствие, уличенный во взяточничестве: за 10 000 руб. он обещался оправдать одного «большевика».

— Так, значит, г. полковник,—обратился ко мне Канкрин, провожая меня на улицу,—не расстреливать? Присудить к каторге? На сколько лет?

Такая услужливость меня уже начала пугать.

— Боже упаси меня вмешиваться в дело полевого суда. Я поинтересовался делом Абрамова из любопытства и вы-

сказал свое частное мнение. Думаю, что вы, как юрист, сами понимаете дело не хуже меня.

Польщенный моими словами, граф расшаркался и распрощался со мной.

— Не беспокойтесь, — сказал я подполк. Одишелидзе, поджидавшему меня на следующей улице. — Дядя Клеопатры Александровны будет жить.

Так и случилось. На другой день я узнал, что Абрамова приговорили к двенадцати годам каторжных работ.

Контр-разведка не ожидала такого оборота дела. Судебно-следственная комиссия морщилась, комендатура негодовала. Вскоре проведали о моем визите в военно-полевой суд.

Начальник гарнизона, ген. Тарасенков, получил анонимное письмо (я сам его потом читал), в котором ему сообщали, что Абрамов, Дерикафтанов и К°, сидя в тюрьме, имеют сношение со своими товарищами, еще не пойманными; что большевистская организация крепнет и из всех сил старается спасти Абрамова; что для этой цели она привлекла на свою сторону прокурора временного военного суда в Ростове Калинина; что теперь, когда, благодаря последнему, Абрамову не грозит смерть, организация стремится освободить своего главу из тюрьмы.

Таким образом и я попал в большевики!

Ген. Тарасенков добился через атамана, без мнения прокуратуры, передачи дела на вторичное рассмотрение в Новочеркасский гарнизонный военно-полевой суд.

В Новочеркасске и комендатура, и контр-разведка относились безразлично к делу Абрамова. Поимка последнего увенчала лаврами чело Глинского, здешние же контр-разведчики могли только завидовать успехам своего ростовского собрата.

Зная все перипетии этого дела и мое мнение по поводу виновности Абрамова, здешний суд не только не «угробил» подсудимого, как того хотелось ростовским властям, но присудил его к еще более мягкому наказанию — к пяти годам каторжных работ.

Это наказание на Дону заменялось для лиц, осужденных за «большевизм», переводом в «разряд красноармейцев», т.-е. их приравнивали к военнопленным и отправляли на работы вместе с ними.

Дальнейшей судьбы Абрамова я не знаю.

Размах добровольческой контр-разведки был несравненно шире, чем донской, и ее методы воздействия на обвиняемых отличались от грубой самодельщины Глинского. Спецы-охранники применяли утонченные приемы при допросах и умели поставить дело политического розыска на такую широкую ногу, что в апреле 1919 года обвинили

в большевизме даже офицеров сербской миссии и усадили их в тюрьму.

Один из этих несчастных, подпоручик Слаби, кое-как ухитрился послать из-под ареста своему начальству рапорт от 28 мая за № 2:

«Я, подпоручик Сербской армии Иосиф Слаби, 23 апреля был арестован чинами новороссийской контрразведки и до сего времени мне не предъявлено никаких обвинений. В г. Новочеркасске я находился под арестом в условиях, лишенных всяких признаков европейской культуры. Сидя под арестом, я узнал об арестованных просто из личных счетов русских офицерах, ни в чем неповинных, — они без предъявления обвинения сидели по полгода, теряя свое здоровье и силы. Я слыхал, как при дознаниях до крови били людей железными палками, добиваясь от них какого-нибудь показания. Меня оскорбляли, держали в одной комнате с разного рода преступниками и в позднее ночное время, от 12 часов до 2 часов ночи, снимали с меня допрос. Я при таких условиях, конечно, не был в состоянии давать логических показаний, а, самое главное, я слыхал, как, печатая на машинке мое показание, не печатали того, что я говорил, а вплетали в дело лиц, которые к данному делу не имеют никакого отношения. Когда я, по окончании допроса, хотел прочесть показание, мне отказали и заставили просто подписать. Зная, что такое контр-разведка, я был уверен, что меня могут, действительно, даже и расстрелять. Я подписал ту бумагу, которую мне подсунули, но что там написано, до сего дня еще не знаю. Поэтому прошу представителей союзных миссий освободить меня, дабы я мог говорить правду, — при подобных же условиях меня могут заставить подписать и смертный приговор».

Этот рапорт был опубликован в «Вольной Кубани»[1] временно-исполняющим должность «делегата королевского сербского правительства» лейт. М. Поповичем, просившим другие газеты перепечатать.

Одновременно с подпор. Слаби контр-разведка арестовала еще несколько сербских и чехо-словацких офицеров, в том числе и подпор. Любомира Михайловича. Последнему удалось добиться, чтобы его, наконец, судили, но не чрезвычайным, а нормальным военным судом.

17 июня, в г. Екатеринодаре, корпусный суд Добровольческой армии разбирал «небывалое в летописях русского суда дело по обвинению сербского офицера в государ-

---

[1] «Вольная Кубань», № 128, от 7 июня 1919 г.

ственной измене», как выразился защитник Михайловича, присяжный поверенный Арондар.

На суде присутствовали представители иностранных миссий. Британский капитан Халви, уполномоченный ген. Хольманом, заявил судьям, что деятельность Михайловича в России известна союзникам и не заслуживает порицания, деятельность же контр-разведки, взломавшей печати в сербской миссии при обыске, крайне предосудительна, и суд должен довести об этом до сведения Деникина.

Прокурор, после такого заявления, мог только отказаться от обвинения. Михайлович вышел из суда оправданным.[1]

Тогда же, в июне, к английской миссии обратился с жалобой на действия контр-разведки совет профессиональных союзов. В посланной записке указывалось, что в последнее время участились массовые аресты среди рабочих. Арестованным не предъявляется никакого обвинения, при чем обращение с ними, даже с женщинами, невероятно грубое, носящее характер издевательства.[2]

В отношении русских рабочих, обиженных контр-разведкой, англичане не проявили такого внимания, как к сербским офицерам. Ничего не сделал и кубанский атаман, когда железнодорожные рабочие станции Тихорецкой пожаловались ему на бесчинства добровольческих охранников.

Контр-разведка эпохи Деникина представляла из себя таинственное, самодовлеющее учреждение, куда не имело права заглядывать прокурорское око. То ли она делала, что ей поручалось законом, или что-либо другое, этого никто не знал.

Таков, в общих чертах, был облик белой Фемиды, каравшей за «большевизм». Белые законодатели приложили мало старания, чтобы гарантировать правосудие тем лицам, над головами которых тяготело обвинение в причастности к «большевизму». Десятки, сотни людей истреблялись на юге России ежедневно во исполнение приговоров военно-полевых судов и при бессудных расправах.

За приведением в исполнение судебных приговоров почти никто не наблюдал: между тем о воспрещенных законом жестокостях, совершаемых при этом, ходили леденящие душу рассказы. Бывали случаи, когда в окрестностях Ростова находили трупы зарубленных, валявшиеся прямо на поле или на дороге, и принимали их за жертвы разбойников, вследствие чего протоколы попадали к сле-

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 138.
[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 124.

дователям. И лишь потом выяснялось, что это трупы казненных.

Новочеркасский начальник гарнизона ген. Яковлев, добрый и симпатичный старик, однажды приезжал в прокуратуру и жаловался на то, что калмыки-палачи, потерявшие человеческий облик, слишком глумятся над осужденными.

Если в эпоху гражданской войны много лилось крови на фронте, то не мало пролилось ее в белом тылу. На фронте она лилась реками, но и в тылу текли целые ручьи ее, обагряя своими потоками грозный лик белой Фемиды.

Что касается судебной кары за те преступления, которые не имели связи с большевизмом, то тут тоже наблюдалось не мало своеобразия.

Суды гражданского ведомства в эту эпоху стушевались. Дела о наиболее тяжких преступлениях, — грабежах, разбоях, убийствах, — передавались на рассмотрение или военно-полевых или нормальных военных судов. Первые не церемонились, если судили не военных; вторые нередко проявляли излишнюю гуманность. Наш донской военный суд за полтора года своего существования не вынес ни одного смертного приговора и по разбойным делам.

Неудовлетворительная постановка судебной кары в белом стане наиболее рельефно сказывалась при борьбе с должностными преступлениями. Военная прокуратура, малочисленная, бессильная, глухая и немая, менее всего могла пугать казнокрадов, взяточников и т. п. О совершении того или иного преступления она могла узнать только тогда, когда ее уведомляло начальство, желавшее возбудить дело. Если поступала жалоба в прокуратуру, приходилось препровождать ее тому же начальству для производства дознания.

Начальство играло решающую роль. Не воспитанные в духе закона, сами многогрешные, военные начальники предавали виновных суду только в том случае, если имели с ними счеты или хотели избавиться от них. При этом, для обеспечения приговора в желательном духе, старались прибегать не к нормальному военному, а к военно-полевому суду.

Да нашему и не было смысла предавать, потому что мы назначали следствие, а оно в условиях военного времени тянулось бесконечно. Следственный аппарат на Дону, например, почти не действовал. На все всевеликое имелось три военных следователя, живших в Новочеркасске. Их работа сводилась лишь к составлению приемных постановлений и розыску, путем переписки, свидетелей, обвиняемых и т. д.

Проведав об этом, военные начальники стали охотно передавать военным следователям те дела, которые получили огласку, но по которым не хотелось карать виновников. Последних, одновременно с передачей дела следователю, отправляли на фронт. Такой маневр был равносилен прекращению дела.

Зато в тех случаях, когда военное начальство хотело кого-нибудь упечь, оно знало, как это сделать без нашей помощи.

В конце 1918 года один из начальников отрядов, ген. З., взбешенный тем, что обнаружил преступную связь своей супруги со своим адъютантом шт.-ротм. Климом, отправил последнего в ближайшую станицу для разбора дела в тамошнем военно-полевом суде за сомнительные должностные преступления. На счастье или несчастье Клима, этот суд расформировали, самого же его переслали в Новочеркасск, для содержания на гауптвахте. Бедняга просидел восемь месяцев, пока мы разыскивали дело. Наконец, оно пришло. Рассмотрев его, я не нашел даже состава преступления.

Другой случай—почти исключительный. Это осуждение коменданта станицы Каменской войскового старшины Холмского каменским же военно-полевым судом.

В царское время Холмский писал фельетоны, под псевдонимом «Курмояров», в правительственной военной газете «Русский Инвалид». В 1917 году он попал на Дон и при Каледине редактировал, если не ошибаюсь, донской официоз.

В 1918 году, после освобождения Сальского округа от большевиков, этот офицер-литератор, набрав шайку головорезов, занялся розыском своего имущества, разграбленного крестьянами из его хутора. Зарево пожаров освещало его шествие по деревням и станицам. В Кутейниковской он расстрелял нескольких крестьян, а дома их сжег. То же повторялось и в других местах.

Действия его вызвали такой ропот, что начальству для проформы пришлось назначить следствие, самому же ему дали новое назначение на должность коменданта окружной станицы Каменской.

Следствие, как водится, затянулось на неопределенное время. Однажды в Новочеркасске мне пришлось познакомиться с Холмским. Он произвел на меня впечатление вполне культурного, даже светского человека. Его самоуправные действия в Сальском округе я уже готов был отнести не к испорченности его натуры, а к общему озлоблению казаков против «иногородних».

И вдруг, спустя две-три недели после этого, просматривая присланные на ревизию дела каменского военно-поле-

вого суда, я натолкнулся на дело о Холмском. Прочитал и не хотел верить своим глазам. Суд приговорил его к расстрелу за то, что он арестовывал по своему усмотрению зажиточных людей, отбирал у них ценности и затем приказывал вывести их в расход. Приличный с виду человек, до некоторой степени даже известный в военном мире журналист, оказался гнуснейшим преступником.

Его расстреляли.

Таких преступников, к сожалению, в белом стане встречались сотни, если не тысячи, но пострадал лишь один Холмский. Спрашивается, почему? Потому что был на ножах с начальником гарнизона.

Ему просто не посчастливилось.

Комендант другой окружной станицы, Великокняжеской, есаул Земцов, также прикончивший несколько человек и приговоренный к расстрелу, спасся: успел послать телеграмму атаману Богаевскому, и тот его помиловал. А Холмскому не дали возможности обратиться к монаршей милости.

Начальство казнило, начальство и миловало. Казнило тех, кто не хотел ему потрафить; угодных возносило до небес вместо предания суду.

Войсковой старшина Икаев преблагополучно странствовал по белому стану со своей шайкой, совершая убийства и грабежи. Другой герой того времени, Роман Лазарев, конкурировал с ним по части злодеяний. У военных следователей росли, как грибы, дела о подвигах этих «поборников долга перед родиной», а преступники то здесь, то там занимали разные тыловые должности и показывали фигу белой Фемиде.

Нормальный суд при ненормальных условиях оказался абсурдом. Организация же чрезвычайного ничуть не содействовала обузданию должностных лиц, а, напротив, сводилась к еще большему усилению начальнического произвола.

До чего жалкую роль играла военная прокуратура, показывает следующий пример.

К атаману Богаевскому в сентябре 1919 года поступила жалоба на начальника автомобильной части Донской армии полк. М — ва. Атаман препроводил жалобу в прокуратуру. Я ознакомился с нею и, обнаружив указания на ряд злоупотреблений, вплоть до покушения на честь телефонисток и машинисток, лично доложил Богаевскому о необходимости производства дознания. Атаман поручил расследование дела одному из своих приближенных, ген.-лейт. Алексееву. Последний установил, что многие пункты жалобы подтверждаются вполне. Мы ждали дела, думая, что наконец-таки хоть одна более или менее крупная рыба

попала к нам. Я уже заранее предвкушал удовольствие произнести громовую речь.

Спустя некоторое время в прокуратуру прибыло из дворца, но не дознание, а известие о том, что командующий армией ген. Сидорин представил М — ва в генерал-майоры. Они оказались в родстве. Атаман, по требованию командарма, аннулировал дознание, произведенное ген. Алексеевым, и назначил, для проверки жалобы на М — ва, целую следственную комиссию, т.-е. дело положил под сукно.

В тех редких случаях, когда нашему суду все-таки удавалось осудить какого-нибудь казнокрада или взяточника, начальство осужденного обращалось к атаманскому милосердию и никогда не получало в нем отказа.

При таких условиях судебная процедура являлась бессмысленной игрушкой.

Существование многих неизлечимых язв белого стана всецело следует объяснить никуда негодной постановкой судебного дела.

XVIII.

КРУГ КРУЖИТСЯ.

19 сентября, вскоре после возвращения Мамонтова из набега в тылы Красной армии, в Новочеркасске произошло одно молчаливое, но глубоко знаменательное событие:

Над атаманским дворцом взвился трехцветный русский флаг. [1]

Красно-бело-желтый донской отошел в историю.

— Москва теперь близко; довольно дурака валять, играть в какую-то донскую самостоятельность, — как бы говорил атаман своему народу.

Круг не мог разделить такого мнения.

Если атаману не приходилось беспокоиться о своей судьбе, в случае падения Москвы и «восстановления» единой русской власти, то законодатели не без волнения смотрели вперед. Будет ли тогда продолжаться этакое благополучие, которое теперь нежданно, негаданно привалило?

Станичные администраторы, урядники, «хорунки», «прапорщики от сохи», «химические» офицеры и тому подобная братва, — добрых 85% всего состава Круга, — за год с лишком вполне вошли в роль законодателей. Они мастерски аплодировали тем интеллигентам, которые говорили что-либо забористое, этакое сногсшибательное, прохватывая кого-либо из членов правительства; сладко дремали

[1] «Донские Ведомости», № 218.

на заседаниях, когда разбирались какие-либо нудные, мудреные вопросы, в роде аграрного; осторожно голосовали, всматриваясь в лица и в положение правой руки Янова, Агеева, Дудакова, Скачкова и других «лидеров».

Партийность на Круге почти отсутствовала. Были группировки возле того или иного лица из интеллигентов, которому более доверяли. Так, хоперцы больше тянули к Дудакову, усть-медведицкие — к левому Агееву или серо-буро-малиновому Скачкову, «черкасня» — к Янову, вождю местных «зубров», ярому стороннику Краснова. Но решения почти всегда выносились такие, какие были угодны Харламову, личность которого давила всю мелкотравчатую публику.

Ничем так страстно не интересовались «хузяева» земли донской как делом снабжения. Разумеется, не обсуждением скучнейшего вопроса о снабжении армии и населения, а животрепещущими разговорами о том, где, что и когда можно урвать для самих себя.

Канцелярия Круга из сил выбивалась, составляя бесконечные требования в довольствующие учреждения то на муку, то на сахар, то на вино, то на спирт, то на белье, то на английское обмундирование.

Законодателям не могло быть отказа.

«Хузяева» ведь!

Нагруженные «зипунами», еще более, чем их товарищи, «партизанившие» на фронте, разъезжались «господа члены» на каникулы по своим станицам. Избиратели, из зависти к их добыче, встречали их крайне недружелюбно и на чем свет стоит ругали их законодательную деятельность.

На фронт «хузяева» не рисковали показываться. Там их ждали плети.

— В тылу окопались! Языком работаете! Пожаловали бы сюда позаниматься разговорчиками.

В Новочеркасске общежитие «хузяевов» помещалось на Платовском проспекте, в духовной семинарии. Его звали домом сумасшедших. Кого из культурных людей заносила туда судьба, тот мог подумать, что неведомая сила перенесла его из XX века в XVII, из эпохи Краснова и Деникина в эпоху самозванцев, и что он попал не в квартиру парламентариев, а в притон воровских казаков.

Сюда иногда приходил полк. М. Н. Гнилорыбов, тот самый член Круга, который возражал всем и всякому из духа противоречия. Тот самый, который громил провинциальную администрацию и который быстро сбежал с должности окружного атамана Сальского округа, куда его назначили, чтобы он показал на опыте, как должен хозяйничать образцовый администратор.

Вздорный пустомеля, он практиковал предварительные совещания со своими единомышленниками, поучая «хузяевов» за чашкой спирта, кому на завтрашнем заседании надо хлопать до упаду, кому кричать «атю!».

В свободное от государственной работы время «г.г. члены», усевшись на груды своей добычи, брались за карты, — конечно, не географические, а игральные, — и с остервенением дулись в «очко» до утра, когда надо было итти в Круг или в кровать, смотря по настроению.

— Приходи! Есть спиртное, поужинаем! — приглашал, бывало, один новочеркасский гражданин другого.

— Спирт? Да ведь его днем с огнем не достанешь.

— А на кой чорт тогда члены Круга? У меня там два десятка приятелей.

Странный был этот Новочеркасск, столица всевеликого войска Донского. И не менее странны были столичные граждане.

Каждый из них ежедневно, по меньшей мере, раз десять проходил мимо атаманского дворца. Но все, вместе взятые, только спустя несколько дней узнали из газет, что над дворцом уже более не развевается донской «национальный» флаг. Здесь, в столице, донскими законодателями созидался фундамент демократического казачьего государства. А новочеркассцы расценивали законодателей не более как поставщиков спирта, забыв, что они — поставщики только мудрых законов.

«Г.г. члены» ничем не реагировали на перекраску донского флага. Харламов молчал. Другие «лидеры» давно уже махнули на атамана рукой.

— Блажной какой-то. Ему бы в пору занимать должность классной дамы в заведении для благородных девиц! Что возьмешь с человека, и так богом обиженного.

Братва же определенно любила атамана, хотя и не с пеленок, а с того времени, как он стал у власти. Не в пример Краснову, — этакий ласковый, деликатный, никому слова поперек не скажет и никому ни в какой просьбе не откажет. А главное, — производит, производит без конца.

Если бы наружность воина изменялась с чинами, то большинство мальчишек, членов Круга, за год могли бы обрасти бородами. Вчерашний «хорунок» за свое умелое законодательство сегодня становился штаб-офицером. А ведь каждый полковник, как поется в юнкерской песне, бывает с «препохабной бородой».

Как из рога изобилия сыпались на братву жизненные блага. «Зипуны», чины, почести, спиртуозы.

Беспокоила только одна мысль: а вдруг из Москвы, освобожденной Деникиным, раздастся повелительный голос:

— Кругу не быть! Выборному атаману не быть, а править нам, нашей отчиной, Тихим Доном, по старине и по пошлине.

Но пока — день, да наш!

Французское судно «Le scarpe» привезло на юг России дорогих гостей, кадета В. А. Маклакова и чешского демократа Крамаржа.

— Два дорогих гостя — два посла! — разливался по обычаю в «Донских Ведомостях» сладкозвучный П. Казмичов. — Один от родного славянства, веками погребенного и ныне воскресающего для великой мировой жизни. Другой — посол от единой, великой России, которая ведь когда-то была, которой теперь нет, но которая ведь будет. И оба гостя, оба посла, прибыли к нам из Парижа. Оттуда, где ныне центр мировой жизни. [1]

Посол от великой и единой, проживающий в Париже, 21 октября сообщил Кругу, что его, маклаковское, дело трудное, но благодарное; рассказал, как он живет и работает в Париже в передних французских министров и как собирает землю русскую, находясь за тысячи верст от нее.

— Господа! — говорил он вдохновенно, в кадетском экстазе. — Россия встает. У нас, русских людей, действительно, есть большая вина: мы слишком много говорили, но у нас оказалось мало работников. Мы должны исправить ошибки. Друзей же у нас больше, чем надо.

Харламов, собиравший русскую землю на Дону, заверил своего товарища по партии в том, что Дон не вносит дисгармонии в созидаемое Маклаковым в Париже здание великой и единой.

— Казачество — вполне здоровый, государственный элемент. Мы и не мыслим себя вне России. Мы лишь хотим жить свободной жизнью и потому не признаем никаких насильников. Мы восстали против советов, потому что они несут деспотизм. Мы клином врезались в Советскую Россию, мы авангард великой и неделимой. [2]

Приятели раскланялись и пожелали друг другу возможно скорейшего возвращения в Таврический дворец.

А «хузяева», поаплодировав заморскому гостю, разошлись сражаться в «очко», решая при этом вопрос, не пора ли подавать в интендантство требование на валенки.

Павел Михайлович Агеев, член Круга, наиболее ненавистный и «единонеделимцам», и донским помещикам, уже

---

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 242.
[2] Там же.

весною оправился после зимнего ранения и опять заработал над земельным законом. Разъясняя в «Донских Ведомостях» сущность предстоящей реформы, он в одной из статей довольно хлестко проехался по адресу землевладельцев, как нынешних, так и их родоначальников, получавших иногда громадные наделы чисто жульническим путем.

Донские помещики, считавшие Агеева главной язвой Круга и не добившие его зимой, решили теперь разделаться с ним открыто, не прибегая к помощи наемных убийц.

Первым взъелся крупнейший таганрогский землевладелец С. Ф. Ефремов, потомок старинного донского атамана Даниила Ефремовича, увековечившего свое имя не столько боевыми подвигами, сколько громадным серебряным паникадилом, которое он пожертвовал в Киево-Печерскую лавру. [1]

21 августа этот родовитый барин прислал худородному усть-медведицкому казаку грозное письмо:

— Считая лично себя и своих предков оскорбленными вашей статьей по земельному вопросу, требую в трехдневный срок прислать мне ответ с извинением. В противном случае я оставляю за собой свободу действий.

— Оскорблять вас и ваших предков я не думал, ибо ни вас, ни их не знаю. Если вам угодно удовлетворение, то могу его дать при рассмотрении этого дела в суде, государственном или третейском, в какой вы пожелаете обратиться, — ответил Агеев.

Вскоре после этого он уехал в Грузию.

Оскорбленный «зубр» не успокоился.

1 октября, по возвращении в Новочеркасск, Агеев получил вторичное письмо от Ефремова, на этот раз уже с вызовом на дуэль. Тут же прилагались визитные карточки его секундантов, приват-доцента Новочеркасского политехникума инженера Богачева и дворянина Н. А. Захарова, которые просили Агеева указать своих секундантов и назначить им место для переговоров.

Агеев попросил Богачева и Захарова прибыть на другой день в областное по земельным делам присутствие. Они предпочли явиться 4 октября прямо в Круг, разыскали во время перерыва Агеева и официально вызвали его на дуэль от имени Ефремова.

Поступок помещика вызвал взрыв негодования в среде законодателей. Нашли, что это вызов всему Кругу.

---

[1] «Указатель святынь и священных достопамятностей Киева». Киев, 1889 г., изд 9. См. стр. 67.

Ген. Богаевский, узнав об этой истории, письменно известил Агеева, что такой способ разрешения вопросов, как дуэль, он считает недопустимым в военное время и что человека, проявившего такой воинский пыл, он прикажет немедленно отправить на передовые позиции, предварительно произведя расследование, почему г. Ефремов оказался немобилизованным.

Однако Агеев, как парламентарий чистейшей воды, отказался от административной расправы с оскорбителем и попросил атамана передать все это дело на обсуждение Круга, оскорбленного в его лице.

«Хузяева» ощетинились. Каждый из них понимал, что если с Агеевым его враги разделаются при помощи дуэли и останутся безнаказанными, то их, «членóв», с легкой руки Ефремова, в станицах просто-напросто при случае перебьют дрекольем, как паршивых собак. Личная безопасность заставила членов Круга позабыть, что их учреждение законодательное, и выступить в роли судей в своем собственном деле.

Резолюция гласила:

«Предложить донскому атаману землевладельца С. Ф. Ефремова лишить звания донского казака и отправить его в качестве рядового в первоочередную воинскую часть без права зачисления на нестроевые и тыловые должности и в штабы. Землевладельца Захарова и инженера Богачева препроводить в качестве рядовых в первоочередные воинские части без права зачисления в тыловые учреждения и штабы». [1]

Фронт законодатели расценивали как каторгу. Недаром же фронтовики так ненавидели окопавшихся в тылу «хузяевов».

Священную волю Круга исполнили. Опальные помещики совершили увеселительную поездку в штаб Донской армии и пожили некоторое время в Миллерове-Калединовске. А потом? Потом, под натиском советских войск, бежали, как и Круг, куда глаза глядят.

19 сентября правительство закрыло газету «Дон» за статью профессора Палладина, высмеявшего донских аграрников за их закон.

— Будет им аграрная реформа, — слыхал я разговоры в домах донской аристократии. — Как дойдет Деникин до Москвы, он прикажет плетями разогнать этих «хузяевов». От всей их законодательной деятельности останется одна пыль.

«Воскресшая старина», начавшая бить по карману помещиков, мало удовлетворяла и романтиков-демократов.

[1] «Донские Ведомости», № 226, от 6 октября 1919 г.

Один из них, донской писатель Федор Крюков, секретарь Круга, писал в «Донской Речи»:

«На Круге вопрос о том, в каком помещении выдерживать до вытрезвления пьяных духовных лиц и офицеров, вызывает горячие прения, и на него ухлопывается целое заседание».[1]

Поэт чистосердечно каялся, что Круг совсем не похож на тот, каким рисовался ему в романтических представлениях юности.

«Но зрелище все-таки оригинальное, интересное, дотоле невиданное, — писал он далее в той же газете. — Скуластые лица калмыков в ложе направо, архиерей в черном клобуке в ложе налево, и потные, взмокшие, бородатые, загорелые лица станичников в суконных чекменях на вате, в гимнастерках, серых тужурках — в партере. И когда длинный оратор в сюртуке долго и обстоятельно говорил о положении аграрного вопроса в Новой Зеландии, старик вахмистр Иван Демьяныч, мой сосед, изнывая от жары и вздыхая, шептал мне на ухо: — «Теперь можно бы и домой. Слава богу, сковырнули кой-кого. Хорошо бы вот еще архирея сопхнуть. Семашкевич какой-то. Поляк, как видать. Ай у нас своих архиереев не найдется, своего донского корня?» — Отголосок старины, вольнолюбивой и широкой, как море, сказался только в этой наклонности к сковыриванию. По наивности я выступил против этого, но меня после двух-трех фраз сковырнули самым безапелляционным образом».

А кто, как не Федор Крюков, пытался воплотить в современную жизнь ковыльный сказ про древнюю казачью волюшку-волю?

«Воскресшая старина» не оправдала ожиданий. Во-первых, потому, что ее считали одетой в чересчур чистый чекмень, какого она никогда не носила. А во-вторых, потому, что смотрели на нее как на средство для своих личных целей.

Краснову она была нужна для увенчания своего чела лаврами Пожарского.

Богаевскому она обеспечивала доходное место, необходимое впредь до восстановления его в правах «свиты его величества генерал-майора».

Членам Круга обеспечивала вольготную жизнь.

Федору Крюкову — бумагу для печатания его произведений, которые при иных условиях не увидели бы света.[2]

---

[1] «Донская Речь», 1919 г., № 21.

[2] В ноябре 1919 г. у Крюкова вышло столкновение с начальником Донского Освага профессором Тарасовым, который сказал Крюкову, в то время редактору «Донских Ведомостей», что он тратит казенную бумагу на свои бесполезные рассказы и не дает ее для печатания агитационной литературы.

Но чуть кого «воскресшая старина» гладила против шерсти, тот отрекался от нее как от взбесившейся собаки. Помещиков она попыталась обездолить, и они яростно штурмовали ее. А помещики ли не матерые казаки, прямые потомки донских героев?

Пока донские «хузяева», окопавшись в Новочеркасске, издавали благодетельные для казачества законы, в провинции хозяйничала своя же демократическая администрация, но более безобразная, чем прежняя царская.

Круг, т.-е. грамотные члены его, трактовали о правах человека и гражданина. А полиция гнула свободных граждан в бараний рог под самым носом донских законодателей. Достаточно привести несколько приказов «Жоржа» Янова, окружного атамана Черкасского округа, чтобы судить, какой прок был казачьим низам оттого, что в стольном городе существовала говорильня, и когда все остальное шло по-старому, если не хуже.

Приказ от 9 октября № 232:

«Произведенным дознанием, по жалобе крестьян хутора Персиянова—Грушевского на начальника стражи войскового старшину Китайского, обнаружено, что он, под угрозой тяжких репрессий, широко и безжалостно пользовался трудом жителей хутора, заставляя их работать у себя на даче, косить свой хлеб, возить ему из шахт уголь, не платя не только за их работу и перевозку угля, но даже не возвращая им крупных сумм, уплаченных за уголь; самоуправно взыскивал с тех же жителей крупные суммы денег за яко-бы разграбленное у него на даче имущество и вообще широко пользовался властью местной стражи в пользу своих личных интересов. В виду сего войскового старшину Китайского, отрешаю от должности, а дело о нем передаю военному следователю. Предупреждаю, что в дальнейшем я буду беспощаден».

Приказ от 1 ноября № 305.

«Старший стражник 4-го участка Александр Карпушин, как это выяснено дознанием, производил обыски у населения с целью найти награбленное имущество, но в результате найденное обращал в свою пользу; терроризировал население, пользуясь своим служебным положением, и поступал с имуществом населения по своему усмотрению, заявляя, что власть его не ограничена законом, чем до такой степени запугал население, что оно боялось жаловаться; без всякого повода бил местных жителей плетьми» и т. д., и т. д.

Приказ от 6 июня за № 187.

«В виду поступающих ко мне жалоб от населения округа на всевозможные насилия, грабежи и реквизиции

скота, хлеба и другого имущества, чинимые разными безответственными лицами, иногда предъявляющими фиктивные документы или переодетыми в форму воинских чинов, приказываю всей подведомственной мне администрации работать не за страх, а за совесть. Полагаю, что местной администрации давно пора выйти из состояния спячки и приняться с удвоенной энергией работать на благо родины и того общества, которому она служит, тем более, что многие станичные и хуторские атаманы, помимо того, что освобождаются от призыва в части войск, получают от общества приличное содержание, а деятельности к ограждению интересов того же общества я не вижу».[1]

Из таких приказов, при желании, можно составить громадную коллекцию. Они, как нельзя лучше, рисуют печальную картину действительности в казачьем демократическом государстве.

Всюду грабежи, насилия, произвол.

А что же делает власть? Карает? Нет. Власть только пишет многоречивые приказы.

Войсковой старшина Китайский, превративший население целого хутора в своих крепостных, свободно жил себе да поживал в стольном городе, отлично зная, что следствие об его деяниях не кончится во веки веков. Стражник Карпушин перешел на другое место и там продолжал свои художества.

Воскресла старина...

Но какая?

Весьма неседая, неглубокая.

Всего-на-всего — лишь дореволюционная.

XIX.

РАДА РАДУЕТСЯ.

Примерно таким же образом, как на Дону, создавалась кубанская казачья государственность.

Рада говорила и ругалась; атаман подписывал приказы; внутри царила головокружительная разруха.

«Воскресшая старина» вызвала к жизни низменные страсти, буйный дух, дикие инстинкты, борьбу честолюбий, вечное интриганство. На Кубани под именем демократического казачьего государства воскресла анархия Запорожья.

— «Что побудило казаков восстать против советов?» — задавала вопрос газета «Вольная Кубань» и сама себе отвечала:

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 159.

«Вековые традиции, вековой уклад жизни, ревниво охраняемый казаками, жаль было оставлять. Уж слишком они сроднились со своим прошлым. Жаль им было атамана менять на комиссара, черкесску на пиджак, мирную, тихую жизнь на бесшабашное разгильдяйство, православную веру на безбожие. И восстали казаки». [1]

Восстали для того, чтобы воскресить допотопную анархию; чтобы иметь атамана, прихвостня царских генералов; чтобы, спасая свои земельные наделы, объявить вне закона половину населения области — «иногородних».

«Источником высшей власти в Кубанском крае является воля его граждан, выраженная на представительном собрании», — гласила кубанская конституция, проект которой Рада обсуждала 22 ноября 1918 года.

— А кто кубанские граждане? Это необходимо выяснить! — потребовал депутат Феськов.

Его предложение отвергли.

Наидемократические законодатели сочли за лучшее не касаться этого щекотливого вопроса и вместо того занялись чтением приветственной телеграммы ген. Краснова, который писал:

«Приветствие Кубанской Раде, с которой донцы идут по одному пути—закреплению казачьих вольностей».

Весною 1919 года вопрос об «иногородних» снова выплыл наружу. 22 марта представитель этих париев в Раде Преображенский заявил:

— Комиссия по выработке конституции создает сословную республику со всякими привилегиями для казачества и бесправием для «иногородних». Или уравнивайте тех и других в правах, или нечего кичиться демократизмом.

— Требование об уравнении «иногородних» недемократично,—возразил ему генерал Гатогогу. — Выполнение его повлечет полное изгнание коренного населения из края теми, кому вздумается притти сюда на жизнь. И можно ли считать демократизмом стремление к тому, чтобы изжить хозяина из его дома в целях заселения последнего теми, кому этот дом понравится.

В таком же духе высказался и П. Л. Макаренко, столь же ярый сторонник Быча, как и его брат Иван.

— Обвинение казаков в недемократичности неосновательно. Предоставление известных привилегий коренному населению по сравнению с населением, не имеющим прочной связи с краем, вполне естественно и имеет место во всех демократических государствах.

---

[1] «Вольная Кубань», № 126, от 30 ноября 1918 г.

В результате de facto «кубанским народом» стали считаться только одни казаки, хотя «иногородних» в области насчитывалось столько же, сколько казаков, если не больше.

Земельный закон, выработанный Радой, сводился к следующему. Собственность на землю отменяется; излишки земли, против установленной нормы, перечисляются в казачий фонд. За счет этого фонда в первую очередь будут отведены наделы казакам, горцам и коренным крестьянам, которые будут приняты в казачество.

В казачество же перечисляли, притом с великой неохотой, только тех крестьян, которые активно боролись с большевиками. Таких на Кубани насчитывалось самое ничтожное число.

Казачье государство считало себя в праве национализировать излишек земли у крупного землевладельца «иногороднего». Но эта отобранная неказачья земля шла на удовлетворение потребности казаков.

Все это считалось и логичным, и демократичным.

Администрация начала выселять из станиц семьи тех, кто ушел с большевиками, т.-е. по преимуществу «иногородних».

«Куда им деться? Мы имеем сведения, что в Лабинском отделе уже обстреливают проезжих казаков из соломенных скирд, из придорожных камышей. Уже есть случаи, когда на вооруженного казака накинулись и всего изрезали ножами. Изрезали, а не просто убили, значит, ненависть свою вымещали. Непримиримая позиция приносит большой вред»,— писала «Вольная Кубань» в декабре 1918 года. [1]

В некоторых станицах число выселяемых семей доходило до двухсот. Такая расправа с «иногородними» производилась в то самое время, когда сами полноправные граждане-казаки чуть не поголовно отказывались от фронта.

«Я вижу, что в жилах батек и братов не отеплилась казачья кровь, и если бы не самопожертвование Добровольческой армии за Ридну Кубань, то до сих пор они коснели бы в отвратительной большевистской власти, которую не так давно сами пожелали»,—засвидетельствовал в своем приказе атаман Старонижнестеблиевской станицы. [2]

На Кубани у казаков замечалась гораздо большая ненависть к «иногородним» и большее равнодушие к казачьей государственности, нежели на Дону.

Таманский отдел и отчасти Ейский, заселенные черноморцами, в течение всего существования белого стана категорически отказывались воевать с большевиками.

---

[1] № 142 от 20 декабря 1918 г.
[2] Приказ от 30 сентября 1918 г.

26 февраля 1919 года Филимонов докладывал Раде:

—Дезертирство в Таманском отделе не поддается описанию. Никакие доводы, убеждения, призывы не имели успеха, и явилась необходимость в посылке особого карательного отряда.

— Я превращаюсь в Керенского,—говорил законодателям походный атаман (военный министр) ген. Науменко.—Мне приходится ездить и уговаривать.

Черноморцы, члены Рады, защищая своих, разбирали по косточкам действия карательного отряда.

— У меня имеются сообщения с мест,—сказал П. Л. Макаренко,—что в станице Абинской отряд производил повальный грабеж. В станице Славянской он допустил издевательство над зубным врачом.

Вместо того, чтобы помочь правительству в борьбе с дезертирством, Рада подала ему запрос, мало обоснованный, зато составленный по всем правилам парламентской практики:

— Известно ли правительству, что в Таманском отделе карательным отрядом производятся расстрелы и повешение без суда и следствия, производятся истязания, грабежи, изнасилования женщин, а также аресты и содержание в заключении без предъявления обвинения, и, если известно, то какие меры приняты для устранения этих явлений?

Инициатива запроса исходила от черноморцев.

«Апостолы разложения казачества!» —назвала их «Вольная Кубань», официоз, но не соблюдавший нейтралитета и поддерживавший линейцев. К последним принадлежал как атаман, так и глава правительства Сушков, заменивший Быча.

— Не официоз, а провокационная газетка!—проехался однажды П. Макаренко по адресу «Вольной Кубани».

Грызня началась и среди начальников отделов правительства, частью черноморцев, частью линейцев.

А дезертирство тем временем перешло в зеленое движение. Карательный отряд войскового старшины Щегловского вел уже форменную войну. В апреле, в бою у станицы Вареникивской, он потерял только убитыми четыре человека. У станицы Шапсугской его разбили.

Пришлось придать отряду аэроплан, чтобы выслеживать зеленые шайки.

Так заставляли мятежную Тамань итти на спасение Ридной Кубани, и великой и неделимой.

Отряд, необычайно озлобившийся на таманцев, явно помогавших зеленым, за зиму переловил до двух тысяч дезертиров. Их отправили на фронт. Вышел ли какой из этого толк, видно из речи Науменко, который в начале

июня доложил Раде, что Таманский полк, действующий против большевиков, насчитывает сорок семь шашек.

Только любители шли на фронт; прочие убегали с дороги. Не идея влекла любителей, а жажда «зипунов».

Черноморцы, недовольные тем, что и атаман, и глава правительства линейцы, не брезгали никакими средствами, чтобы свалить хрупкое правительство Сушкова.

«Кубань заболела благоприобретенной, домашнего происхождения, болезнью. Уже второй месяц она переживает правительственный кризис, — иронизировала еще в марте «Вольная Кубань».—Все зло в высшей политике, из-за которой Дон, Кубань и Терек пошли разными дорогами».[1]

Газета намекала на домогательства «хведералистов», крайней левой из группы черноморцев.

Дон уже в это время не имел Краснова и пошел на поводу у Доброволии. Маленькое терское казачество, окруженное враждебными ему горцами, верно служило Деникину, руководители же его менее всего помышляли о «высшей политике».

2 мая Сушков так обрисовал обстановку, в которой ему приходилось работать:

— Отсутствие тесной связи с Доном, Тереком и Добровольческой армией, атмосфера недоверия, царящая между группами населения края, несогласованность действий отдельных групп Рады и правительства, оторванность последних от населения, все это создает тяжелые условия для работы в центре. Не лучше и на местах. Там притом нет людей, годных для работы. Несоответствующие удалены, а заменить их некем.

На местах всякий администратор действовал на свой образец, не считаясь ни с законами, ни с приказами правительства. Атаманы отделов подчас были скрытые монархисты, лютые враги кубанского государственного строя. Станичные атаманы изображали из себя африканских князьков, опираясь на покорных стариков, воспитанных в царской казарме. Молодежь или грабила Россию со Шкуро и Покровским, или «партизанила» у себя же на Кубани, в шайках зеленых. Притиснутые к земле «иногородние» бродили как тени.

«Вольная Кубань» порою рисовала интересные картинки из жизни и деятельности станичных администраторов. Вот одна из них.

Станица Старовеличковская. Здесь хозяйничает г. Одарушко, выбранный в атаманы и утвержденный в должно-

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 65.

сти, не взирая на то, что состоял под следствием за побег с фронта.

— Скрутывсе с фронта, бо тут я бильше принесу пользы,— говаривал этот администратор.

31 марта он решил ознаменовать свое вступление в должность торжественным молебном в школе. Местный священник о. Александр сказал краткое слово с пожеланием новому атаману победы над его врагами. Вдохновленный пастырским благословением, новый глава станицы разразился перед многолюдным собранием погромной речью по адресу интеллигенции и учителей, называя всех их большевиками.

— Пусть те, кого касается моя речь,—грозил г. Одарушко,— поскорей спасаются из станицы, пока не поздно. А ежели кто не будет при встрече со мной ломать шапку, то тоже буду арестовывать.

Бабы и старики завопили по адресу учителей:

— На хронт их! Вот атаман, так атаман. Правду казав, що як стану атаман, то телегенцию пидгребу.[1]

В провинции, при белых, интеллигенции, особенно учителям, жилось далеко не сладко. Так, на Дону в станице Великокняжеской местный комендант, грабитель и убийца, есаул Земцов, долгое время держал под арестом и подвергал всяким лишениям начальницу женской гимназии г. Хильченко. На Кубани, в станице Успенской, Лабинского отдела, хорунжий Зеленский публично высек учительницу Попову, работавшую двадцать лет на педагогическом поприще и пользовавшуюся всеобщим уважением.

Про атамана станицы Зеленчукской, грозного Дзюбу, знаменитого своими дебошами, насилиями и беспробудным пьянством, правительственный орган сообщал:

«Можно было бы издавать «Сатирикон»; или же, если описывать его административные приемы и анекдотические похождения, то получился бы объемистый том. Смешно, если бы не было так грустно, что такая личность является выборным представителем большой станицы в такой момент, когда налаживается жизнь, исковерканная большевиками».[2]

«Агенты власти создают на местах идейный и моральный облик центрального правительства. Что же будет думать о последнем население Майкопского отдела, куда начальником стражи назначен г. Ханин, выгнанный со службы еще в царское время»,—писала «Вольная Кубань» в ноябре 1919 г.[3]

---

[1] Этот эпизод описан в «Вольной Кубани», 1919 г., № 79.
[2] Там же.
[3] № 102.

«Хведералисты» во всем винили правительство.

— Оно повинно в том, что принимает на службу лиц с определенной монархической окраской,—объяснил председатель Краевой Рады Н. С. Рябовол причину кубанских неурядиц.

— Вы все валите на атамана и на правительство,—вспылил, наконец, Сушков, обращаясь к «хведералистам».—Вы хотите их свалить, и в то же время боитесь ответственности. Протягиваете к власти руки, а они дрожат. Так нате же вам власть. Я окончательно ухожу.

«Итак совершилось то, чего так упорно добивалась определенная группа Законодательной Рады [1] с первых же дней кабинета Ф. С. Сушкова, — скорбела «Вольная Кубань».—Если вы мысленно пробежите пережитое правительством от первого и до последнего дня его существования, перед вами встанет дикая, кошмарная картина разгула политических страстей, интриг, свистопляски, жалкого политиканства, и вы согласитесь, что существовавший в этой атмосфере кабинет Сушкова был кабинетом мученичества и подвижничества». [2]

На сцену выплыло правительство Курганского, претерпевшее еще большую пытку.

Доброволия с ехидной радостью созерцала кубанские нестроения, сама старалась сатанить и раздувать их возможно более, чтобы создать повод для хирургической операции больного государственного тела Кубани.

Особенно зорко следила великая и неделимая за действиями кубанской делегации, отправленной на Версальскую конференцию. В состав ее входили черноморцы и линейцы, возглавлял же ее Л. Л. Быч, лидер «хведералистов».

В апреле он писал Раде:

«В Италии я имел встречу с некоторыми политическими деятелями, а также с главою «общества вывозной торговли на Восток», который заинтересован Кубанью и говорил о налажении товарообмена. В Париже много представителей России. Часть их, под председательством кн. Львова, образует русское политическое совещание; другая часть—республиканская лига. Истинное положение дела мало известно французам. Там делят русских на революционеров и контр-революционеров, причисляя к первым большевиков, ко вторым—остальных. О казаках, как народе, ничего не знают и представляют их чем-то в роде жандармов. Благодаря чрезвычайному усилению демократических тече-

[1] По кубанской конституции Краевая Рада собиралась в чрезвычайных случаях, обычную же законодательную работу выполняла аконодательная Рада, выделенная из Краевой.

[2] «Вольная Кубань», № 99, от 8 мая 1919 г.

ний, во Франции разговаривают только с тем, чья политическая физиономия не вызывает сомнений».[1]

В Париже же некоторое время подвизалась и донская делегация, во главе с ген. Свечиным и Герасимовым, отправленная еще при Краснове. Но она скоро поняла, что здесь ей нечего делать. Падение Краснова и перемена отношений с Доброволией заставили Дон отказаться от ведения самостоятельной иностранной политики.

Ген. Свечин вернулся в Новочеркасск. 28 апреля он сделал доклад о своих парижских впечатлениях. Какую роль играли в Париже многочисленные «представители России», видно хотя бы из отзыва Свечина о Б. Савинкове:

— Савинков крайне энергичный человек, работоспособный, не брезгающий для общего дела часами выстаивать в передних видных французских политических деятелей.

Доброволия отправила свою делегацию в Париж несколько позже, уже после признания Деникиным адмирала Колчака верховным правителем России. В состав делегации входили: ген. А. М. Драгомиров (глава особого совещания), бывший московский городской голова Астров, старый дипломат Нератов и проф. Соколов, глава Освага.

16 июня ген. Драгомиров, в беседе с корреспондентом парижской газеты «Echo de Paris», заявил, что он работает в Париже совместно с представителями Колчака, Сазоновым и Маклаковым; что положение Добровольческой армии сейчас блестящее; что войска Деникина держат фронт на протяжении 1 500 километров, владеют семью губерниями и тремя казачьими областями, т.-е. около $1/7$ части России с сорока миллионами населения.[2]

Кубанская делегация ни до приезда Драгомирова, ни после не думала покидать Париж, даже не взирая на то, что в ней царило разногласие. «Вечные интриганы»,—так звал кубанцев П. Р. Дудаков, товарищ председателя Донского Круга, — перегрызлись и в Париже. Делегация превратилась в маленькую Раду, демонстрируя перед русскими кругами кубанские порядки.

— Я проклинаю тот час, в который согласился войти в состав парижской делегации.

— Я не дождусь дня, когда выйду из тяжелого положения члена делегации.

— Я вышел из состава делегации, чтобы снять с себя ответственность за ту пагубную политику, которую ведет группа, возглавляемая Бычем.

---

[1] Это письмо было оглашено на заседании Законодательной Рады 19 апреля.

[2] «Донские Ведомости», 1919 г., № 164.

Так писали «наши» из-за границы своим товарищам, членам Рады, в Екатеринодар, где «Вольная Кубань» перепечатывала их вопли и преподносила широкой публике.[1]

В середине мая часть делегации вернулась на Кубань. Выводы ее были безотрадные.

— В борьбе с большевиками мы должны рассчитывать только на самих себя и потому не должны брать на себя непосильных задач,—сказал делегат Белый.[2]

Это, видимо, была точка зрения «хведералистов». Их глава в Париже начал добиваться «спасения Кубани» через признание ее Европою за особое государство, как Грузия, Латвия и проч., которые, по мысли эс-эров, соединятся с Россией путем сговора.

В июле, по сообщению «Вольной Кубани», парижская газета «La republique Russe» опубликовала меморандум кубанской делегации, за подписью Быча, следующего содержания:

«Для того, чтобы теперь же укреплять в России начала демократии и свободы, нужно федеративные части теперь же признать государственными образованиями. Необходимо, чтобы народы этих будущих государств почувствовали необходимость единения не под давлением вооруженной силы, но при полной самостоятельности, при ясном осознании необходимости политического, а особенно экономического их союза. А потому Кубань, как фактическое суверенное государство, должна быть принята в Лигу Наций и иметь своих представителей на мирной конференции».[3]

Эс-эры собирались восстанавливать Россию по этапам, сначала диференцируя, а потом интегрируя отдельные области. Самостийничество эс-эрствующего Быча окончательно разложило Раду и принесло непоправимый вред белому стану, ничуть не меньший, чем реставраторские замашки Доброволии.

«Вечернее Время» потешалось над кубанской делегацией в Париже, печатая забавные фельетоны о том, «Как живет и работает в Париже Л. Л. Быч». Агенты вездесущего Освага задались целью дискредитировать вообще Раду в глазах населения Кубани. Они, наконец, до того обнаглели, что не допускали в кубанские станицы даже кубанской правительственной газеты.

— 11 сего июня,—доносил из станицы Крымской Дим. Ив. Чуб, контрагент «Вольной Кубани»—здешний начальник Освага, капитан Осипов, отобрал у меня получаемую от вас газету «Вольная Кубань», заявив при этом, что она—

---

[1] «Вольная Кубань», № 90, от 28 апреля 1919 г. Статья «У последней черты», в которой приведены эти цитаты из писем.

[2] «Вольная Кубань», № 107, от 18 мая 1919 г.

[3] «Вольная Кубань», 1919 г., № 170.

анархическая, и если я буду продавать ее, не представив предварительно на цензуру ему, кап. Осипову, то он посадит меня на три месяца в тюрьму. Когда же я начал протестовать и указывать, что «Вольная Кубань»—газета правительственная и никакой цензуре не подлежит, он хотел сейчас же дать мне двадцать пять плетей, и только заступничество присутствовавших при этом станционных жандармов Гальцева и Мягкого спасло меня от истязаний. Продавать газету при таких условиях не могу.[1]

Наконец, начались нападения на членов Рады. В мае неизвестные лица ночью в течение сорока минут обстреливали квартиру «хведералиста» П. Л. Макаренко, того самого, который еще зимою разорялся по адресу «единонеделимцев»:

— Пусть уберутся прочь с Кубани все те, которые ездят сейчас по свету и провоцируют, кричат о каком-то фронтовом и тыловом казачестве. Это старый, испытанный метод: разделяй и властвуй.[2]

«ВольнаяКубань», хотя и не разделяла домогательств «хведералистов», но, отстаивая автономию, горячо протестовала против вмешательства «единонеделимцев» в кубанские дела.

«Вороньё!—титуловала она эту публику, которой посвятила неважные стихи под тем же заглавием:

На Кубань, как и на Дон,
С краев разных и сторон
Налетело очень много
Подозрительных ворон.
Прилетели пообедать,
Захотели поразведать,
Потихоньку говоря,
Не хотят ли здесь царя.
И нередко эти птицы
Залетают и в станицы,
Перед темным нашим людом
Агитируют повсюду,
И везде, где только можно,
Намекают осторожно,
Между прочим говоря,
Все про то же, про царя.
— «Лучше было при царе-то!
Войско было как одето!
Оттого бедны так стали,
Поздно это все поняли.
Вот когда-б он согласился,
На престоле утвердился,
Все бы мирно зажило,
И станица, и село».
— «Но позвольте, говорили,
Ведь царя уже убили
И давно его в сырую
Землю-матушку зарыли».

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 129.
[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 129.

— «Этим слухам вы не верьте:
Спас господь его от смерти,
Пожалел бог, видно, нас
И царя от смерти спас».[1]

— «Хлеб Кубани ешь, а Раду режь»,—создалась теперь пословица. Пугать Раду считается шиком, помня, что за богом молитва, а за Освагом служба не пропадает. И это благодарность за тот прекрасный казацкий хлеб, который, правда, непрошенные, но все же любезные петроградские гости с таким аппетитом кушают на Кубани»,—сетовал официоз.[2]

Увы! Раду поносили не только пришельцы.

Атаман Лабинского отдела тоже воспретил продажу газеты своего правительства.[3]

Генерал Шкуро, как сообщала черносотенная «Кубанская Земля», 17 сентября 1919 г., при чествовании его в Баталпашинске, где он отвалил от своего партизанского заработка малую толику на издание местной газеты «Эльборус», сказал во время пира:[4]

— Прогоните тех, кто сидит в Раде, и выберите других, лучших, и тогда будет порядок и все, что вам надо.[5]

«Мы надеемся, что это гнусная провокация и что генерал Шкуро опровергнет подобное сообщение»,—предполагала «Вольная Кубань».

Ожидания ее остались тщетными.

«Народный герой» под пьяную руку говаривал про народных избранников еще не этакие слова.

XX.

УБИЙСТВО Н. С. РЯБОВОЛА.

15 июня 1919 года белый стан облетели две крупных новости.

Первая:

— Наши части вышли на Волгу, севернее Царицына.

Вторая:

— 14 июня, в 2 ч. 30 м. утра, в г. Ростове, в вестибюле гостиницы «Палас-Отель», убит председатель Кубанской Краевой Рады Н. С. Рябовол.[6]

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 130.
[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 117.
[3] «Вольная Кубань», 1919 г., № 128.
[4] «Донские Ведомости», 1919 г., № 156.
[5] «Кубанская Земля», 1919 г., № 18.
[6] «Донские Ведомости», № 133, от 15 июня 1919 года, в котором был напечатан приказ всевеликому войску Донскому от 14 июня, № 920, об убийстве Рябовола на донской территории, с выражением соболезнования.

Оба известия вызвали взрыв бешеного восторга среди «единонеделимцев». Казачьи политические круги приветствовали только первое.

Выход на Волгу сулил ряд блестящих перспектив. Расправа с Рябоволом ничего хорошего не предвещала, осложняя и без того запутанные отношения между Кубанью и Добороволией.

Николай Степанович Рябовол еще в царское время пользовался вниманием охранного отделения. Оно считало его не много, не мало кандидатом в гетманы самостийного Черноморского казачьего войска. Уже тогда он слыл «хведералистом».

В 1914 году, когда Рябовол занимал должность председателя правления Черноморско-Кубанской железной дороги, у него и у всех его подчиненных охранники произвели тщательный обыск, но не нашли никаких документов, характеризующих Рябовола, как будущего главу Черноморья. Однако, его пригласили в сыскное отделение для антропометрических измерений.[1]

Выступив в 1917 году открыто на политическое поприще, он очень быстро выдвинулся вперед и занял пост председателя Краевой (Чрезвычайной) Рады. Быч и Рябовол до такой степени восполняли один другого, что суворинские молодцы из их фамилий составили ругательную кличку кубанских самостийников:

— Бычеволы!

Когда прозвучал приказ ген. Деникина о подчинении Добровольческой армии адм. Колчаку, Н. С. Рябовол произнес в Раде громовую речь против особого совещания, отлично поняв, что актом 2 июня Деникин хотел, главным образом, заткнуть глотки «хведералистам».

— Мы накануне больших событий, — говорил он. — Момент опасный. И если не изменится политика Добровольческой армии, все может рухнуть. Мы не желаем бороться с народами... Все рухнет, если будем продвигаться вперед и назначать губернаторов. Можно написать на своем знамени, что угодно; но дать землю и демократическую республику сможет тот, кто придет в Москву, обладая реальной силой. Кто не захочет, несмотря на знамя, дать этого, — если у него будет армия, — не даст! Мы не самостийники, мы не сепаратисты, клевещут те, кто так говорит. Нам говорят: приносите жертвы и вам воздастся. Как? — спрашиваем мы. Как при Екатерине: пришлют барабаны?

Вскоре после этой речи, произнесенной в Раде 6 июня,

---

[1] «Донская Волна», 1919 г., № 25. Эта справка позаимствована из «Закавказской Речи».

Рябовол начал получать угрожающие письма. 11 июня он уехал в Ростов, для работы в конференции по созданию южно-русского союза.

Там стерегла его смерть.

Л. Л. Быч в это время «работал» в Париже, где европейские дипломаты, съехавшиеся для мирных переговоров, прислушивались к его голосу не более, чем к писку комара. За границей о кубанском «народе» никогда не слыхали, и Быч ничем не мог вредить великой и неделимой.

Зато Рябовол, его верный клеврет, руководя черноморцами, сильно мешал «единонеделимцам».

13 июня, в Ростове, в закрытом заседании южно-русской конференции, он сказал новую, боевую речь, в которой подробно развивал мысли, еще ранее высказанные им в Раде:

— На Кубани создается общероссийская власть и создается давно. В ноябре, вслед за нашим возвращением в Екатеринодар, был разработан вопрос об организации центральной всероссийской власти группой политических деятелей, приехавших бог знает откуда, не то из Одессы, не то из Крыма. Мы протестовали против их проекта, потому что они предлагали диктатуру. Мы стояли за сговор всех борющихся сил. Нас за это ругали, называли самостийниками. Тогда возник вопрос об организации общеказачьей власти. А тут подоспело зимнее несчастье с Доном. Мы, однако, двинулись на помощь собрату. Войну вели одни кубанские казаки, потому что иногороднее население переживает болезнь, называемую большевизмом. Мы всегда охотно шли кого бы то ни было освобождать и избавлять от насильников, но были против политики завоевательной. Мы полагали, что с движением в Россию нужно нести такие принципы, которые бы ясно показывали населению, что на смену насильников идет другая власть, дающая ему право жить.

— К сожалению, было совсем не так. Когда пришли добровольцы в Черноморскую губернию и завели там губернаторский режим, то с населением в 200 000 они так управились, что крестьяне сплошь обратились в большевиков и там теперь идет сплошное избиение наших казаков; везде там бродят повстанческие отряды. В Ставропольской губернии тоже был заведен такой режим, которым никто не был доволен, и нам приходилось очень тяжело. А каково отношение к нам, кубанцам? Мы в течение двух-трех месяцев не имели ни одного органа, в котором могли бы освещать и выявлять нашу точку зрения. И теперь не можем ни жить, ни говорить, мы все время находимся под опекой. Если желательно иметь единую и неделимую, надо суметь найти общую точку зрения.

— В отношении союзников особое совещание тоже повело неправильную политику. Уже в ноябре нас пугали, что вот-вот придут союзники, они вас не признают. Мы тогда говорили командному составу Добровольческой армии, что спасти Россию могут не союзники и не немцы, а только сами русские. Помощь если и дадут, то во всяком случае за деньги, а не за прекрасные глаза. Недавно особое совещание отправило делегацию во Францию. Там, где демонстрируется единая Россия, нет тех народов, которые, действительно, за нее льют кровь. Особому совещанию при таких условиях будут верить менее, чем временному правительству.[1]

Эта речь неизвестными путями проникла в широкую публику и вызвала глубокое возмущение в «единонеделимческих» кругах. В ту же ночь Рябовола убрали с той дороги, по которой двигалась колесница великой и неделимой.

— Враги народа устраняют со своего пути борцов за народоправство! — гласило воззвание Рады.

14 июня, как только телеграф принес печальное известие в Екатеринодар, над зданием зимнего театра, где заседала Рада, взвился черный траурный флаг вместо «национального» кубанского. В пять часов пополудни законодатели сошлись на экстренное заседание.

На этот раз в зимнем театре царило полное единодушие.

В первую же очередь объявили трехдневный траур для всего Кубанского края. Депутат Жук предложил закрыть все газеты, травившие покойного, редакторов же выслать.

— А я предлагаю закрыть все организации, которые занимаются травлей кубанского казачества и его лучших представителей, — сказал депутат Белый. — И в первую очередь все отделения Освага.

На хорах рукоплескали и ревели:

— Браво! Вон! Долой провокаторов.

Оба предложения Рада приняла единогласно.

Когда публика расходилась, какой-то военный подошел к дверям театра, на которых висело траурное объявление о смерти Рябовола, сорвал афишку, бросил на пол и начал топтать, крича со злобой:

— Одного мерзавца убили, следует перебить и остальных.

Его арестовали.

— Очень я вас всех боюсь, — сказал он. — Я ветеринарный врач Кубанского запасного конного полка Петр Александрович Марков. Я честный служака, а не политик, как все вы здесь, подлецы.

[1] «Донские Ведомости», 1919 г., № 133; «Вольная Кубань», 1919 г., номер от 16 июня.

Верхи Доброволии соблюли decorum приличия. Ген. Лукомский, заместитель Драгомирова, от имени Деникина выразил соболезнование кубанскому атаману, но не Раде. От Рады Доброволия сторонилась, как от сонмища бесноватых.

Прах Рябовола привезли в Екатеринодар и торжественно предали земле.

На пышной похоронной тризне, устроенной во втором общественном собрании, атаман Филимонов, после ряда грустно-слезливых речей, несколько утешил законодателей, прочтя только-что полученное известие о взятии Царицына Врангелем.

Громкое ура огласило залу.

Через полгода царицынский победитель сам облек Раду в траур, только не на три дня, а на три месяца.

Убийство Рябовола задело за живое и линейцев. Обе кубанские группировки теперь сблизились в своей борьбе против «единонеделимцев», не терпевших даже умеренных автономистов, к которым причисляли себя линейцы. Кровавая расправа с председателем Рады подталкивала кубанцев на все более и более резкие выпады против Доброволии.

Кое-где в станицах раздались крики:

— Долой добровольцев!

Агитация против Деникина, особого совещания и черносотенцев была, как нельзя более, на руку станичникам, не желавшим итти на фронт. Уклонение от фронта теперь приобретало характер протеста против «единонеделимческого» засилья и произвола.

— Не пийдем ковати соби кайданы!

Из станиц посыпались приговоры, в которых излагались требования немедленно сформировать Кубанскую армию, наподобие Донской, для защиты Рады и правительства; изгнать монархические элементы, особенно лиц, причастных к высшим сферам павшего самодержавного строя, и т. д.

Террористический акт вызвал азарт политических страстей.

Когда агитация против Добровольческой армии перекинулась в станицы, и без того полные дезертиров, Осваг спохватился и начал муссировать слухи, что будто бы убийство Рябовола — дело большевиков, которым на руку усиление внутренней борьбы в белом стане. Потом, когда стало известно, что Рябовол убит после прогулки по Ростову с дамой, приплели романтическую подкладку. Политика, мол, не играла никакой роли в гибели Рябовола.

В белом стане в это время подвизался сомнительный герой дворца Юсупова и несомненный шут Таврического дворца — В. М. Пуришкевич. Круг гнал его из Ростова, Рада — из Екатеринодара. Тут и там казачьи демократы затыкали ему рот. Зато он вволю писал.

Такое крупное событие, как убийство Рябовола, не могло не вдохновить Володю. В ростовской сверх-погромной газете «На Москву», достойной Пуришкевича, он посвятил ростовскому кровопусканию стихотворение «Кубань и Рада», вполне достойное этой газеты:

В дни борьбы и произвола
Все-ж дерутся петухи:
Кто-то кокнул Рябовола
За любовные грехи.
Все бывает в пьяном деле...
Без конца, — то там, то тут,
Раз по восемь на неделе
Рябоволящим капут.
Но политикам Кубани
Этот случай благодать:
Гвалт поднялся в левом стане;
Эй, гляди, не прозевать.
Будет странно, станет глупо,
Если в наши времена
Не посеем мы, у трупа
Пропаганды семена.
И в воинственном экстазе
Заработали Бычи,
Дали новый ход заразе
Душ народных палачи. —
Самостийным вожделеньям
Чудный выискав предлог,
По станицам, по селеньям,
Шлют гонцов, сбиваясь с ног.
Труп для них стал жирным злаком
(Рябовол душой был наг)...
Но хотят они казакам
Сунуть в руки красный флаг.
И над павшим волокитой,
Что погиб, как тать, как вор,
Ложью мнят зажечь избитой
Потухающий костер.
Но казакам чужды бредни...
И Макаренкам в ответ
Гонит к чорту из передней
Делегатов Пересвет.
— «Вон! скажите вашей Раде,
Что кубанцы с давних пор
Погибают в бранной страде,
Отойдя от милых гор,
Не за красные знамена
Самостийных главарей,
А за то, чтоб стать у трона
Стражем будущих царей».[1]

«Следствие по делу об убийстве Рябовола находится в надежных руках донских органов власти. Убийство совершено на территории Дона и строжайшее расследование уже производится донским правительством. Следы престу-

[1] Газета «На Москву», г. Ростов, 1919 г., № 7.

пления уже найдены. Есть уже арестованные», — сообщала «Вольная Кубань» через несколько дней после убийства.

Но кубанский официоз ошибался. Донское правительство, как таковое, палец о палец не стукнуло, чтобы разыскать убийц Рябовола. Следствие же, действительно, производилось судебным следователем по особо важным делам г. Павловым, не казакоманом, не политиком вообще, а добросовестным судебным работником.

Вот что ему удалось установить.

Прибыв в г. Ростов вместе с И. Л. Макаренко и другими кубанскими делегатами, Рябовол остановился в лучшей гостинице «Палас-Отель», на Таганрогском проспекте.

Эта гостиница, к слову сказать, находилась на особом положении. Номера в ней отводились не иначе, как с разрешения ростовского генерал-губернатора ген. Семенова. Этот бывший пристав обратил «Палас-Отель» в «единонеделимческий» притон.

Тут кишел целый муравейник, обитатели которого, однако, не отличались трудолюбием. Тут изящные дамы и шикарно одетые мужчины соперничали друг с другом белизною кожи и блеском бриллиантов чистой воды. Тут очень часто слышалась французская и английская речь вперемежку с еврейским жаргоном и гортанным криком восточных людей.

Нигде, как в «Паласе», знаменитый жандармский генерал Комиссаров обдумывал планы новых провокаций. Место икаевской «контр-разведки» здесь теперь заняли разные штабы таинственных добровольческих отрядов особого назначения. Тут же свили себе гнездо правления монархических организаций.

В этих учреждениях служили и работали несколько потрепанные гвардейцы, подчас представители лучших аристократических фамилий. Боязнь фронта заставляла их искать покровительства у бывших околоточных и жандармских ротмистров.

Прибытие таких знаменитостей, как кубанские «хведералисты», сразу обратило на себя внимание матерых обитателей «Паласа». Графини и баронессы фыркали при встрече с ними. Гвардейцы, с царскими вензелями на погонах, чуть-чуть не бросались на них в атаку.

Макаренко, почувствовав какую-то неуловимую слежку за кубанскими делегатами, поспешил переехать из этого вертепа к своим знакомым.

13 июня, уже с полудня, в коридоре второго этажа гостиницы, близ номера Рябовола, появилась группа из трех неизвестных, одетых в военную форму. Из их среды выделялся высокий, в белой куртке, с обмотками на ногах.

При том водовороте, который образовался тогда в гостинице, переполненной военными, никто не интересовался, чего ради они торчат в коридоре.

Вечером к Рябоволу зашли Макаренко и командир «волчьего» дивизиона есаул Колков, лечившийся в Ростове от ран. Предводитель «волков» познакомил Рябовола со своей приятельницей, г. Хатимской, только-что приехавшей из Екатеринодара и остановившейся в том же «Паласе».

Компания отправилась ужинать в садик при гостинице. Во время ужина Макаренко заметил, как высокий человек, в белой куртке, появившись со стороны веранды, направился было к их столику, но, встретившись с ним глазами, остановился, постоял немного и ушел внутрь гостиницы.

Часов около двенадцати ночи компания перешла пить кофе в номер Рябовола. Таинственная же группа из трех лиц все еще расхаживала по коридору, исчезая и снова появляясь на том же месте. Время от времени они заходили в номер, который занимала группа гвардейских офицеров и где происходила шумная пирушка. Среди пировавших был молодой граф Илларион Воронцов-Дашков, внук бывшего наместника на Кавказе.

В третьем часу ночи есаул Колков уехал в лазарет имени ген. Шкуро; там он лечился. Макаренко ушел домой еще раньше. Рябовол и Хатимская, усадив подвыпившего Колкова на извозчика, немного прогулялись возле гостиницы.

— Какая досада! — спохватилась вдруг дама. — Утром, когда я по приезде пошла в ванную, отдала Колкову свои бриллианты, а потом забыла взять. Как бы он, подвыпив, не потерял их в лазарете. Там и украсть могут.

— Тогда самое лучшее съездить в лазарет к Колкову, пока он еще не заснул, — предложил Рябовол.

Они отправились в лазарет, сев на извозчика. По дороге их обогнал прекрасный, с черным верхом, автомобиль, в котором сидело два человека. Как потом было установлено, этот автомобиль появился возле гостиницы с наступлением темноты и дежурил, кого-то, видимо, поджидая.

Когда Рябовол и Хатимская, получившая от Колкова свои бриллианты, возвращались в гостиницу, автомобиль снова обогнал их; при приближении извозчика к «Паласу» он уже пыхтел на прежнем месте.

За несколько минут до возвращения этой четы, комиссионер Адриан Коврижкин, неизвестно почему оставшийся на ночь в вестибюле гостиницы, отправился во второй этаж, где сидела компания из трех лиц. Он поманил к себе того, который был одет в белую куртку, пошептался с ним и повел его вниз в вестибюль. Неволь-

ным свидетелем этих действий Коврижкина оказался ночной сторож гостиницы, старик Цыгоев, тихо сидевший на диване в коридоре третьего этажа и глядевший вниз.

Расплатившись с извозчиком, Рябовол и Хатимская подошли к парадным дверям. Обычно открытые в течение всей ночи, они на этот раз были закрыты. Кем — следствие не установило с точностью.

Швейцар Губин спал. Его подручный, мальчик Терников, дремал. Зато бодрствовал Коврижкин. Услыхав звонок, он растолкал мальчика, который направился к двери.

В тот момент из глубины вестибюля, со стороны лестницы во второй этаж, внезапно появился неизвестный, высокого роста, в белой куртке, оттолкнул Терникова и сам открыл дверь. Пропустив мимо себя Рябовола и Хатимскую, он вдруг выхватил браунинг, сделал несколько шагов вслед за Рябоволом и дважды выстрелил в него.

Хатимская разразилась истерикой. Рябовол же упал и тут же умер.

Убийца преспокойно вышел на улицу.

Немедленно, вслед за тем, как раздались выстрелы, два других заговорщика быстро спустились вниз по лестнице, пробежали через вестибюль мимо убитого и шмыгнули в дверь. Усевшись в поджидавший их автомобиль, они быстро понеслись по Таганрогскому проспекту. Однако постовой городовой запомнил номер автомобиля.

На место происшествия немедленно прибыли власти. Г. Павлов приступил к производству следствия. Сторож Цыгоев доложил полиции о таинственных переговорах Коврижкина с убийцей за несколько минут до начала стрельбы. Показалось странным, для чего комиссионер, выполнявший поручения по покупке железнодорожных билетов, остался в гостинице на всю ночь.

Коврижкин, при допросе его помощником начальника уголовно-розыскного отделения Кузнецовым, отрицал то, что приписывал ему старик Цыгоев.

Заинтересовались личностью Коврижкина. Выяснили, что, помимо комиссионерской деятельности, он занимался еще и другой. В «Палас-Отеле» помещалась контр-разведка отряда особого назначения. Добровольческой армии. Коврижкин числился на службе в этом учреждении. Ему грозила отправка на фронт, но начальник отряда, ротмистр Баранов, бывший жандарм, принял Коврижкина к себе в контрразведку по протекции бывшего шталмейстера Бурлюкова одного из зубров, работавших при особом совещании.[1]

[1] «Вольная Кубань» (№ 250, 1919 г.) считала этого Бурлюкова автором законопроекта о взаимоотношениях между помещиками и крестьянами, которых этот закон ставил почти в положение крепостных.

При обыске у Коврижкина нашли 13 000 рублей, большей частью «николаевскими», наиболее ценными в белом стане. Его жена показала на допросе, что ее муж комиссионерством занимался всего лишь полтора месяца и почти все время пьянствовал.

У следователя оказались серьезные нити к раскрытию преступления. Он ждал, что уголовно-розыскное отделение докопается до корней заговора, тем более, что выяснился и номер автомобиля, на котором уехали убийцы.

Но в дело вмешалась добровольческая контр-разведка. Считая, что здесь имело место не общеуголовное, а политическое преступление, что в убийстве Рябовола можно заподозреть и большевиков, которым выгодна ссора Кубани с Доброволией, она сама взяла на себя тайный розыск.

Через две недели г. Павлов получил от контр-разведки несколько измазанных листов бумаги. Развернув их, он увидел два-три протокола крайне небрежных допросов тех же лиц, которые уже допрашивались им самим.

Младенцу было ясно, что этот трюк контр-разведка проделала для того, чтобы оттянуть время и дать возможность истинным виновникам хорошо замести следы.

Коврижкина г.г. контр-разведчики допрашивали не так, как других. Ни на следствии, ни на суде он никогда не заявлял о том, чтобы контр-разведка принуждала его к даче показаний обычными методами воздействия.

Г. Павлов увидел, что его провели самым бессовестным образом.

Еще в самом начале следствия он обратил внимание на кружок «жоржиков», группировавшихся возле графа Воронцова-Дашкова. Большинство из этой золотой молодежи, не исключая и графа, тоже числились в отряде ротмистра Баранова или в аналогичных частях таинственного назначения.[1]

Следователь сначала подверг их домашнему аресту, но потом освободил. Ротмистр Баранов долгое время не желал являться на допрос, так что г. Павлов вызвал его к себе через военное начальство. Опытный человек, жандарм знал, что надо говорить. Про Коврижкина сообщил самые элементарные сведения. Графу же Воронцову-Дашкову дал не совсем лестную характеристику:

— Это безвольный, ничтожный человек, не способный на такое серьезное дело, как заговор на убийство политического деятеля.

Без содействия сыщиков следователь ничего не мог сделать.

---

[1] Отряды особого назначения выполняли функции полевых жандармов: они ловили дезертиров, взыскивали с населения штрафы, командировались в деревни для карательных целей и т. д.

Зная номер автомобиля, на котором уехали убийцы, и установив, что он принадлежал отделу путей сообщения Добровольческой армии, Павлов обратился в гараж этого учреждения с просьбой выяснить, кто из шоферов брал эту машину в ночь на 14 июня.

— Знать ничего не знаем, ведать ничего не ведаем! — таков последовал ответ от начальства гаража, впрочем, не отрицавшего того факта, что машина, действительно, отсутствовала в эту ночь.

Следователь повсюду наталкивался на препоны. Раскрытие этого преступления не входило в чьи-то планы.

Когда я получил следственное производство и составлял обвинительный акт, у меня не возникало сомнения в том, что инициатива убийства исходила из «единонеделимческих» кругов, скорее всего из среды монархистов, организации которых всегда действовали в самой тесной связи с контрразведкой.

Я инкриминировал Коврижкину пособничество к убийству, учиненному в военное время, и подвел его деяние под знаменитую 279 статью воинского устава о наказаниях. На мой взгляд, его роль достаточно обрисовывалась следственным материалом.

Этот посредник между пассажирами и железнодорожными кассирами, при выполнении заговора на жизнь Рябовола, играл роль посредствующего звена между группами заговорщиков, одна из которых выслеживала жертву, дежуря в коридоре второго этажа, другая находилась при автомобиле.

Когда Рябовол и Хатимская возвращались в гостиницу из лазарета, заговорщики, обогнав их на машине, дали знать своим соратникам, находившимся вверху, через Коврижкина, что жертва близко и что ее удобно прикончить у подъезда или в вестибюле, откуда так легко скрыться.

— В гостинице я остался потому, что утром надо было покупать билет одному пассажиру. Во второй этаж гостиницы я не поднимался и с убийцами не разговаривал. И вообще все плохо помню, — потому что был выпивши.

Такие объяснения дал Коврижкин на следствии.

XXI.

ПРОЦЕСС КОВРИЖКИНА.

В конце сентября я и председатель Донского военного суда, генерал-лейтенант Ф. В. Петров, выехали в Ростов для разбора дела об убийстве Н. С. Рябовола.

Предстоял довольно крупный процесс.

Государственный обвинитель, доказывая виновность Коврижкина, не должен был умолчать о политическом характере убийства и не мог не назвать ту враждебную Рябоволу группу, с которой Коврижкин имел несомненные связи и из которой, по всей видимости, исходила инициатива преступления. Задевалась, таким образом, честь Доброволии и интересы Кубани. Дон, в лице своего военного суда, выступал как бы в роли третейского судьи.

На мою долю выпала довольно щекотливая политическая задача. А я не был ни политическим деятелем, ни казакоманом, ни даже казаком по происхождению. Тем не менее, убежденный в том, что инициатива убийства взлелеяна под сенью единой и неделимой, я решил высказать вслух, в теперешнем центре деникинского государства, свое глубокое порицание тем спасателям отечества, которые на своем знамени написали «порядок и законность», а сами разделывались с неугодными им казачьими политиками с помощью нападений из-за угла. Сказать это обязывала не политика, а достоинство закона.

Строго говоря, в таком серьезном процессе надлежало выступать самому прокурору суда, а не его помощнику, каким я являлся в то время. Но Дону вообще не везло по части военных прокуроров.

Сначала эту должность занимал престарелый ген.-лейт. Селецкий, сваливший всю серьезную работу на меня, так как сам он пил запоем. Потом, по изгнании его с позором, прокурорствовать начал генерал красновского производства В. И. Л—в, бездарный, трусливый, мелочный человек, зато природный казак. Это последнее обстоятельство сыграло решающую роль при его назначении. В тогдашних государственных образованиях спецы из «своих» ценились на вес золота, хотя бы они были легковеснее пуха.

Углубленный в тщательное изучение «Протоколов сионских мудрецов» и другой подобной литературы, ген. Л—в не имел времени для судебной работы. Все большие дела, как и при Селецком, попрежнему возлагались на меня с предоставлением мне полной самостоятельности. За все время своего прокурорствования ген. Л—в ни одного разу не выступил в судебном заседании в роли обвинителя.

В Ростове, во временном военном суде, где разбирались наиболее громкие дела, обычно обвинял я, так что ростовская публика никогда и не слыхала о существовании ген. Л—ва. Заинтересованные лица, обращавшиеся ко мне со всякого рода просьбами, чрезвычайно удивлялись, когда я отсылал их к ген. Л—ву.

В таком щепетильном процессе, как Коврижкина, ген. Л—в не рискнул выявить свою физиономию и робко спрятался в кусты.

К слову сказать, этот государственный муж одно время уже был назначен управляющим отделом юстиции правительства всевеликого войска Донского, но отставка премьера, ген. Алферова, помешала ему принять министерский портфель.

Ген. Петров, тоже своего донского корня, сын простого казака-землероба из станицы Семикаракорской, проявлял больше инициативы и обладал несравненно большей моральной силой.

Мне и ему приходилось провести этот процесс.

От Новочеркасска до Ростова около часа езды.

Поезд, курсировавший между этими пунктами, носил громкое название «Молния». В нем всегда возникала давка. Обитатели чиновного Новочеркасска, где торговля и раньше дышала на ладан, а теперь совсем умерла, за покупками всегда отправлялись в Ростов и набивались в вагоны наравне с военщиной, разъезжавшей по делам службы.

— Пожалуйте, г. полковник! — хриплым голосом проревел довольно грубоватый, толстолицый поручик в неопределенной форме, уступая мне свое место.

Я удивился такой необычной для того времени вежливости.

Но через пять минут и сам был не рад тому, что уселся на место поручика и заставил его перебраться на столик. Волей-неволей пришлось отвечать на его вопросы, назвать ему свою должность, столь не любимую офицерами, и упомянуть цель своего путешествия.

— Судить за убийство Рябовола? Да вы с ума сошли? — вдруг захрипел поручик, меняя тон и соскакивая со столика прямо на ноги пассажиров. — Да разве это можно? Господа, разве это можно?

Все молчали.

— Да им же награду надо дать. Так рассуждаем мы на фронте. А Рябоволов всяких стирать с лица земли надо. И Бычей. Политикой, черти, занимаются. Армия же должна быть вне политики. Наша политика: бей большевиков, восстанавливай Россию.

Не обращая внимания, что от него сторонятся даже офицеры самого некультурного вида, он выхватил из кармана френча номер «Вечернего Времени» и начал читать вслух погромную статью по адресу самостийников, уснащая чтение сочными ругательствами и дикими комментариями.

Я поспешил перебраться в вагон для членов правительства.

В Ростове у нас вышло осложнение с помещением.

Квартирный вопрос здесь усложнился до крайности в виду перехода сюда в августе всех центральных учреждений Доброволии, кроме деникинского штаба, разместившегося в г. Таганроге.

«Когда-нибудь Ростов будут посещать туристы, — писал в «Приазовском Крае»[1] Виктор Севский. — Город, в котором жила вся Россия. Улицы будут пестреть мраморными досками: «В этом доме на подоконнике спал Павел Николаевич Милюков», «В лифте этого дома нашел приют Леонид Собинов». Будет музей, в котором потомки соберут все достопримечательности нашего времени. «На этом табурете спала от часу до четырех балерина Гельцер, а с четырех до восьми писатель Гусев-Оренбургский». «Гардероб, в котором было общежитие членов кадетского съезда». «Скелет ростовца до уплотнения и после уплотнения». Утро в доме ростовца. Сам поднимается из-за письменного стола и кричит сыну: «Ваня, принеси лестницу: Григорий Петрович с книжного шкафа слезать будет».

Фельетонист пересолил, но не слишком.

Комендатура указала мне номер в гостинице «Москва», по Большой Садовой.

— Но ведь в этом номере живет военный министр Армении. Что мы с ним будем делать? — взмолилась администрация, прочитав ордер.

Я снова пошел в комендатуру.

Извинились и дали ордер на № 12 в гостинице «Франция».

— Вы, что же, хотите поселиться четвертым? — спросил меня швейцар этого отеля.

— Как четвертым? Почему?

— Очень просто. Там живут три приезжих генерала. Для одного в номере есть койка; другой спит на креслах, третий на полу.

Тут уж я вспылил.

— Знать ничего не знаю. Номер отведен для меня одного. Выселяйте генералов или что хотите делайте, но давайте мне помещение. У меня завтра заседание, мне надо читать дела.

Имея самое серьезное намерение предложить их превосходительствам убираться, куда пожелают, я открыл дверь в номер, сделал два шага и остолбенел.

В неуютной комнате, загроможденной дорожными вещами, заваленной всякими отбросами, которых, наверно, не убирали две-три недели, возле грязного стола, усеянного

[1] № 275.

объедками и уставленного грязной посудой, сидело трое, два генерала и один статский. В последнем я сразу узнал тоже генерала, да еще какого! Это был бывший начальник Александровской Военно-Юридической Академии, в которой я получил образование, генерал-лейтенант Звонников. Двое других, генерал-майоры фон-Ремер и Московенков — мои сослуживцы по Кавказу.

Я поздоровался и объяснил, возможно деликатнее, генералам, что комендатура, должно быть, по недоразумению отвела мне этот самый номер.

— Мы знаем, — весьма миролюбиво сказал Звонников,— что живем незаконно. Нам отвели номер всего лишь на две недели, а мы тут обретаемся около месяца. Но мы в этом не виноваты. Куда нам деться!

Меня поразил запуганный вид их превосходительств и робкий, неуверенный тон речи. Хотя судейские генералы и в прежние времена славились своей простотой и доступностью, но все-таки генерал — генерал.

— Мы прибыли с Украины, — пояснили они. — Когда Деникин взял Киев, нас зарегистрировали и заставили ехать сюда для реабилитации.

— Вы служили у большевиков?

— Я, например,— ответил Звонников,— работал в кооперативе. Совсем свыкся с жизнью частного человека. Большевики меня не трогали. Не знаю, для чего сорвали меня с места. Я более не хочу служить на военной службе, уже и лета мои предельные... Зачем меня оторвали от семьи? А ну, как Добровольческая армия сейчас отступит? Порвется всякая связь с семьей... Когда еще высшая следственная комиссия при штабе Деникина разберется в том, что̀ мы делали при большевиках.

Метаморфоза со Звонниковым поразила меня. От прежнего блестящего, фатоватого генерала-карьериста и моложавого бон-вивана не осталось и следа. Сняв юпитеровскую форму, он точно переродился.

— Эк ведь как их опрощают в Совдепии! — невольно думал я.

Сетуя на то, что Доброволия бессмысленно оторвала его от семьи, Звонников точно предугадывал, что ему уже больше не увидеть жены и детей: через месяц его сразил тиф.

Ген. фон-Ремер и Московенков тоже служили в каких-то советских учреждениях в Киеве, за что и расплачивались теперь.

Я заверил тройку своих старших коллег, что не только не стану покушаться на их убогий угол, но даже приму все меры к тому, чтобы номер закрепили за ними.

— Заночую у председателя, а завтра буду скандалить в комендатуре,—сказал я, прощаясь с генералами, и отправился по Садовой.

Возле Таганрогского проспекта встретил того, к кому шел.

— А ведь я иду к вам,—утешил меня старик.—Думаю, пустите до утра в свой номер.

— Как так? Что такое?

— Да, штука скверная. Мне указали номер в «Палас-Отеле», где хлопнули Рябовола. Прихожу, а там живет госпожа Комиссарова, жена генерала-охранника, недавно выселенного с Дона.

Несчастие вселило в нас энергию, и мы решили нажать на генерал-губернатора Семенова, хозяйничавшего в Ростове наравне с добровольческими властями.

— Так и так, отказываемся судить. Сейчас же возвращаемся в Новочеркасск и донесем атаману о том, что суд не состоится за отсутствием для нас квартир.

Угроза до некоторой степени подействовала. Старый полицейский обещался завтра силою выселить г. Комиссарову, на сегодня же пристроил куда-то ген. Петрова. Я заночевал у знакомых.

— Тиф есть, а комнат нет!—острили в переполненном Ростове.

Здесь творилось подлинное вавилонское столпотворение, еще большее, чем год тому назад в Екатеринодаре. С кем только ни приходилось здесь встречаться! Те люди, которых я давно считал сгнившими в земле, неожиданно вырастали предо мной где-нибудь на повороте улицы и, в свою очередь, застывали от изумления при виде меня.

Одни—покамест робкие, приниженные. Это пришельцы из «освобожденной» России. Кого из них пригнали, как ген. Звонникова, фон-Ремера и Московенкова; кто и сам явился сюда на ловлю счастья и чинов, считая, что пришел крах Советской власти.

Другие щеголяли по Садовой с высоко поднятой головой. Эти соблюли непорочность в отношении великой и неделимой. Тот теперь служил в Осваге, тот в каком-нибудь центральном учреждении Доброволии, тот считался губернатором еще незавоеванной губернии.

Таков был, например, ген. Мустафин, наш судейский. Ему адски не везло в жизни. В начале 1917 года он получил назначение губернаторствовать в Туркестан. Но, пока ехал туда, стряслась революция. Отставили. Через год с небольшим гетман всея Украины назначил его градоначальствовать в Одессу. Оттуда скоро вышиб Петлюра со своими гайдамаками, а потом большевики.

Теперь он считался кандидатом на должность градоначальника Москвы и с нетерпением ожидал падения столицы.

В Ростове кипела жизнь, но весьма своеобразная: спекулятивно-пропойно-погромная. Недаром ведь здесь гнездился центр великой и неделимой!

— Там готовится еврейский погром, — говорил про этот город И. Л. Макаренко еще в июне, на погребальном обеде в память Рябовола. — Готовят его старые, испытанные монархисты, гнездо прочное и крепкое. Многие ростовцы говорят, что офицеры бывшей гвардии даже Деникина считают левым, а Колчака — большевиком. Можете себе представить, какая там царит атмосфера.

Макаренко не ошибался. Идеи «Веча», «Земщины», «Резины» здесь усиленно насаждали «Вечернее Время» и еженедельная газета Н. П. Измайлова «На Москву».

«Тебе, Добровольческая армия! Тебе, крестоносная! Тебе, христолюбивая! Тебе, героиня, посвящаем мы наше слово и шлем тебе наш первый привет», — гласила передовая статья первого номера этой газеты.

Далее добавлялось:

«От редакции. Евреи в газете никакого участия не принимают и принимать не будут. Наша газета начала восстановление великой и неделимой без участия евреев».

Тут же следовало приветствие газете от группы офицеров 1-го Марковского полка, в числе семнадцати человек, выражавших свою радость по поводу того, что русский народ начинает сбрасывать с себя еврейское иго.

Газета с самым серьезным видом убеждала публику в том, что настоящее имя Керенского Арон, а фамилия — Кирбис, и с восторгом сообщала, что в Тунисе «уже их громят». Она перепечатывала из «Разведчика» [1] старые антисемитические статьи покойного М. И. Драгомирова, отца Абрама Михайловича, и пускала в обращение новые, сочиненные ее сотрудниками, пословицы:

«Бери хворостину, да и гони жида в Палестину».

«Знай, — Панкрат с Федотом извели жида бойкотом».

И так далее в том же духе.

Уличная толпа с нетерпением ждала очередного номера. Одни покупали газету из любопытства, другие — чтобы упиваться назидательным чтением, как пищей для души.

Едва только на Садовой раздавались звонкие голоса газетчиков-подростков: — Газета «На Москву», газета «На Москву», как улица сейчас же оживлялась и начинала гоготать.

Однажды я был свидетелем такой сценки:

---

[1] Военный журнал, издаваемый Березовским. См. № 761 за 1905 год.

— Газета «На Москву», газета «На Москву»,—выкрикивал мальчуган.

— Эй- ты, — крикнул ему какой-то офицер, гулявший под ручку с барышней. — На тебе двадцать рублей, кричи, сам знаешь что.

— Спасибо, дяденька, — пропищал малыш, взяв деньги, и стремительно понесся по улице с криком:

— Газета «На Москву», русская, национальная. Бей жидов, спасай Ростов! Газета «На Москву»...

— Бей жидов! — носилось в воздухе.

Заборы, стены уборных безжалостно измазывались погромными надписями.

Чай Высоцкого,
Сахар Бродского,
Россия Троцкого, —
Бей жидов,
Спасай Ростов, —

горланили хулиганы.

Такая атмосфера царила в тогдашней столице Доброволии, когда мы прибыли туда разбирать дело об убийстве Рябовола.

В первый день процесса, незадолго до начала заседания, секретарь доложил мне, что меня спрашивает какой-то полковник.

Я вышел в залу и увидел здоровенного детину, лет тридцати пяти, офицера из типа бурбонов.

— Подполковник Панченко. Член союза «восстановления династии Романовых», — отрекомендовался он.

— Панченко? Вы здесь? Наш суд разыскивает вас уже больше полгода.

Еще зимою мной был составлен и внесен в суд обвинительный акт по делу об этом господине, числившемся на службе в ростовской контр-разведке. Он обвинялся в титуловании себя подполковником, тогда как по документам значился штабс-капитаном, в ряде пьяных скандалов и еще в каких-то художествах. Суд, разыскивая его, запрашивал ростовского коменданта, который неизменно отвечал:

— Местопребывание подсудимого неизвестно.

Мои слова не смутили контр-разведчика, явившегося к прокурору, как бы в насмешку над ним, в тех погонах, за ношение которых его предали суду, иназвавшегося таким чином, в который он произвел сам себя. Видимо, авантюрист имел покровительство в очень влиятельных сферах и забронировал себя от всяких судов и прокуроров.

Пробормотав в ответ мне что-то сумбурное о своем деле, он перешел к тому вопросу, который хотел выяснить в интервью со мной.

— Я пришел уведомить вас, что наша организация крайне отрицательно относится к этому процессу. Разве вы будете обвинять Коврижкина?

— Да, собираюсь.

— Но ведь Рябовол был революционер!

— Ну так что же! Ваша организация тоже революционная.

Панченко уставил на меня свои белесоватые глаза.

— Да! да! — продолжал я, стараясь подавить улыбку. — Вы проживаете на территории Донской демократической республики, а ратуете за восстановление в России, в том числе и на Дону, монархического режима. Значит, вы силитесь совершить переворот, низвергнуть существующую здесь власть. Как же после этого вы не революционер?

Благополучно проживая в Ростове, Панченко сотрудничал и в контр-разведке, и в органе своего союза, в газете «На Москву», которую однажды украсил таким перлом своего поэтического творчества:

Московские кремлевские,
Литые, сладкозвонные
Гудят колокола.
Пришла вся Русь страдалица,
Святыми просветленная,
Коленопреклоненная
Склонилась у Кремля.

Кроме того, он подвизался и на поприще погромного спорта, устроив в июле или августе нападение на квартиру почтенного врача-еврея Ашкинази. Об этом поведал на процессе приват-доцент Сватиков, управляющий делами южно-русской конференции.

Процесс затянулся на четыре дня.

Публику, знакомую с судебным делом, поразило отсутствие гражданского истца. Кубанские политические круги крайне разочаровались, когда узнали, что по делу фигурирует в качестве обвиняемого второстепенное лицо. Они, видимо, ожидали, что донская судебная власть усадит на скамью подсудимых всю великую и неделимую вместе с Деникиным и его особым совещанием. И вдруг какой-то комиссионер Коврижкин!

Разочарованные, неделовитые крикуны упустили из виду, что опытный адвокат, выступив по этакому делу в качестве поверенного гражданского истца, мог легко превратить судебную кафедру в трибуну. Это дело давало множество материала для того, чтобы и на суде погромить врагов казачьей демократии.

Ростовская пресса указала кубанцам на их упущение. 4 октября «хведералисты», наконец, расшевелились. Заместитель председателя Краевой Рады Султан-Шахим-

Гирей прислал телеграмму лучшему ростовскому адвокату И. И. Шику, прося его выступить поверенным гражданского истца. Шик вежливо ответил, что процесс длится уже третий день, и что суд по формальным причинам не допустит его выступления.

На Кубани нашлись такие горячие головы, которые несколько иначе реагировали на этот процесс. Вечером 1 октября неизвестный мужчина, явившись, под видом просителя, на квартиру председателя Кубанского военного суда В. Я. Лукина, уложил его на месте выстрелом в лоб.

Никаких концов этого преступления не могли разыскать. Те, кто знал Лукина, расправу с ним расценивали как ответ на убийство Рябовола. Этот карьерист, ставленник Доброволии, занимался совершенно несвойственной судебному деятелю работой—политическим сыском. Говорили, что он раздобыл и передал Доброволии какие-то документы, изобличавшие «хведералистов».

Мало кто на Кубани пожалел статского советника Лукина!

Коврижкин на суде почти ничего не говорил. Кто-то, видимо, внушил ему, что молчание—золото.

Все данные против него, добытые следователем, подтвердились и на суде.

Я более всего опасался, как бы свидетель кореляк Цыгоев не изменил своего показания. Могли ведь и на него оказать воздействие. Но мои страхи оказались напрасными.

Перед судом предстал высокий, благообразный старик, со свежим лицом северянина. Медленно, несколько коверкая русский язык, как все финны, он повторил свой рассказ о том, как Коврижкин на его глазах вел тихую беседу с человеком в белой куртке и как затем оба собеседника спустились вниз, откуда скоро раздались выстрелы.

Чтобы устранить всякие сомнения в правильности показания этого главного свидетеля, я потребовал выезда суда на место преступления, чтобы проверить, мог ли Цыгоев с того места, где он сидел в коридоре третьего этажа, видеть площадку второго этажа, где, по его показанию, происходила беседа Коврижкина с убийцей.

Отправились в «Палас-Отель». Осмотрели. Проверили. Все сомнения в правдивости показания Цыгоева отпали.

— Быть-может, у вас когда-нибудь произошла ссора с этим человеком?—спросил я Коврижкина.

— Нет!—тихо отвечал подсудимый.

Кроме да и нет он ничего не говорил.

— Человек под автомобилем,—охарактеризовал его в своем фельетоне, написанном по поводу суда, Виктор Севский, прослушавший весь процесс.

Автомобиль — это слишком модно. Правильнее, Коврижкина придавила грязная, старая колымага, наполненная обломками рухнувшего строя. За избавление от фронта от него потребовали помочь удалить из-под колеса небольшой булыжник. Услуживая, он по неосторожности попал в беду.

Гражданский истец отсутствовал. Его роль до некоторой степени восполнил Сватиков, управляющий делами южно-русской конференции и сотрудник «Приазовского Края». Он изложил идеологию казачьих демократических деятелей и довольно мужественно сразился с защитником Коврижкина, петроградским адвокатом Трахтеревым, отстаивавшим осважный символ веры.

Начались речи.

— Для меня несомненно, — говорил я, — что расправа с Рябоволом есть дело тех, которые силятся повернуть назад колесо русской истории, вернуть ее к дореволюционному времени. Пусть идеи Рябовола нелепы, бессмысленны. Жизнь все равно ниспровергнет их как карточный домик. Кого в чем-нибудь убедило это убийство? Доказало ли оно правоту или неправоту чьих-либо убеждений? Идею не убьешь ни взмахом меча, ни вспышкой револьверного выстрела. Очень жаль, что те, которые причисляют себя к спасателям отечества, понять не могут бесполезности террористических актов. Уничтожая «полубольшевика», заговорщики, очевидно, вдохновлялись той кровавой борьбой, которая ведется на фронте с большевиками. Но там ведь передовая линия, там происходит открытое столкновение организованных человеческих масс, там физическая сила выступает против физической же силы. Там пролитие крови естественно. Здесь же мирным путем насаждается та или иная гражданственность. Здесь убийство не доблесть, а преступление. Такими методами борьбы не создать великой и неделимой и вообще никуда дальше Дона и Кубани не уйти.

— Вы сказали то, что и должен был сказать настоящий казак! — обратился ко мне в перерыве «ректор партизанского университета» ген. Э. Ф. Семилетов, просидевший весь процесс вместе с Севским, и крепко пожал мне руку.

— Увы! Я не казак. А сказал в своей речи то, что на моем месте сказал бы всякий представитель закона.

Суд совещался не более четверти часа и вынес оправдательный приговор.

— Бессмысленно закатывать мелкую рыбешку, когда крупные караси гуляют на свободе, — пояснил мне ген. Петров причину оправдания Коврижкина.

«Единонеделимческие» газеты старались замалчивать процесс или давали самые краткие отчеты о нем. Зато «Приазовский Край», а с его слов и кубанские газеты подробно описывали все, что происходило на суде.

На другой день я и ген. Петров представлялись ген. Ронжину, главе военно-судебного ведомства и главному военному прокурору Доброволии. Управление ген. Ронжина за год разрослось до старорежимных размеров. Начальники отделений, столоначальники, секретари, у всех по полдюжине помощников. Но коренных военных юристов, наших коллег, было не так много. Они встретили нас в месте своего канцелярского священнодействия не весьма дружелюбно. Помощник Ронжина, ген. Шабунин, один из моих ближайших приятелей, сделал вид, что не замечает меня. Почтенному и довольно грузному генерал-лейтенанту Петрову не сочли нужным даже предложить стул и заставили стоять на ногах добрых полчаса.

— Если это так теперь, — с грустью сказал старик, — то что может ожидать служащих окраин, когда Добровольческая армия осилит большевиков?

Зато сам ген. Ронжин рассыпался в любезностях, точно желая подчеркнуть правоту пословицы: милует царь, да не милует псарь.

— Я слышал, слышал про ваш процесс... Как хорошо сделали, что оправдали. Давно надо было бы ликвидировать это дело. А на Кубани, слышали, какое несчастье? Убили Лукина. Приняты все меры, чтобы разыскать убийц. Авось они не избегнут заслуженной кары. Бедный Лукин! Он за два-три дня до смерти приезжал ко мне в Ростов и жаловался, что самостийники не дают ему житья, и просил дать ему должность в Добровольческой армии.

— Лукина, наверно, не так встречали в здешнем управлении, как нас, — сказал мне ген. Петров при выходе. — Этот был, кажется, истинно русским человеком и больше занимался политикой, чем судебным делом, не то, что мы грешные.

Ген. Петров, выходец из низов, как и я, и служака до мозга костей, в душе ненавидел черносотенцев и политических подхалимов.

После процесса я остался в Ростове еще на несколько дней.

Однажды заглянул в «Палас-Отель», к своему знакомому помощнику ростовского генерал-губернатора А. Я. Беляеву.

Мы пили чай.

Вдруг в дверях на минуту показалось бородатое, старческое лицо и быстро скрылось, точно кого-то испугавшись.

— Знаете кто? — спросил меня Беляев.

— Нет.

— Это Покотило. Полный генерал. Бывший донской атаман, еще царского времени.

— Чего он здесь околачивается?

— Не у дел. Не знает, чем питаться. Скромный такой стал, тихий.

Покотило! За время своей службы на Дону я много наслышался о нем. Этот, назначенный царем, глава казачества наводил панику решительно на всех. Он собственноручно дробил зубы ломовым извозчикам, когда они везли груз по главной улице стольного города, что тогда запрещалось. Должностные лица при одном взгляде его превращались в истуканов.

А теперь... Теперь и этого держиморду усмирила революция.

Встречаясь в Ростове со множеством лиц, в самых различных чинах, различного возраста и служебного положения, я поражался всеобщим черносотенством.

Я не был политиком, но не переносил союза русского народа. Падение монархии приветствовал. В 1917 году в г. Эрзеруме, занимая довольно приличный пост, работал в самом тесном содружестве с Советом солдатских и рабочих депутатов. Меньшевики, эс-эры, большевики постоянно навещали меня, зная, что я хотя и внепартийный, но искренно предан делу революции.

Занесенный волею судеб в белый стан, я ни на минуту не изменил своего отрицательного отношения к падшему режиму. За это одни шутливо, а другие с раздражением титуловали меня «большевиком».

Иногда приходилось нарываться и на оскорбления.

В тот же день, когда я представлялся ген. Ронжину, встретил на Садовой полковника Кона, с которым одновременно слушали лекции в Академии. Судя по фамилии, он сын или внук еврея. А какой монархист! Единственный из военных юристов, он поступил на службу в контрразведку, считая, что там самая идейная работа.

Еще ничего этого не зная, я по-приятельски приветствовал его. Всмотревшись мне в лицо, он вдруг сжал кулаки и закричал:

— Таких, как вы, давно надо бы на осину. В Эрзеруме, говорят, вы были чуть ли не большевистским комиссаром. Скоро, бог даст, рассчитаемся с такими.

Ужас начинал охватывать меня, когда приходилось слышать такие «товарищеские приветствия». Стыдно становилось за своих коллег и страшно за свою будущую судьбу, в случае «спасения» России.

Попадались и другие типы.

— Нет у белых чего-то, — ораторствовал предо мною другой мой товарищ, полк. В. С. В—ий, приехавший с Украины «реабилитироваться», как и ген. Звонников, — оторванность какая-то от народа чувствуется. Добровольцы, в первую минуту, когда заняли Киев, показались мне выходцами с того света. Эта форма, — погоны, кокарды, самые слова: «ваше благородие», «ваше превосходительство», — так теперь чужды России. Думали, все это погребено навеки. Ждали обновления, но добровольцы воскрешают худшие времена царского режима.

Через месяц, однако, после «реабилитации» он от голоду поступил в Добороволию военным следователем.

XXII.

ЕКАТЕРИНОДАРСКОЕ ДЕЙСТВО.

В половине октября начали обнаруживаться действия 1-й Конной. Как бы в ответ на мамонтовский рейд, красное командование сосредоточило против центра колоссальнейшего белого фронта большие массы конницы.

Шкуро, ощутив нажим красных, требовал пополнений. Кавказская Добровольческая армия тоже обезлюдела.

— Людей, людей и людей! — неслись требования с фронта.

Дон выставил, что мог. Кубань имела неисчерпаемый запас живой силы. Но правительство ничего не могло сделать с подданными.

— Мы хотим держать нейтралитет! — порою заявляли распропагандированные Радой казаки.

«Хведералисты» всегда так неистово ругали Доброволию, выставляли ее таким врагом казачьих вольностей, что станичники делали отсюда логический вывод о бессмысленности воевать под ее знаменами.

Агенты Освага и контр-разведка подробно доносили в штаб Деникина об истинном настроении кубанских станиц и о работе «апостолов разложения казачества», особенно усилившейся после убийства Рябовола.

Энергичное наступление Буденного, вызывая потребность в пополнениях с Кубани, ускорило развязку той борьбы, которая длилась пятнадцать месяцев. Ближайший же повод подала парижская делегация, все еще спасавшая Кубань и Россию на задворках версальской мирной конференции в контакте с эс-эрами.

В первой половине октября из Парижа вернулся в Екатеринодар Алексей Иванович Калабухов, верный сподвижник

Л. Л. Быча, как говорили, поп-растрига. Тогда же стало известно, что в Париже кубанская и горская делегации заключили так называемый «договор дружбы между правительством Кубани и меджилисом республики горцев Кавказа».

Горскую делегацию составляли разные авантюристы, еще летом 1918 года мечтавшие создать самостоятельное горское государство под протекторатом Турции.

Сущность «договора дружбы» сводилась к следующему:

1. Правительства Кубани и республики горских народов признают взаимную независимость.

2. Границы устанавливаются особым договором.

3. Стороны обязываются не предпринимать шагов к умалению суверенитета Кубани и горской республики ни самостоятельно, ни в форме соучастия.

Договор подписали со стороны кубанцев Л. Л. Быч, Б. Савицкий, А. Калабухов; со стороны горцев — Чермоев, Гайдаров, Г. Бамматов, Х. Хадзагаров.

Линейцы возмущались действиями парижской делегации, предпринимавшей такие шаги без ведома Рады. «Единонеделимцы» смело начали называть федералистов изменниками.

Калабухов поспешил прислать в редакцию «Вольной Кубани» письмо, в котором разъяснял, что в Париже был заключен лишь проект договора, притом не произвольно, а на точном основании постановления Краевой Рады от 11 ноября 1918 года, где говорится, что образование суверенного кубанского государства и ему подобных на территории России было актом неизбежным и что на предстоящей мирной конференции необходима организация единого представительства от южно-русских государственных образований. Кроме того, он ссылался на то, что в 1917 году Краевая Рада заключила аналогичный договор с Доном, Тереком и горцами об образовании южно-русского союза.

— В настоящее время, — добавлял А. Калабухов, — горы Кавказа обагряются казачьей кровью в виду неправильной политики особого совещания. [1] Посему делегации

[1] Добровольческая армия, покровительствуя покорному ей терскому казачеству, в отношении горцев продолжала царскую политику угнетения. Ближайшие к терцам горцы-ингуши подняли страшное восстание. По сообщению «Вольной Кубани» 22 июня на ст. Назран, при погрузке эшелона ингушской бригады, появилась банда, численностью до пятисот коней, со стороны Экажевского аула и, не взирая на присутствие бронепоезда, наблюдавшего за погрузкой и долженствовавшего предупредить кубанские и терские части, напали на своих же, разогнали их, арестовали командира бригады и офицеров, одного убили. Затем они заняли несколько терских станиц.

в Париже решили добиться прекращения бессмысленной резни путем взаимного признания суверенитета Кубани и республики горцев. Проект договора передан Раде и правительству для обсуждения, так что говорить о реальных последствиях этого акта покамест не приходится.[1]

Вместе с тем Калабухов дал волю и своему языку, который приучился в Париже безнаказанно трезвонить все, что вздумается. На заседании Законодательной Рады 17 октября он изумлялся:

— Как это так случилось, что Кубань, освободившаяся от большевиков год тому назад, вновь окружена большевиками, только справа. Кубань не должна допустить, чтобы по ней проехала победная колесница генерал-губернатора. Под влиянием монархических идей, как констатируют некоторые члены Рады, население не верит в земельный закон, так как монархические агитаторы заявляют им: «Пишите, пишите, а собирать-то не будете!».

Такая тревожная речь Калабухова была вызвана разнесшимися по Екатеринодару слухами о том, что готовится разгон Рады.

Депутаты нервничали. Для защиты собственных персон они имели в своем распоряжении крошечный караул.

Филимонов, верный агент Деникина, всячески тормозил формирование Кубанской армии. Атаман, пожалуй, делал разумно. Эта армия при тогдашней обстановке или перебила бы Раду, или вступила бы в бой с добровольцами.

Заседание 17 октября прошло очень бурно.

— Наши домашние «недовольные», лишившиеся своих привилегий после революции, соединились с пришлыми противниками кубанской демократии и пытаются свергнуть краевую демократическую власть, чтобы восстановить монархию, — ораторствовал некий Подтопельный.

— Мы играем в демократизм. Но нельзя применять принципы демократии чистой воды к тем, кто ее не признает, — вторил ему Гудзь.

— Только на Кубани появилась истинная демократическая сила. Кубанская демократия создала цитадель народоправства, которая возродит Россию на новых демократических началах, — гордо заявлял Калабухов.

Манжула напал на правительство.

По словам газеты «Терец», после пребывания ингушей в ст. Фельдмаршалской осталась только одна полуразрушенная школа; все остальные постройки сожжены, плановые места перепаханы и засеяны картофелем. («Вольная Кубань», 1919 г., № 163.)

[1] Это письмо Калабухова напечатано в «Вольной Кубани», № 239.

— Только щиростью казачества можно объяснить непрекратившееся еще существование клеветнической агитации. Мы приказываем правительству закрыть всякие Осваги, а правительство ничего не делает. Будь я министр внутренних дел, я бы в двадцать четыре часа искоренил все прокламации до единой. Ничего не делается потому, что большинство служащих в правительственных учреждениях, особенно высших, занимаются только критикой и постоянным дискредитированием власти, на службе которой они находятся.

Резолюция гласила:

«Потребовать от правительства энергичной борьбы с агитацией против Рады и уволить правительственных служащих, дискредитирующих краевую власть».

25 октября собралась Краевая (Чрезвычайная) Рада, созвать которую было постановлено вслед за убийством Рябовола. Законодательная Рада, стоявшая над душой правительства, влилась в Краевую.

Отслужили молебен. Священник Воскресенский в своей проповеди перед богослужением нарисовал картину первозданного хаоса и сравнил его с Радою, где множество настроений, группировок и партий.

— Но над хаосом носился премудрый дух божий, который создал из него гармоническое здание вселенной. И Краевая Рада, чтобы дать прочное законодательство родной Кубани, должна проникнуться, как некогда Моисей, духом премудрости божией.

Но едва замолкли божественные песнопения, как «цитадель народоправства» превратилась в «бычье стадо».

Приступили к выборам председателя, место которого оставалось свободным после смерти Рябовола. Линейцы выставили кандидатуру Сушкова, черноморцы — И. Л. Макаренко. Этот последний, человек горячий и довольно бестактный, подобно своему брату Петру, считался отъявленным демагогом-болтуном.

Большинство высказалось за Макаренко. Тогда депутаты от Лабинского отдела, часть от Майкопского и отдельные депутаты от других отделов демонстративно покинули залу.

После перерыва опять сошлись все вместе. Калабухов дал объяснения по поводу «договора дружбы», дословно повторив то, что писал в «Вольной Кубани».

— Договор в законном порядке передан на обсуждение Раде, — закончил свою речь Калабухов.

Правая сторона, лабинцы, отнеслась к его объяснениям крайне неодобрительно. Черноморцы тоже не все приветствовали договор.

Новый председатель Рады очень скоро обнаружил свои таланты. Говоря о внутреннем положении Кубани и критикуя деятельность атамана и правительства, он воскликнул:

— Счастливый Дон! Там много достойного генералитета. А бедная Кубань не могла породить даже двух-трех порядочных генералов.

Ген.-м. Звягинцев, помощник управляющего военным ведомством, возмутился и заявил горячий протест.

— Я имел ввиду политическую незрелость кубанского генералитета, — пояснил свои слова Макаренко, после чего обрушился на Доброволию.

— Добровольческая армия требовала в Новороссийский базисный магазин 120 000 пудов муки, в Туапсе и в Керчь — 30 000 пудов. Армия же находится на Украине. Куда идет кубанский хлеб? Был такой случай, когда от Кубани потребовали 240 вагонов якобы американцам, в обмен на мануфактуру. Мануфактуру Кубань не получила, а за шпагат с нее Добровольческая армия взяла 140 вагонов. Нам говорят: все для нужд фронта, не смейте рассуждать. А казаки пишут с фронта, что вы много присылаете хлеба, а у нас бескормица.

26 октября раздался первый удар грома. В городе стало известно о том, что Деникин разослал атаманам и командармам телеграмму такого содержания:

«В июле текущего года между правительством Кубани и меджилисом горских народов заключен договор, в основу которого положена измена России и передача кубанским казачьим войском Северного Кавказа в распоряжение меджилиса, чем обрекается на гибель Терское войско. Подписавших договор при появлении их на территории вооруженных сил юга России приказываю немедленно предать военно-полевому суду за измену. Генерал Деникин. 25 октября. Таганрог».

27 октября на заседание прибыл Филимонов.

Правая встала, как один. Центр частью сидел, частью стоял. На левой — все сидели.

Атаман начал с жалобы на поведение парижской делегации, обострившее отношения между Кубанью и Добровольческой армией. Затем он огласил телеграфный приказ Деникина от 25 октября и сообщил:

— Я, что мог, то сделал. Телеграфировал Деникину, что в Париже был заключен лишь проект договора и что об отпадении Кубани от России говорить не приходится.

Калабухова попросили удалиться.

Начались страстные дебаты по поводу того, что делать с злополучным «договором дружбы». Курганский, глава

правительства, настаивал на том, чтобы договор считать недействительным, делегацию же признать превысившей свои полномочия.

Но в Раде царил петушиный задор. Черноморцы слепо шли за «хведералистами». Макаренко взял верх: Рада постановила заняться обсуждением договора, раз он ей представлен.

28 октября прибыл в Екатеринодар Врангель. Рада пригласила его на заседание.

— До тех пор, пока у вас заседают изменники, моя нога не переступит вашего порога. Кроме того, в Раде раздаются оскорбления по адресу высших чинов армии,—ответил барон.

Слова Макаренки о недоброкачественности кубанских генералов задели его за живое. Он, хотя появился на Кубани с 1918 года, но, принятый в апреле в казачество, считал себя кубанцем, облачился в черкеску и папаху и не расставался с ними даже потом, в эмиграции.

Вместо Рады, Врангель отправился на секретное совещание с ген. Покровским, ген. Науменко и управляющим Освагом Доброволии профессором К. Н. Соколовым.

29 октября кубанский атаман и правительство, по требованию Рады, обратились к Деникину с телеграммой, в которой указывали, что Калабухов и другие за свои действия подлежат суждению краевого правительства, а существо договора—обсуждению Кубанской Краевой Рады, на рассмотрение которой передано все это дело. Члены парижской делегации, как дипломатические представители, должны пользоваться неприкосновенностью. Приказ о предании их суду нарушает права Кубани, а потому просят его отменить.

Таманский отдел потребовал, чтобы Рада отозвала своих делегатов с южно-русской конференции. Таковая все еще существовала.

Деникин на телеграмму ничего не ответил. Он поручил Врангелю руководить расправой с «хведералистами».

Засев в Пятигорске, среди терцев, до глубины души возмущенных «договором дружбы», барон сообщил атаману, что Кубань включена в район действий Кавказской Добровольческой армии и что командующим войсками тылового района назначается ген. Покровский. Последний, в свою очередь, уведомил Филимонова о своем назначении.

Начальник штаба Кавказской армии ген. Шатилов разъяснил, что, в виду малозаселенности и бедности в жилищном и продовольственном отношениях района Кавказской

армии, главнокомандующий приказал включить в район ее и Кубань.[1]

Все эти телеграммы Филимонов огласил в заседании Рады 2 ноября, при чем доложил, что Кубань с самого начала входила в район Добровольческой армии, вследствие чего Деникин в праве включать ее или выключать из района военных действий. В виду распоряжения Деникина о расширении района Кавказской Добровольческой армии путем включения в ее тыловой район всей Кубани, ген. Врангель теперь является здесь высшим военным начальником.

Федералисты теперь воочию увидели, что затевается что-то очень недоброе. Но реагировать на все эти грозные приготовления они могли только одним путем—своими резолюциями. Обсудив все сообщенные атаманом телеграммы, Рада постановила:

1) распоряжение о включении Кубани в район Кавказской армии признать неимеющим силы; 2) вся гражданская власть и военная сила в пределах территории Кубанского края находится, как и прежде, в руках Рады и правительства; 3) кубанский войсковой атаман и правительство обязываются наблюсти неукоснительно за соблюдением кубанской конституции и настоящего постановления.

Между тем в город начали прибывать войска. Ген. Покровский привез с собой с фронта отряд черкесов, отъявленных головорезов, готовых по первому слову вождя истребить все население города. В тот же день он объявил свой приказ № 1 о вступлении в должность командующего тыловым районом Кавказской армии.

В городе замелькали конные патрули.

Рада чувствовала, что почва ускользает у нее из-под ног. Никто ее не слушался и все ее постановления были пустым звуком. Комендант Екатеринодара ген. Чумаченко избил члена Рады Якунина. Рада постановила сместить буйного генерала с должности. Во время заседания 2 ноября кто-то из ложи журналистов громко крикнул по адресу депутатов:

— Мерзавцы!

Крикуна обнаружить не удалось.

В Екатеринодаре безраздельно властвовал Покровский.

Рада уже хорошо знала, что из себя представляет этот вождь, которого она же возвела в генеральский чин из скромных штабс-капитанов.

---

[1] Согласно «Положения о полевом управлении войск в военное время» район каждой неотдельной армии определяется главнокомандующим и делится на войсковой и тыловой. Это же «Положение» определяет права командующих неотдельными армиями в отношении управления своего района.

Биография героя ноябрьских событий была помещена еще в 1918 году в «Донских Ведомостях».[1] Стоит привести выдержки из нее, чтобы иметь представление об этой, действительно, незаурядной личности, имя которой неизменно ассоциировалось с виселицей.

«Небольшого роста, тридцати с небольшим лет, с крупными, острыми чертами лица, ген. Покровский производит впечатление человека кипучей энергии, большой смелости и недюжинного ума. Первый коновод во всех шалостях, любознательный бездельник, читавший все, что угодно, кроме учебников, но всегда один из первых учеников сначала в корпусе, а затем в Павловском военном училище. По производстве в офицеры ему быстро надоедают строевые занятия, товарищеские кутежи и вечеринки. Ему хочется учиться, и в 1911 году он поступает в Политехнический Институт по отделу воздухоплавания, а затем и в воздухоплавательную роту. Наконец таки он нашел наиболее удовлетворяющую его сферу деятельности. Вечный риск и игра с жизнью, сильные ощущения как нельзя более соответствуют беспокойной и кипучей натуре молодого офицера».

«На войне поручик Покровский получил авиационный отряд.. Товарищи и подчиненные любят его, но не любят с ним летать. — «Уж больно отчаянный, того и гляди: и сам убьется и тебя убьет». Покровский—там, где риск. Во время корниловского мятежа он в Петрограде, начальник штаба корниловской организации,[2] после же большевистского переворота попадает в кронштадтскую тюрьму, оттуда бежит на Кубань, объятую большевизмом. У правительства нет реальной силы. Покровский проявляет талант организатора и, благодаря ему, создаются партизанские отряды, оттягивающие падение Екатеринодара почти на два месяца. Покровский не только руководит, но и сам дерется.—«Дерется, как сумасшедший, но его самого не берет ни пуля, ни штык!»—говорят партизаны. После знаменитого эйнемского боя, где Покровский разбил противника, город встретил его с цветами, а Рада возвела сначала в чин полковника, а потом и генерал-майора.

«Во время кубанского похода он мобилизовал казачьи станицы. Он не считается с потерями, так как, по его мнению, цель оправдывает средства. Часто только слепое счастье и необычайная дерзость спасают его самого и его полки от неминуемой гибели».

[1] № 54, от 8 ноября 1918 г., статья «Ген. Покровский» Ник. Туземцева.

[2] Едва ли это верно. Во всяком случае в белом стане находились другие лица, которые приписывали себе ту же роль—руководителя петроградской организации корниловцев.

Небезынтересны политические взгляды Покровского:

«В России должна быть военная диктатура во главе с ген. Деникиным, и диктатура длительная, по крайней мере до тех пор, пока жизнь государства не войдет в нормы, а затем будет созвано Учредительное Собрание, после новых свободных выборов, и оно уже само установит образ правления. До тех пор провинциями должны управлять губернаторы, поставленные диктатором; казачьими областями — выборные атаманы. Никаких правительств при атаманах не должно быть; они должны подчиняться Раде и нести ответственность перед диктатором». [1]

Открыто заявить, что Рада не нужна, даже и Покровский не осмеливался. Кроме того, в ноябре 1918 года он питал честолюбивую мечту попасть через Раду в кубанские атаманы.

«Слишком много живых нитей, связывающих меня с Кубанью неразрывно, а потому я считаю своим священным долгом служить на том поприще, к которому она меня призовет. Я только считаю, что конституция Кубани должна быть аннулирована и вся власть в крае должна быть передана в руки атамана,—ответил Покровский журналисту Туземцеву, когда последний спросил, как он смотрит на свою кандидатуру в атаманы». [2]

— Только бы мне добраться до булавы, а там я пропишу вам народоправство!—таков был смысл его речи.

Когда булава ему улыбнулась, когда Рада наотрез отказалась от предложенной им военной диктатуры, Покровский окончательно разошелся с кубанскими политиками. Он дискредитировал Раду, как только мог.

16 декабря 1918 г., в станице Кущевской, на станичном сходе, избравшем его «почетным стариком» станицы, он так аттестовал кубанских законодателей:

— Собралась кучка безумных людей и вздумала отбирать землю. Этого никогда не будет.

За обедом, перепившись, он начал производить в офицеры. Четырех казаков произвел в хорунжие, одного — в сотники и одного—в полковники; нескольких человек, в том числе и никогда не служивших в войсках,—в подхорунжие. То же самое проделал он и в станице Новопашковской, где очень многих казаков удостоил урядничьими нашивками. [3]

---

[1] «Донские Ведомости», 1918 г., № 54.

[2] Там же.

[3] Станицы Кущевская и Новопашковская входят в состав Ейского отдела. Об этих художествах Покровского представители станиц доложили на заседании Отдельской Рады, собиравшейся в январе, в присутствии тогдашнего

Кубанский атаман еще ранее, 13 ноября 1918 года, издал приказ, возбранявший начальникам отрядов самочинно производить в офицеры или лишать этого звания.[1] Покровский чихал на всякие приказы.

За год, который истек со времени освобождения Кубани, фигура Покровского обрисовалась во всю полноту. Несомненный садист, он ввел бессудные расправы в обычай и так безжалостно расправлялся с «причастными к большевизму лицами», что его товарищ по боевой работе Андрей Шкуро в сравнении с ним казался ангелом. Говорили, что в некоторых случаях он лично производил расправы. Однажды, захватив в плен старого кадрового полковника, служившего в Красной армии, он пригласил его к себе в вагон для беседы. Окидывая собеседника своим пронзительным, леденящим взглядом, он задал ему ряд вопросов. Полковник, привыкший за долгие годы службы ко всяким видам, отвечал совершенно хладнокровно и не подозревал ничего дурного.

— А, сволочь! У большевиков служить,—внезапно заревел Покровский, и полковник, с пробитым пулею черепом, грохнулся на пол.

В Кисловодске и Пятигорске он соорудил частокол виселиц. Прибыв на Дон в феврале 1918 года, украсил всю дорогу от Ростова до Кущевки столбами с повешенными «изменниками». В Камышине публично повесил пятерых «комиссаров».

Имея большой опыт в области этого спорта, Покровский наконец таки добрался до «бычьего стада». Деникин и Врангель знали, кому поручить грязное дело.

— Твердый характер и громадная энергия ген. Покровского достаточно известны кубанцам, и, надо полагать, при нем в тыловом районе Кавказской армии будет вполне спокойно,—сказал журналистам «походный атаман» Науменко, удалившийся, вместе с Врангелем, в Пятигорск, чтобы оттуда, из прекрасного далека, наблюдать за кровавыми действиями патентованного палача.

Науменко сам жаждал атаманской булавы и поэтому хотел остаться чистым и непорочным в отношении Рады, предоставляя палаческие обязанности Покровскому, человеку небрезгливому и без предрассудков.[2]

председателя правительства Ф. С. Сушкова и члена правительства по военным делам ген.-м. Науменко.

— Производить за рюмкой вина нельзя. Все эти производства утверждены не будут,—сказал Науменко.

— Вообще это поступки сумасшедшего. Нормальный человек так говорить и так делать не станет,—произнес член Рады полк. Феськов.

[1] № 336.

[2] Науменко достиг своей цели в 1921 году на о. Лемносе!

Филимонов остался в Екатеринодаре, неся тяжелый крест ходатая по делам безнадежно промотавшегося расточителя. Он бегал, просил, умолял, уговаривал то Покровского, то членов Рады. Сам безропотно подчиняясь кому угодно, он убеждал и Раду облечься в одежду смирения. Между прочим, он предложил Раде утвердить новый закон об управлении краем и разойтись, чтобы не обострять отношений с Доброволией своими выпадами.

— Нас обуял страх за конституцию, но на нее никто никогда не покушался,—поддержал атамана его бойкий племянник, сотник Филимонов.

Рада, все еще не желая капитулировать, отвергла предложение атамана о самороспуске и занялась обсуждением поведения парижской делегации. Представитель иногородних, социал-демократ Коробьин, 5 ноября держал речь по поводу «договора дружбы»:

— Я слышал обширный доклад Калабухова и не слышал в нем ничего о России, а только о Кубанском крае. У кого нет России, того можно подозревать в измене и упрекнуть в самостийности. Парижская делегация просит о признании самостоятельности Кубани и включении ее в Лигу Наций. Она представляет карту своего кубанского государства. Но туда же явились представители и Украины, и Литвы, и Латвии, и горцев, и тоже со своими картами. Те горцы, с которыми заключен «договор дружбы», представили карту своего государства, граница которого проходит около самого Екатеринодара. А где же Россия? Куда они девали идею России?

Пока законодатели обсуждали доклад Калабухова, Покровский предъявил «цитадели народоправства», в лице ее главы—атамана, два ультиматума:

1. Рада должна выдать Калабухова, для суждения его, как изменника, в силу приказа Деникина от 25 октября.

2. Рада должна прекратить травлю Добровольческой армии.

Ответ должен быть дан в 12 часов дня 6 ноября. При этом Покровский предупреждал, что, если его требования не будут выполнены, он добьется своего силою.

В страшном волнении собрались законодатели на вечернее заседание 5 ноября. Рада походила на волка, которого окружила стая борзых и готовилась загрызть.

В городе от законодателей все бегали прочь, как от зачумленных. Казакоманство, которое ранее напускали на себя екатеринодарские обыватели из казаков, теперь как рукой сняло.

«Единонеделимцы» злобно улыбались по адресу народных избранников и радостно ликовали, когда надменно-

сосредоточенный Покровский рысью проносился по Красной в сопровождении своих звероподобных телохранителей.

Филимонов огласил ультимативные письма.

— Ничего другого не остается, как подчиниться требованиям ген. Покровского,—грустно закончил атаман свои слова.

— Как? Неужели выдавать товарища?—раздались возгласы левой.

— Стыдно так говорить главе государства!

— Керенскому, на требование выдать Каледина, донцы отвечали:—«С Дону выдачи нет». А мы будем выдавать!

Во время перерыва, когда группы депутатов в частном порядке нервно обсуждали требование страшного генерала, председатель Рады И. Л. Макаренко, волнуясь больше прочих, подошел к Филимонову и бросил ему в лицо упрек:

— Какой вы атаман, если предлагаете полную капитуляцию перед насильниками. Вы должны сложить свои полномочия. Подайте мне булаву.

Атаман растерялся и водил глазами по сторонам, ища поддержки.

— Что вы делаете, Иван Леонтьевич!—попробовал усовестить обидчика председатель правительства Курганский.

— Молчать!—крикнул Макаренко.—А то я вас, как щенка, выкину отсюда.

Совершенно потеряв самообладание, он погнал депутатов в залу и открыл заседание.

— Вы видите,—начал он, страшно волнуясь,—в критическую минуту атаман нас не защищает. У нас нет атамана. Атаман изменил Кубани и предался Добровольческой армии. В виду этого вся власть на Кубани принадлежит Краевой Раде. Кому атаман должен передать свою булаву?

Поднялся невообразимый шум. Многие повскакали с мест.

— Прошу слова!—робко потребовал атаман.

— Вам более нечего говорить,—отвечал ему председатель.

Однако, большинство депутатов запротестовало против лишения слова главы государства.

Филимонов наконец заговорил. Отчаяние породило в нем некоторый прилив мужества, и он разразился градом упреков по адресу черноморцев, занявших непримиримую позицию.

— Во всей этой ужасной истории виноваты вы (он указал на президиум во главе с Макаренко), а не ваш атаман.

— У нас нет атамана!—вопили «хведералисты».

— Есть! Есть!—заглушали их линейцы.

Среди хаоса кое-как удалось поставить на голосование вопрос о доверии атаману, которого председатель Рады обвинил в измене Кубани.

Один случайный голос в пользу атамана решил исход заседания и предотвратил, быть-может, самые печальные последствия, неизбежные в том случае, если бы верх взяла шайка бесноватых и оголтелых кликуш.

Филимонов, потрясенный неожиданными для него результатами голосования, разрыдался. Макаренко же в недоумении глядел на депутатов.

— В виду такого, непонятного мне, поведения Краевой Рады,—заявил он наконец,—я вынужден сложить с себя полномочия.

Все безмолвствовали.

Понуря голову, поплелся оплеванный демагог вон из театра. Больше его не видали в Екатеринодаре до февраля.

Место Макаренки занял горец Султан-Шахим-Гирей.

В Раде сразу стало тише. Тон речей понизился. Даже намечалось «покаянное настроение», как выразился один депутат. Решили еще раз попытаться урезонить Деникина и отговорить его от кровавой расправы.

Филимонов отправился на телеграф, чтобы завязать переговоры с Деникиным по прямому проводу. Но его не допустили в аппаратную. Более того: даже не позволили отправить простую телеграмму Деникину. Везде хозяйничал Покровский.

Державная Рада и избранный ею глава суверенного государства попали в плен к крошечной шайке кавказских абреков и кубанских головорезов. Кубанский «народ» и не думал двигаться на выручку своих избранников.

Утром 6 ноября Калабухов, посоветовавшись со своими друзьями и узнав, что большинство Рады склоняется на путь мирного разрешения конфликта, сам отдал себя в руки кубанских военных властей. Его препроводили в атаманский дворец, где фактическим хозяином являлся не Филимонов, а Покровский.

6 ноября, с самого раннего утра, в Екатеринодар начали прибывать казачьи части из подгородней станицы Пашковской. Городской гарнизон весь встал в ружье.

На Красной гарцовал верхом Покровский во главе своего конвоя.

Никто из жителей не понимал, что такое происходит.

Войска выстроились шпалерами по главной улице, от атаманского дворца до Соборной площади. Зимний театр, как только собрались депутаты, окружили пластуны, конные черкесы и пулеметчики. Все прилегающие к театру улицы тоже почти сплошь заняли казаки и черкесы.

Члены Рады, собравшись, не знали, что делать, и ждали возвращения от Покровского Ф. С. Сушкова, которого еще до окружения Рады войсками Покровский вызвал к себе во дворец.

Наконец Сушков прибыл.

— Господа! — с дрожью в голосе заявил он, — Калабухов находится во дворце под арестом. Но генерал Покровский требует немедленной выдачи И. Л. Макаренко, П. Л. Макаренко, Ф. С. Манжула, К. А. Бескровного, Г. В. Омельченко, Ф. Воропинова и полк. Роговца. Если это его требование не будет выполнено немедленно, он пустит в ход войска, которые стоят наготове.

Обреченные сошлись в кучку и начали совещаться.

— Господа! — сказал Раде от лица их Петр Макаренко, — мы решили добровольно явиться во дворец, так как надеемся, что от этого нашего поступка выиграют интересы Рады.

Царила тишина, необычная для «бычьего стада».

На трибуну поднялся полк. Успенский, который только-что вернулся с улицы.

— Генерал Покровский находится у дверей Рады. Если поименованные им лица не будут выданы, сюда войдут войска.

П. Л. Макаренко, Омельченко, Роговец, Манжула и Воропинов стали прощаться и кланяться Раде.

И. Л. Макаренко и Бескровный, выдачи которых также требовал Покровский, не прибыли на заседание. Первый ночью бежал из Екатеринодара, второй на следующий день добровольно отдался в руки Покровского.

Перед уходом из залы, Воропинов задержался, чтобы произнести несколько высокопарных слов о любви к родине.

— Мы уходим, приносим себя в жертву родной Кубани. Пусть она будет счастлива! Без этой веры в будущее счастье ее лучше бы сейчас самому застрелиться, чем быть застреленному. Но с этой верой я смело иду.

— Прошу встать в честь ушедших! — дирижировал полковник Успенский.

Выполняя требование Покровского, Рада отпустила свой караул. На его место прибыли юнкера Кубанского Софийского училища.

Арестованных повезли на автомобиле, под усиленным конвоем, во дворец, по улицам, занятым войсками. Депутаты на своем крестном пути видели только погоны, кокарды, шашки, пики.

В тот же день Покровский арестовал еще нескольких федералистов, — Подтопельного, Белого, полк. Феськова, Жука, Балабаса. Начальник кубанского Освага, полк. Гон-

чаров, на которого тоже охотился вешатель, успел бежать.

Раду очистили от наиболее заядлых врагов Доброволии. «Братва», лишенная вожаков, стушевалась. Теперь начали верховодить линейцы. Звезда Черноморья закатилась.

Покровский торжествовал победу над двумя стами безоружных болтунов. Он сообщил обо всем Врангелю в Пятигорск. Барон прислал следующий приказ:

«Прикрываясь именем кубанцев, горсть предателей, засев в тылу, отреклась от матери России. Преступными действиями своими они грозили свести на-нет все то, что сделано сынами Кубани для восстановления великой России, все то, за что десятки тысяч кубанцев пролили свою кровь. Некоторые дошли до того, что заключили преступный договор с враждебными нам горскими народами, договор, предающий в руки врага младшего брата Кубани — Терек, пытались развалить фронт, сея рознь в тылу и затрудняя работу атамана и правительства в деле снабжения и пополнения армии, чем оказывали содействие врагам России. Как командующий Кавказской армией, я обязан спасти ее и не допустить смуты в ее тылу. Во исполнение изданного мною приказа, командующим войсками тыла армии ген. Покровским взяты под стражу и преданы военно-полевому суду в первую голову десять изменников: Калабухов, Макаренко, Манжула, Омельченко, Балабас, Воропинов, Феськов, Роговец, Жук и Подтопельный. Пусть запомнят эти имена те, кто попытался бы итти по их стопам!»

Но покорность, которую проявили федералисты, сами отдавшись в руки палачей, обезоружила ярость врагов Рады. Не Врангеля, конечно; тем более не Покровского. Смягчился Деникин, увидя, что Рада обезврежена, заткнула глотку, и что в большом кровопускании нет надобности. Решили разделаться с одним Калабуховым, чтобы запугать Быча и не допустить его возвращения на Кубань.

Тотчас же после ареста вождей «хведералистов», Рада избрала делегацию для поездки к Деникину, чтобы принести ему свою повинную голову. Согласно наказу, эта делегация (глава ее — Ф. Щербина) должна была заявить, что: 1) кубанская делегация в Париже лишена Радою своих полномочий; 2) Кубанская Краевая Рада вновь торжественно подчеркивает решимость вести борьбу с большевиками до победного конца, в единении с Добровольческой армией; 3) в интересах успешной борьбы должна быть организована общая власть, с сохранением казачьих автономий; 4) следствие и суд над арестованными депутатами надлежит поручить кубанской власти; 5) арестован-

ных следует освободить; 6) командование тылом Кавказской армии целесообразнее передать кубанскому атаману.

Теперь, когда грянул гром, не все рисковали явиться на глаза Деникину. Делегацию выбрали с трудом. Все отказывались от неприятной обязанности.

Деникин не стал разговаривать с осточертевшими ему кубанскими законодателями и уехал в Новочеркасск, чтобы предостеречь Круг от поддержки Рады. Таким образом Терек успокаивал Врангель, Деникин — Дон в то самое время, когда в Екатеринодаре чинил суд и расправу Покровский.

— Я был бы преступником, если бы не отдал приказа об аресте и суждении изменников, — сказал Деникин на Круге.

Умея довольно недурно говорить, он произвел сильное впечатление своей речью, в которой убедительно просил казачьих законодателей прекратить игру в политику, когда надвигается опасность, и установить в своих областях твердую власть, передав ее атаманам.

Выступление Деникина на Круге задержало обсуждение протеста Кубанской Рады, которая еще до ареста депутатов просила донских и терских избранников поддержать ее в борьбе с теми, кто посягает на суверенитет «цитадели народоправства». В Екатеринодаре тем временем произошли такие события, которые напугали Круг и сделали всякие выступления его в защиту Рады бесполезными.

Как только Калабухов очутился во дворце, Покровский немедленно назначил военно-полевой суд из своих головорезов: полк. Каменского, есаулов Лучева, Прудия, Зекрача и Хорина. Первый из них председательствовал.

Процедура суда происходила во дворце же, вечером 6 ноября.

Приговор гласил:

«Алексея Ивановича Калабухова, казака станицы Новопокровской, как признанного виновным в том, что в июне текущего года он, в сообществе с членами кубанской делегации Бычем, Савицким и Номитоковым, с одной стороны, и представителями горских народов Чермоевым, Гайдаровым, Ходзогоровым и Бамматовым, с другой, подписал договор, явно клонящийся к отторжению Кубанского края от государства российского и к покушению на передачу кубанских войсковых земель в распоряжение меджилиса, т.-е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 100, ч. 3 и 2, 101 и 108 угол. улож., — подвергнуть смертной казни через повешение».

— Утверждаю! — с восторгом начертал Покровский.

В городе жизнь шла обычным порядком. Население кубанской столицы ничем не реагировало на расправу с Радою.

7 ноября, утром, как всегда, вышел очередной, по счету 248-й, номер «Вольной Кубани». Без боевых статей. Без отчета о заседаниях Рады. В хронике значилось объявление:

«Завтра, в пятницу, 8 ноября, в Александро-Невском соборе состоится архиерейское богослужение, на котором священник о. Сергий Тихомиров скажет слово на тему: «Явися же ему, молящемуся в Гефсиманском саду, ангел с небеси и укреплял его».

Калабухов в это время уже качался на перекладине...

В 4 часа утра арестованных членов Рады под усиленным конвоем юнкеров препроводили из дворца в арестный дом, Калабухова же на виселицу, сооруженную на Крепостной площади.

Насытив свою извращенную страсть ужасным зрелищем, Покровский пожелал доставить бесплатное развлечение и жителям Екатеринодара. Труп оставили висеть на площади. В течение дня громадные толпы зевак совершали туда паломничество.

«Вечернее Время», захлебываясь от удовольствия, извещало 8 ноября ростовскую публику о казни изменника. Некий Н. Штиглиц посвятил Покровскому хвалебную статью, озаглавив ее «Смешное о печальном»:

«Вот что как-то рассказывал мне начальник железнодорожной станции, переживший события в каменноугольном районе: «Стоял на нашей станции ген. Покровский со своим штабом. В нашем районе было неспокойно, бродил местный большевизм. В штаб сообщили, что из барака, где жили шахтеры, стреляли по разъезду кубанцев и ранили казака. Покровский живо распорядился. Барак оцепили, находившихся в нем арестовали. Однако они не выдали того, кто стрелял. Утром снова допрос. На этот раз выдвинули двух виновников. У Покровского разговоры коротки — веревка и сук. А остальным за запирательство 50 плетей». [1]

7 ноября, после казни Калабухова, Покровский приказал начальнику черкесской дивизии Султан-Келеч-Гирею арестовать заместителя председателя Рады Султан-Шахим-Гирея. Горец арестовывал горца. Квартиру жертвы по обычаю разгромили. При этом погиб злополучный проект «договора дружбы», хранившийся в портфеле Султан-Шахим-Гирея.

---

[1] «Вечернее Время», г. Ростов, № 407, от 8 ноября 1919 г.

*

Покровский в этот день, конечно, находился в хорошем расположении духа. По просьбе ген. Гатогогу, члена Рады, он отдал ему арестованного черкеса на поруки.

8 ноября прибыл в Екатеринодар Врангель. Теперь ничто не мешало ему явиться в Раду: там больше не было изменников.

Депутаты решили встретить его стоя. На душе у них скребли кошки, но на своих лицах они старались изобразить ликование, когда победитель явился на заседание.

Гром аплодисментов приветствовал барона. Филимонов обратился к нему с речью:

— Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Петр Николаевич! От имени Кубанского края, как глава его, приветствую вас, славный, доблестный вождь Кубанской армии.

Врангель поднялся на трибуну и поспешил излить перед Радой горечь своего сердца, перечисляя вины федералистов. Упомянул о том, что благодаря их злостной агитации его армия не получала подкреплений; не умолчал и об уязвлении своего самолюбия известными словами И. Макаренко о кубанских генералах.

— Когда моя армия наступала на Царицын, в некоторых полках было по 30 — 40 шашек, а в полковых повозках по 400 человек. На Кубани была объявлена мобилизация 6 000 лошадей. Но мы их получили лишь через два месяца, тогда, когда Рада разъехалась на каникулы. Моя армия нуждается в пополнениях. Я рассчитываю, что вы мне их дадите. Теперь плевелы удалены из вашей среды. Я сейчас уезжаю на фронт. Так могу ли я передать моим орлам, что их отцы и братья, члены Краевой Рады, как один, придут им на помощь?

— Просим, просим, ваше превосходительство!

Перед уходом генерала сотник Филимонов, молодой, но из ранних, рискнул замолвить от лица Рады слово за арестованных:

— Краевая Рада единогласно обращается к вам от чистого сердца и во имя спокойствия края с просьбой освободить их и передать в наши руки.

Врангель ничего положительного не обещал, но заверил законодателей:

— Будьте спокойны, никто не посягнет на ваши вольности.

Рада тотчас же поспешила изменить конституцию. Без прений (это в Раде!) были приняты единогласно (!) следующие предложения П. М. Каплина:

1. Кубанский край мыслит себя неразрывно связанным с единой, великой и свободной Россией.

2. Борьба в союзе с Добровольческой армией до конца за возрождение великой России через Всероссийское Учредительное Собрание.

3. Двухпалатная система упраздняется; функции Законодательной Рады переходят к Краевой, избранной на основании особого закона.

Особая делегация отправилась к Врангелю, чтобы сообщить ему об этих новшествах.

Унижение и лесть помогли. 9 ноября ген. Покровский уведомил Раду, что он, на основании полномочий, полученных от Деникина, гарантирует жизнь арестованным членам Рады, каков бы ни был приговор суда. Вскоре он передал Раде полученную им от Деникина телеграмму такого содержания:

«Твердо верю, что кубанское казачество осудило искренно обманувших доверие выборных людей, ведших край к гибели. Не желая проливать лишней крови, приказываю помиловать арестованных членов Рады и заменить угрожавшее им по суду наказание высылкой за пределы России».

— Генерал Покровский блестяще выполнил все мои приказы, которые я передавал ему из Кисловодска по прямому проводу, — сказал Врангель в беседе с журналистами. Фронтовое казачество чуждо всякой самостийности. Я уверен, что теперь моя армия будет обеспечена всем необходимым и почувствует на себе заботы матери Кубани.

Черноморская земская управа приветствовала, в письме к Покровскому, проявленную им твердую государственную власть и ходатайствовала об устранении экономического гнета Кубани, воспрещавшей свободный допуск в Черноморскую губернию продовольственных продуктов и фуража.[1]

9 ноября Рада избрала нового председателя на место бежавшего И. Л. Макаренко, а десятого провожала Филимонова, который так мотивировал причины своего ухода в отставку:

— Теперь, когда борьба с большевиками ведется на большом фронте уже не маленькими отрядами добровольцев, а широким фронтом русской армии, теперь заботы о безопасности Кубани от нас отошли на второй план. В настоящий момент мы все горьким ударом судьбы приведены к единомыслию и согласованности. Надо надеяться,

---

[1] Доброволия в это время объявила экономическую блокаду Дона и Кубани, не допуская в них никаких товаров из районов, где она властвовала безраздельно. Такая мера была вызвана тем, что донское и кубанское правительства, в целях предупреждения вздутия цен на предметы питания, воспрещали вывоз их из своих областей.

что с сегодняшнего дня жизнь, устроение жизни и работа краевых представительных учреждений пойдет нормально. Это одна сторона. Другая — это то, что вы приняли новое положение об управлении Кубанским краем, существенно изменяющее положение атамана. Права и обязанности атамана при расширении приняли другие рамки, другой смысл, чем те, при которых был избран я. Третья сторона — я не объединяю всех слоев населения. Здесь, в Раде, не скрывали чувства враждебности ко мне. Все это, вместе взятое, обязывает меня добросовестно заявить, что настал момент, когда я должен сложить полномочия войскового атамана.

— Просим! Просим! — раздались возгласы.

Атаман-баба уступил место другому, ген. Успенскому.

Кубань как-будто обновлялась.

Даже Шкуро, презиравший Раду, теперь прислал ей приветствие: [1]

«От всей души желаю собравшимся членам Рады наконец дать родной Кубани так долго жданные порядок и законность».

14 ноября ген. Покровский, закончив свою миссию в тылу, выехал на фронт.

«Русская армия, — писал Деникин в приказе от 11 ноября за № 2667, — в непомерно тяжелых боях льет кровь за освобождение России, за счастье народа, за русскую долю и казачью, а в то же время безудержное политиканство, неправда, ябедничество, грабежи, спекуляция, жульничество разрушают то, что создает кровь. В кубанском представительном учреждении в течение года небольшая кучка людей вела поход против русской армии, русского национального единства в содружестве с отторгнувшимися от России и изменившими ей окраинами. Я долго ждал, что учреждение само осудит казаков, ведущих казачество к гибели; но этого, к сожалению, не случилось. И потому, не посягая на существование выборных казачьих установлений и казачьих вольностей, прежней и нынешней ролью казачества заслуженных, я применил власть главнокомандующего к преступникам. Перед лицом смертельной опасности, угрожавшей делу спасения России, я призываю командующих армиями, казачьи правительства, войсковых атаманов, Круги и Раду, в пределах принадлежащих им прав, помочь мне суровыми и беспощадными мерами расчистить тыл». [2]

Эс-эрствующих самостийников сократили.

---

[1] 12 ноября.
[2] «Донские Ведомости», № 259, от 13 ноября 1919 г.

На Дону П. М. Агеев, которого считали единомышленником кубанских федералистов, сложил с себя полномочия заместителя председателя Круга и добровольно закатился в тень, не желая служить яблоком раздора между Доном и Добороволией.

Но кубанских казаков, не взирая на екатеринодарское действо, не могли заставить ополчиться против большевиков.

Труп Калабухова не спас великой и неделимой.

XXIII.

В ПРЕДДВЕРИИ КРАХА.

Осенью юг России снова посетил английский генерал Бригс, командированный своим правительством для ознакомления с положением дел у Деникина.

29 октября, на обеде у донского атамана, он высказал свои впечатления:

— Ныне, по прибытии в Россию, я был весьма огорчен ухудшением вашего экономического положения. Ничем неоправдываемое поднятие цен принимает вид народного бедствия и совершенно непонятно Европе, ибо Европа знает, что юг России, в частности Дон, обладает неисчерпаемыми богатствами. Большая ответственность за последствия такого положения лежит на власти, которая должна принимать меры борьбы со спекуляцией. Если при таких условиях, без разумных мер власти, падает промышленность, то на это надо смотреть как на положение, которое знаменует собой приближение полной катастрофы, при чем такой катастрофы, которая может стать непоправимой. Теперь же необходимы меры, которые должны поднять промышленность. Первая, ближайшая мера—это управление вывозом сырья. Известно, что цены на жизненные предметы поднимаются и в Европе, хотя далеко не так, как в России. В настоящее время Европа также озабочена этим бедствием. Весь мир понимает, что для установления экономического порядка необходимо помочь возрождению России, которая должна существовать, ибо без России мы имеем пред лицом длительную экономическую неустойчивость.

После того, как чрезвычайный посол его величества короля Англии и императора Индии свалил ответственность за экономическую разруху на власть, несколько странно звучали его дифирамбы по адресу лиц, стоящих во главе этой власти:

— Для своего восстановления Россия имеет двух архитекторов, Деникина и Колчака. Европа не сомневается, что они выстроят прекрасное мраморное здание на железном фундаменте. Это будет великолепный дворец, в котором найдется место для всяких автономий.

Заморские друзья белых генералов почти постоянно проговаривались о том, что они пытаются восстановить «великую» Россию вовсе не ради ее прекрасных глаз, а из-за собственных экономических интересов. Только совсем слепые люди не видели, чем руководствуются заграничные «спасатели» России, и твердили о какой-то неземной дружбе Англии, о борьбе ее с большевизмом в силу высоких нравственных качеств англичан и т. д.

Таков был, например, А. Ф. Аладьин. 6 июня 1919 г. в Ростове он читал лекцию, озаглавленную «Британия и британцы».

— Ознакомившись в течение 17 лет с Британией от доков до палаты общин,—разглагольствовал этот лектор,— я уяснил, что устои британской мощи — это, глубокое сознание долга, уважение к женщине, любовь к детям и религиозность. Дружба Британии к России теперь доказана, а раз британец делается кому-либо другом, он, действительно, друг надежный. «Британия хочет, чтобы мы сделались опять великой и единой Россией. Лишь большевиков и наполеонизма она не потерпит. Хотя бы десятки лет и миллионы солдат потребовались, но Британия не допустит в России ни анархии, ни стремления к владычеству над целым миром». [1]

Мелкие английские офицеры порой пытались втирать очки обществу о своей любви к России, но и в их словах нетрудно было уловить, что одни только меркантильные расчеты побуждают англичан поддерживать белых. Вот что, например, писал майор Принкет, главный инструктор и начальник легко-траншейной мортирной школы:

«После четырех лет пребывания во Франции и Бельгии, я прибыл на юг России с британской военной миссией для добровольного несения обязанностей службы в качестве инструктора. Я мог бы по демобилизации оставить службу, снова пользоваться благами гражданской жизни, имея постоянное местожительство в Лондоне, состоя одновременно гражданином Сити и Лондона и имея там много друзей. Главные причины, побудившие меня приехать в Россию, были таковы: 1) содействовать уничтожению большевизма, опасного для цивилизованных стран, для мира народов и развития торговых сношений; 2) в знак

[1] «Донские Ведомости», № 132, от 9 июня 1919 г.

признательности России за помощь Англии в мировую войну; 3) для защиты законов и обычаев церкви; 4) для восстановления сильной России.[1]

Как много ни наговорил красивых слов этот демобилизованный офицер, но все-таки смысл его приезда в Россию было нетрудно расшифровать.

«Я — гражданин Сити, из купеческой семьи, торговля которой падает из-за большевиков, а потому вот моя помощь тем, кто хочет их сокрушать».

Помимо Бригса, к Деникину то и дело приезжали из Европы, и даже Азии, разные благожелатели с изъявлениями дружбы и с предложением организовать товарообмен. Являлся какой-то японский маркиз и какой-то испанский принц. Они обедали, пили шампанское, говорили речи и безвозвратно уезжали.

Одно время, говорят, добралась до Таганрога даже немецкая делегация. Будто бы и немцы искали союза с Деникиным, хотя осважная пресса все время кричала, что немцы — союзники большевиков, что в советских войсках замечается присутствие немцев.

Газета «Полтавский День» порадовала публику даже письмом Гинденбурга к Деникину такого содержания:

«Двести лет тому назад величайший муж России император Петр Великий предостерегал своих потомков от войны с Германией, указывая на неизбежность гибели России в такой войне. Пятьдесят лет тому назад величайший государственный муж Германии Бисмарк предостерегал императора Вильгельма от войны с Россией, считая таковую равносильной гибели Германии. В настоящее время оба пророчества сбылись: обе великие державы побеждены и унижены. Помимо географического положения, многочисленные общие интересы связывают обе великие державы, которые в силу этого должны неуклонно итти рука об руку в деле восстановления былого своего могущества».[2]

По словам «Полтавского Дня», это послание Гинденбурга заканчивалось изъявлением восторга по адресу высокого патриотизма ген. Деникина. Последний, однако, оставил письмо без ответа.

Ставка главнокомандующего объявила, что это письмо — выдумка и что редактор газеты привлекается к ответственности за сообщение такого, явно вымышленного, факта.[3]

---

[1] «Донские Ведомости», № 228, от 8 октября 1919 г.
[2] «Полтавский День», 1919 г., № 72 (1609).
[3] «Донские Ведомости», № 244, от 26 октября 1919 г.

От множества заморских друзей государство Деникина ничуть не разбогатело. Напротив, как правильно заметил Бригс, разруха дошла до последней черты. Неисчерпаемые ресурсы богатого юга, при неумелом управлении, казнокрадстве, раздорах государственных образований, не пошли впрок «спасателям отечества».

Транспорт находился на краю гибели. Правильное пассажирское движение отходило в область преданий. Переезд от Ростова до Екатеринодара являлся подвигом. О переполнении вагонов в то время можно судить по следующему факту, сообщенному «Вольной Кубанью».

Сессия Ставропольского окружного суда, в составе членов суда Семенова, Кротова и Скрипчинского, при товарище прокурора Антоновском, отправлялась в село Воронцовку Александрийского уезда. За недостатком места в вагонах все они поместились на крышах. На станции Невинномысской жандарм начал сгонять публику плетью с крыш. Судейские отказались спускаться, требуя себе места в вагонах. Жандарм довел об этом до сведения коменданта. Поезд тронулся, но на второй версте его остановили. Явился комендант с двумя жандармами, арестовал всю сессию и, не дав возможности даже захватить дела, погнал пешком на станцию. [1]

О взяточничестве на железных дорогах кричали во всю глотку.

«Вагоны в первую очередь получают частные отправители, но отнюдь не государственные учреждения. Стоит только дать на смазку колес 1200 — 1500 рублей. Ясно, что подобные повагонные куши только и могут платить спекулянты, категория, которой безразлична себестоимость. В результате — и города, и железные дороги без угля».

Так писало харьковское «Вечернее Время» в сентябре. [2]

В октябре Врангель, в виде прелюдии к екатеринодарской расправе, приказал повесить заместителя начальника станции Царицын, весовщика и составителя поездов за то, что они, пользуясь своим служебным положением, за взятки отправляли с воинскими эшелонами частные грузы, задерживая раненых и предметы снаряжения. [3]

9 ноября ген. Май-Маевский телеграфировал Деникину о том, что подаваемый на железные дороги уголь представляет собою настоящий мусор, что из-за этого возможны катастрофы, что общий голос считает причинами такого

---

[1] «Вольная Кубань», 1919 г., № 164. Перепечатка из ставропольской газеты «Родная Речь».

[2] № 63 от 13 сентября 1919 г.

[3] «Донские Ведомости», № 244, от 26 октября 1919 года.

качества угля колоссальнейшие злоупотребления при приемке, так как пробы угля обыкновенно бывают хорошие.

— Вешайте беспощадно! — лаконически ответил Деникин.[1]

Май-Маевский арестовал начальника Южных дорог, но, конечно, не повесил. Тем все и кончилось.

— Дров нет! угля нет! — отовсюду доносились вопли с приближением зимы.

Угольные копи находились под боком Ростова и Новочеркасска,[2] но мы, грешные, люди больших и малых чинов, служащие всевеликого войска Донского, жили в нетопленных квартирах.

Круг занялся обсуждением вопроса об угольном кризисе, проболтал несколько дней и никакого решения не вынес. Да если бы и вынес, то в жизнь оно не прошло бы при той вакханалии взяточничества и своеволия, которая царила во всех сферах.[3]

В тыловых городах стало жить даже хуже, чем в прифронтовой полосе. Там жили грабежом, введенным в систему. В тылу открытый грабеж все же считался признаком дурного тона.

«Нам хорошо известно, в каком ужасном положении находится человек, борющийся с голодной смертью, — писали в своей петиции Деникину железнодорожники. — Может ли он честно и усердно выполнять порученное ему дело и можно ли требовать от него продуктивной работы? Жалованье наше увеличено в среднем в десять раз против окладов мирного времени, тогда как грузовые тарифы в тридцать пять, а пассажирские в пятнадцать. Для нас нет другого выхода, как распродажа своего последнего скарба, а дальше, быть-может, голодная смерть для одних, или путь, известный уже для многих, путь преступления для других.[4]

О том, чтобы завести себе новые брюки, честные служащие не смели и думать. Мне удалось в ноябре сшить новые сапоги только при протекции помощника ростовского генерал-губернатора А. Я. Беляева, который замолвил слово в одном учреждении, работавшем на армию (Докат). Некоторые из моих сослуживцев ходили в рваных башмаках и заплатанных брюках.

Мне дважды пришлось участвовать в комиссии по выработке окладов содержания чинам Донской армии.

---

[1] «Приазовский Край», 1919 г., № 256.
[2] Александровско-Грушевский район (станция Шахтная).
[3] «Донские Ведомости», № 244, от 26 октября 1919 г.
[4] «Донская Речь», 1919 г., № 23.

Комиссия начинала работать при одних рыночных ценах, кончала при других, так что новые ставки еще до утверждения их оказывались столь мизерными, что опять приходилось их пересматривать. Круг в конце концов начал обсуждать вопрос об удовлетворении служащих натурой, как это делалось у большевиков. Для получения же государством из станиц предметов питания возникла мысль об устройстве в г. Ростове обменного двора. Деньги утрачивали смысл. Белый стан, под влиянием экономической разрухи, переходил к коммунистическим порядкам!

Из-за недостатка продуктов юг России обратился в Обломовку: забота о пище стала главной заботой, с тою лишь разницей, что обломовцы думали, как бы повкуснее поесть, на юге России — что бы поесть.

«Деревенская интеллигенция еле-еле существует, перебиваясь с хлеба на квас. Раньше газеты читали, кружки самообразования устраивали, библиотеки заводили, книги выписывали, а теперь только о хлебе и думаем», — сообщали «Донской Речи» провинциальные корреспонденты. [1]

Мелкое политиканство, ругань по адресу Доброволии после екатеринодарского «действа» несколько заглохли. Зато об общественных язвах, порожденных отчасти и дурным управлением, начали раздаваться довольно смелые голоса. Наступление Буденного еще только обозначалось, еще шнурок, отмечавший на карте наш фронт, проходил далеко к северу от Ростова, но внутреннюю разруху уже расценивали как предвестник провала всего белого предприятия.

«После майско-июльских побед, — писал в ноябре полк. С. Бородин в «Донских Ведомостях», — когда разбитые красные армии спешно отступали на север, когда армии ген. Деникина захватывали огромные средства войны, казалось, что войне в 1919 году наступает конец. Но оказалось, что до конца еще далеко, и трудно сказать, когда война кончится. Конечно, причина в том, что красные к августу успели оправиться и приступили к активным действиям; но в значительной степени в затяжке войны виноваты и белые. И вот о виновности белых нужно не молчать, ссылаясь на необходимость секретов, а громко говорить. Секреты, которые приносят вред, нужно отбросить. Есть язвы белого тела, которых нужно не укрывать рубищами, а лечить действительными средствами. Первая язва — это грабежи. Вторая — спекуляция. Третья — узкоклассовая пропаганда и агитация. Четвертая — утрата чувства общего в пользу личного, уклонение от долга по

[1] «Донская Речь», 1919 г., № 10.

корысти и трусости. Пятая—общий упадок производительной энергии, леность, страсть к наслаждениям. Когда русские крестьяне испытали на себе применение коммунистических принципов, они с неописуемым восторгом (?) ждали прибытия добровольцев и казаков. И вдруг, к стыду нашему и своему ужасу, они увидели, что белые воины, как и красные, днем и ночью, с оружием и без оружия, берут бесплатно крестьянское добро. — «А ведь мы вас ожидали, как спасителей от большевиков!» И крестьяне на вопрос, кто лучше, отвечают кратко и выразительно: «Уси гарны». [1]

Первый существенный удар по лицу великая и неделимая получила на Украине.

Самое движение туда составляло большую ошибку. Заняв этот край, Доброволия не только не распутала клубка тамошних сложных взаимоотношений между политическими группировками, а внесла еще большую путаницу и смуту в украинскую жизнь. «Землеробы», те самые зубры, которые возвели, с помощью немецких штыков, на престол светлейшего гетмана, приветствовали и добровольцев. Мелкая буржуазия, часть городской и большинство деревенской интеллигенции склонялись к Петлюре. Рабочие—за Советскую власть. Крестьяне по преимуществу соблюдали нейтралитет. Анархические и бандитские элементы города и деревни признавали только батько Махно.

Доброволия, с ее реакционной политикой и презрением к национальным особенностям, возбудила общую ненависть. Май-Маевский, например, издал приказ, воспрещавший преподавание на родном языке в государственных и общественных школах. [2]

Махно не замедлил выступить.

Бандит чистейшей воды, он старался придать своим грабежам и погромам характер идейной борьбы, то против «панов», то против «жидов», то против коммунистов, то против добровольцев, смотря по обстоятельствам.

Голытьба обожала смелого атамана. Крестьяне давали ему пристанище, зная, что батько расточителен и щедр, но и беспощадно мстителен.

Его шайка, разгромив городок или напав на обоз, стремительно уезжала с награбленным добром на «тачанках» и в первой же деревне исчезала бесследно, рассеивалась среди населения, как дым в воздухе. Никакой преследователь не мог распознать среди крестьян, кто из них махновец, только что примчавшийся с грабежа, кто мирный деревенский труженик.

---

[1] «Донские Ведомости», № 259, от 13 ноября 1919 г.

[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 179.

Про неуловимость Махно, про его смелые выходки в белом стане сложились легенды. Говорили, что иногда он переодевался в крестьянское платье и приезжал в большие города, занятые добровольцами, под видом торговца овощами. А потом, будто бы, на городских заборах появлялись афишки:

«Кто вчера на базаре кавуны покупал, тот и батьку Махно видал».

Рассказывали, по всей видимости—врали, что он отпечатал даже свои бумажные деньги с надписью:

Гоп, кума, не журыся,
У Махно гроши завелыся.

Черносотенцы с затаенным сладострастием сообщали в своих газетах, что на Украине чуть ли не везде красуются объявления Махно:

«Даю пять пудов пшеницы за жида».

В период занятия Украины Добровольческой армией Махно выкинул лозунг:

— Смерть деникинцам!

Этот клич сделал Нестора Махно чуть ли не национальным героем Украины. Добровольцев единодушно ненавидели все малороссы, кроме помещиков. Даже крестьяне на этот раз вышли из «нейтралитета». Признание права на землю за помещиками и «третий сноп» в их пользу, вместе с грубым, надменным поведением золотопогонников, озлобили деревню. Нестору Махно и его шайкам открывалось удобное поле для работы.

И он ударил.

Кровью будут пахнуть те страницы будущих исторических изысканий, которые коснутся ужасных украинских событий в октябре и ноябре 1919 года.

Махно врезался в середину белого тыла и огнем и мечом прошел по городам и крупным селениям Екатеринославщины, разорвав связь между Ростовом и Киевом. Таких ужасов в тех местах, наверно, не происходило со времен печенегов и Батыя. Волосы вставали дыбом, когда мы наконец прочли подробности о «боевых действиях» Махно в Екатеринославе, Новомосковске и других городах того района. Офицеры, интеллигенция, евреи, все зажиточные люди гибли под ножами и прикладами убийц. Кого топили в Днепре, кого сжигали живьем.

Махно подымал подонки общества, всех падших, потерявших человеческий облик разбойников и громил. Он будил самые низменные страсти в неустойчивой морально бедноте.

До поры, до времени его городские сторонники скрывались в своих ужасных притонах. Как только незримые

наблюдатели сообщали им о том, что вдали курится пыль батькиных «тачанок», притоны превращались в махновские штабы, а громилы — в авангард армии батьки.

— Я боюсь этого города (Екатеринослава), — говорил один екатеринославский беженец. — Куда хотите, только не туда. Там стены домов так же лживы и опасны, как и люди. В этом городе — самая скверная, самая отвратительная накипь тылового котла разлилась по аллеям его широких улиц, по кривым переулкам, сбегающим к мирным берегам Днепра, по его грязным толкучкам-базарам. Дикий город был оплотом Махно. [1]

Для борьбы с подвижной, неуловимой, отчаянной армией батьки оказалось недостаточно корпуса ген. Слащева. Требовалась кавалерия. Пришлось снять с воронежского направления части ген. Шкуро и двинуть их в Екатеринославщину. Это в тот-то момент, когда 1-я Конная насела всей своей тяжестью на центр белого фронта!

«К Рождеству в Москву! — вот лозунг, который теперь должен быть двигателем всякого дела и начинания», — писало курское «Вечернее Время» 19 октября. [2]

«Граждане! бросьте чемоданы, берите винтовки!» — кричал его харьковский двойник через месяц. [3]

Командующий Добровольческой армией ген. Май-Маевский в самом начале восстания Махно издал приказ о сформировании дружин для «защиты своих очагов» [4]). В эти части призывались: 1) офицеры, чиновники и вольноопределяющиеся, не служившие в войсках, но могущие держать оружие; 2) все служащие правительственных учреждений; 3) все учащиеся старше 17-летнего возраста и 4) все имеющие недвижимую собственность.

Остальные считались опасным элементом, в том числе и рабочие. Их, конечно, не могли заподозреть в сочувствии Махно, но боялись, что они восстанут в пользу большевиков.

После этого приказа в городе началась паника.

— Впавшей в панику харьковской буржуазии предлагаю попросту удирать, — взывал ген. Шкуро. — Более крепкие нервами должны брать винтовки и итти на фронт, а не спекулировать за спиной. Добровольческая армия мерзнет, не имеет полушубков, а в тылу царит безудержная спекуляция. Кончим борьбу с большевиками, примемся за спекулянтов. [5]

---

[1] «Донская Речь», 1919 г., № 14. Статья Н. Литвина «Дикий город».
[2] № 16.
[3] № 121 от 23 ноября 1919 г.
[4] «Донские Ведомости», № 246, от 29 октября 1919 г.
[5] «Великая Россия», № 347, от 15 ноября.

Осважники, чтобы поднять упавшее настроение, пустили утку о взятии Петрограда Юденичем, в действительности тогда уже окончательно разгромленным. Ссылались на английское радио.

Радостная весть облетела весь белый стан.

Газеты ликовали:

— Теперь смыкается антибольшевистское кольцо!

Скоро выяснился обман, и настроение упало еще ниже. «Донская Речь» посвятила этому переходу от радости к разочарованию лирическую статью под названием «В туманах севера»:

«Пал Петербург. Ожила чудесная северная сказка, желанная русская мечта. Но снова закружились северные метели, густой туман окутал адмиралтейскую иглу. Английское радио оказалось только легендой, призрачной, но близкой, и взволновавшей до глубины измученную русскую душу. Попрежнему в северном красном тумане тонет северная столица. Неясны, странно сумбурны и разноречивы вести с севера. Завесой неведомого скрыт от нас далекий, холодный Петербург. Но где-то недалеко от него, то отдаляясь, то приближаясь, гордо вьется трехцветный флаг, лучшая мечта многострадального города. И ждем мы страстно, ждем того дня, когда определенно и уверенно сухой треск телеграфа принесет желанную весть, когда томительная мечта станет явью».[1]

Петроград не пал. Пал Харьков.

Оставление этого большого города, центра Слободской Украины, произвело гнетущее впечатление. Летние успехи шли на смарку. Неприятель, прорвав центр белого фронта, окончательно разрывал его на две половины, западную и восточную, и, видимо, собирался бить по частям.

— Май-Маевский пропил Харьков, — не шептали, а орали везде.

Харьковские беженцы привозили с собой в тыл очень мало имущества, но зато целые короба рассказов о порядках, которые ввела Доброволия на Украине, и о поведении самого главы края. Его деятельность порицали даже самые верноподданные.

Деникин поспешил сменить командарма. В приказе он писал, что Май-Маевский сам просил вручить Добровольческую армию лицу, имеющему больше опыта в командовании конными массами, которые предполагалось бросить против Буденного.

Такое лицо Деникин усмотрел в бароне Врангеле. Последний 26 ноября прибыл в г. Змиев, Харьковской губ.,

[1] «Донская Речь», № 15, от 15 ноября 1919 г.

куда бежал штаб, и отдал свой приказ о вступлении в должность. Призывы господа бога, вера в счастье России и прочие атрибуты всякой тогдашней литературы пересыпали и это баронское произведение. Приказ заканчивался угрозой:

«К творимому нами святому делу я не допущу грязных рук. Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы. Погромы, грабежи, насилие, произвол и пьянство безжалостно будут караться мною».

На Украину Врангель прибыл уже к шапочному разбору. Провидение, в которое он иногда верил, готовило ему поле деятельности не здесь, а в Крыму.

Добровольческая армия, распухшая за лето, расползалась. В коренных полках—Корниловском, Марковском, Дроздовском и Алексеевском, превратившихся было в дивизии, —теперь наблюдалась невероятная утечка. Мобилизованные крестьяне и пленные красноармейцы толпами удирали из войсковых частей. О новых пополнениях из тыла не приходилось мечтать, хотя сыпались приказы, один другого грознее, о спешном возвращении в свои части многочисленных отпускников и командированных. Прибегали даже к объявлениям.

«Командир 2-го конного офицерского Дроздовского полка гвардии полковник Шапрон-дю-Ларра предлагает офицерам, находящимся в тылу, прибыть в полк», —объявлялось на первой странице ростовского «Вечернего Времени» 4 декабря.[1]

Одни, прочитав приказы и объявления, сознательно «ловчили». Другие не знали, где их части. Спешное наступление Буденного в конце ноября и начале декабря раскидало белые полки.

«В последние дни, —констатировал нововременец Ксюнин в «Великой России», —изданы приказы главнокомандующего о борьбе со спекуляцией и о призыве в армию тыловых офицеров, но приказы эти не претворились в жизнь».[2]

В Донской армии, также начавшей поспешно отступать, дело обстояло нелучше. Зимой казаки вообще не любили воевать. Мамонтовский корпус все еще пополнялся лошадьми и стоял в тылу. Многие казаки увезли в станицы свою добычу и засели там, не желая возвращаться в полки.

Донские власти, для более удобного вылавливания из тыла фронтовиков, приказали всем тыловикам нашить белые углы на рукава. Кто ходил без этой нашивки, того

[1] № 427.
[2] № 347 от 15 ноября 1919 г.

считали фронтовиком и задерживали на улице для проверки по его документам, законно ли он находится в тылу.[1]

«Фронтовики все должны быть на фронте!» — гласил приказ всевеликому войску Донскому № 1911.

В Новочеркасске применили своеобразную меру для ловли дезертиров. 22, 23 и 24 ноября всем жителям было предписано сидеть по домам, при чем предлагалось запастись съестными припасами на эти дни.[2] Торговцы сейчас же повысили цены на 50%. Чины комендатуры и стражи, вместе с квартальными старостами, обходили дома и проверяли по списку жильцов, стараясь установить, нет ли приезжих с фронта.

Практических результатов эта мера не дала. Зато вызвала много смеху.

«Живой силы достаточно. Необходимо только умело ее использовать. Десятки тысяч беженцев слоняются без дела, без пристанища, увеличивают дороговизну и сеют панику. Другие десятки тысяч белоугольников, отработав свои 5 или 6 часов, предаются сладостному ничегонеделанию или с ужасом прислушиваются к рассказам беженцев. И, наконец, десятки, а может-быть, и сотни тысяч ловят рыбу в мутной воде, спекулируют на чем попало, наживают миллионы и пропивают их, придерживаясь принципа: хоть день, да мой».

Так писало ростовское «Вечернее Время».[3]

Настал последний месяц второго года гражданской войны.

Стольный город Дона окутывала гнилая мгла, — точь-в-точь как год тому назад при приезде «союзников». Так же звуки соборного колокола с трудом пробивались через тяжелый воздух. Но не радость, как тогда, возвещали они теперь, а скорбь: всевеликое войско Донское хоронило «ректора партизанского университета» ген. Семилетова.

Едва окончилось в соборе одно торжество, как началось другое, какого Новочеркасск еще не видал за сто лет своего существования: посвящение какого-то инока в епископы.

С наступлением красных большинство высших духовных пастырей, помня слова царя Давида «уклонися от зла и сотвори благо», отступали вместе с христолюбивым воинством, вернее — впереди его. Нечестивая паства оставалась сиротствовать. Новочеркасск переполнился архиереями. На хиротонию собралось в войсковой собор до четырнадцати князей церкви.

---

[1] Приказ новочеркасскому гарнизону от 26 ноября, № 200.
[2] Приказ новочеркасскому гарнизону от 20 ноября, № 197.
[3] № 407.

Кому был нужен новый архиерей, когда десятки старых скитались в поисках работы, этого никто объяснить не мог.

Суеверные люди, видя нашествие на Новочеркасск черных клобуков и фиолетовых мантий, теперь уже окончательно прониклись уверенностью, что крах неизбежен.

Смиренный Антоний, митрополит киевский и галицкий, покинув Украину, теперь читал лекции в Ростове вместе с Пуришкевичем и доказывал, что Христос был контр-революционером. А в своем воззвании к верным чадам святой православной церкви он оповещал, что всякий, добровольно переходящий к большевикам, враг божий, переходящий из стада христова в царство сатанинское.[1]

Но духовенство все-таки в эпоху Деникина не играло той роли, какую оно приобрело в 1920 году в Крыму, под знаменами Врангеля. Даже у либерального Колчака отцы духовные, кажется, были в большем ходу, чем на юге России.[2] Во Владивостоке, например, издавался поповский журнал «Голос Сердца» и газета «Луч Истины», в Челябинске — «Знамя Веры» — народно-религиозный орган христианской мысли. В царстве Деникина о таких органах я не слыхал. Их заменяла просто погромная пресса.

Пуришкевич после разгрома Рады окреп духом. Он теперь безбоязненно ругал «жидо-кадетов», губящих Россию.

Когда положение стало безнадежным, Володя напрямик махнул в Новороссийск, поближе к пароходам. Беспощадная смерть подкралась к нему в этом городе и прекратила его дальнейшие подвиги.

Пресса старалась поднять настроение.

Кстати, о журналистике белого стана. Ей когда-нибудь будет посвящено специальное исследование. Главная ее особенность — изображение и оценка советской жизни.

В каком-нибудь номере газеты, где трубили об язвах белого стана — взяточничестве, шкурничестве, спекуляции и т. д., сообщали о тех же явлениях и у красных, но в такой форме, что у них это результат всей правительственной системы, а у нас — следствие недобросовестных поступков отдельных лиц. Какой-нибудь Сисой Бородин, возмущаясь грабежами белых, армию все-таки считал христолюбивой, богоносной и так далее, большевистскую же, страдавшую тем же пороком, — сборищем разбойников.

Начальнические приказы громили распущенность, кричали о всеобщем падении дисциплины. Журналисты же

---

[1] «Великая Россия», 1919 г., № 347.

[2] Впрочем донские демократы, члены Круга, при обсуждении бюджета духовного ведомства нашли, что «долг каждого честного законодателя — помочь духовенству, как государственной, созидающей силе». «Донские Ведомости», № 127, от 4 июня 1919 г.

славословили железные ряды борцов за право и порядок. Красная армия, гнавшая этих крестоносцев, изображалась как безобразная банда.

Белая пресса относилась к врагу несерьезно. Чаще всего под видом советской действительности публике преподносили собрание анекдотов, вымышленных за бутылкой вина досужими людьми.

— Стой, куда идешь? — остановил я раз в Ростове знакомого журналиста-петроградца.

— О — оставь... В редакцию. На, прочти и не отсвечивай.

Я взял клочок серой бумаги,[1] на которой красовалось: «Ст. Каменская. (От собственного корреспондента.) Беженец из Петрограда, ухитрившийся пробраться через большевистский фронт, сообщает, что в Петрограде, по распоряжению Зиновьева, мусульманская мечеть на Каменноостровском проспекте превращена в склад свинины».

— Что за чушь! Для свинины и раньше никогда особых складов не устраивали. В Питере же теперь и самой свинины днем с огнем не разыщешь.

Много ты, прокурор, понимаешь. Черкесы-то, кабардинцы, нешто не мусульмане? Разве не схватятся они за кинжалы, когда прочтут такую вещицу. Цель прессы знаешь? Агитация!

— «Московские газеты сообщают,—преподносил публике очередную чушь «Полтавский День» в сентябре, — что недавно футурист Гольдшмидт поставил себе памятник в Москве против Большого театра. Памятник был сделан в виде юноши в костюме Адама с женским бюстом. Но толпа разбила памятник, за что многие арестованы чекой; есть и расстрелянные».[2]

«В Москве, на Лобном месте, — повторяли «Донские Ведомости» в июне 1919 г. вымысел екатеринодарских газет, — поставлен деревянный памятник Стеньке Разину, построенный из железнодорожных шпал. Одна сторона памятника гладкая, другая закругленная, на которой вырезана голова Стеньки; по бокам две фигуры казаков, у ног Стеньки шпала, изображающая персидскую княжну, сидящую на диване, сделанном также из шпал»[3].

---

[1] Донские газеты в конце 1919 года выходили большей частью на оберточной бумаге. Продукцию ростовской фабрики Панченко и К° взял на учет Добровольческий Осваг, очень скупо отпускавший бумагу Дону. Однажды юморист Евгений Венский проехался в «Народной Газете» по адресу Освага, начав свой раешник фразой: «Ох уж эти осваги! Не дают они нам больше бумаги». Цензура сделала ему предупреждение и, кажется, не пропустила несколько его юморесок.

[2] «Вольная Кубань», 1919 г., № 198.

[3] «Донские Ведомости», № 132, от 9 июля 1919 г.

Если судить по белым газетам, то вся советская действительность — сплошной анекдот, нелепица или кошмар.

«В Красной армии вводится дисциплина», — с изумлением сообщали газеты в ноябре 1918 года.

Никто этому не хотел верить.

— Какая же может быть дисциплина у большевиков? Ведь их стихия — хаос и разрушение.

Однако эти разрушители одним взмахом смяли созидателей.

«Пустое! — утешали газеты. — Все эти успехи не более, как мыльный пузырь».

Скоро-скоро, знать, окончится война:
Надвигается последняя волна.
Было восемь, все разбилися,
Мелкой брызгой распылилися.
Страшный ворог ураганом завывал,
Обессилел, и послал девятый вал.[1]

«Положение на фронте не представляет ничего страшного, — разглагольствовал Сисой Бородин в «Донской Речи». — Квази-успех красных объясняется с одной стороны громадным численным превосходством красных, а с другой — тем, что главковерху путем подбора командиров частей удалось создать в наступающей армии некоторое моральное напряжение, заставляющее ее двигаться вперед с мужеством обреченных. Но этот искусственно привитый им подъем заметно падает. Красная пехота весьма слабого боевого качества. Интенсивно работает лишь красная конница. Не за горами момент, когда наши крепкие духом части погонят их назад с такою стремительностью, как гнали летом. Если только нам удастся разбить их конницу, то большевистская волна откатится на этот раз уже окончательно, и Совдепию спасать будет уже некому».[2]

Не только тыловой стратег Бородин, но и сам командующий Донской армией ген. Сидорин категорически заверял, что временные успехи Красной армии не более как через два месяца будут ликвидированы, а обстановка на фронте настолько изменится в нашу пользу, что мы вновь быстро погоним к северу красные банды.[3]

Все, кто мог, утешали.

«Успокойтесь! «Кривой Джимми» остается в Ростове и никуда не едет», — оповещал публику путем газетных объявлений шантан.[4]

---

[1] «Народная Газета», 1919 г.
[2] «Донская Речь», 1919 г., № 5.
[3] «Вечернее Время», г. Ростов, № 427, от 4 декабря 1919 г.
[4] Там же.

А «Великая Россия» в номере от 6 декабря (Николин день) чистосердечно заявляла:

«Сегодня остается только по примеру предков и отцов смиренно умолять:

«Святителю, отче Николае, моли бога о нас».[1]

XXIV.
ДРАП ВЕЛИКИЙ.

Ген. Богаевский, выборный донской атаман, иногда подписывал хлесткие и бодрящие приказы.

Необходимость требовала от него и теперь сказать что-либо по поводу грозных событий. Он не заставил себя долго ждать.

«Я буду предавать суду всех, кто сеет лживые слухи о положении на фронте, об угрозе безопасности населения и т. д. Распространяют эти слухи большевистские агитаторы, все те, кто верят не официальным сводкам, а разного рода «очевидцам», по большей части дезертирам и трусам, и, к стыду нашему, среди распространителей этих слухов бывают офицеры и генералы», — писал атаман в приказе от 12 декабря за № 2200.

Если будущий историк гражданской войны станет составлять характеристику этого белого вождя, основываясь на приказах за его подписью, то может допустить грубейшие ошибки.

Грозный и неустрашимый на бумаге, на деле он не так далеко уходил от тех, которых бичевал в своем произведении № 2200.

Будучи в начале декабря в Таганроге, на каком-то обеде, он сказал такую безутешную речь, что даже ставка Деникина всполошилась. Еще задолго до великого драпа он отправил свою супругу в Новороссийск. Рассказывали, что атаманшу и ее имущество отвозил специальный поезд, к которому было прицеплено два вагона с углем в качестве валюты.

Чтобы гарантировать Ростов и Новочеркасск от местных большевистских выступлений, атаман в начале декабря приказал сформировать дружины самообороны, на манер харьковских дружин «для защиты очагов», доказавших свою бесполезность и бессмысленность.

Все более или менее благонадежные элементы ежедневно сгонялись на площадь для нелепой маршировки на морозе. Винтовки, однако, поопасались выдать этим защитникам города.

[1] «Великая Россия», № 363, от 6 декабря.

Составили было план эвакуации. Для тыловых учреждений Дона, по соглашению с Кубанью, предназначалась громадная станица Кореневская, в 45 верстах от Екатеринодара.

Быстрое наступление неприятеля смешало все карты. Красная армия заняла каменноугольный район, окончательно отрезав Украину от казачьих областей. Деникин начал спешно эвакуировать добровольческие учреждения из Таганрога и Ростова. Стольный город остался за флангом.

Донские власти успели отправить только два поезда в Екатеринодар. В одном увезли сенат, созданный Красновым первоначально для Дона, но потом начавший функционировать в качестве высшей кассационной инстанции для всего юга. В другом уехали семьи высших должностных лиц Дона.

В Ростове образовалась пробка. Темные личности из числа железнодорожников не преминули воспользоваться моментом и обобрали даже сенаторов. Чтобы поскорее выбраться из опасной зоны, высшие блюстители правосудия вынуждены были сунуть кой-кому 100 000 рублей на смазку колес. Этим последним актом закончилось существование верховного южно-русского судилища, состоявшего из обломков царского правительствующего сената.[1]

Красная армия определенно шла на Новочеркасск.

Ген. Богаевский иногда объезжал верхом на лошади засыпанные снегом площади, где обучались ратному строю дружины самообороны. Но он нагонял еще большую грусть своим унылым видом. Тихий, безжизненный, воодушевлявшийся только за хорошо сервированным столом, здесь, среди чуждых ему народных масс, он чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, что сказать своим подданным. И всякий понимал, что этот тягостный объезд атаман совершает из приличия, для проформы.

Город между тем превращался в военный лагерь. Его загромоздили подводы войсковых частей и беженские.

Как на зло, стояли холода. Казаки и солдаты, вламываясь в опустевшие квартиры для постоя, усердно громили их. В учреждениях работа остановилась.

Начальник дружин самообороны ген.-лейт. П. Х. Попов, один из «приказчиков души Каледина», распорядился было выставить караул на окраинах города. Дружинники, узнав

---

[1] Случай не единичный. 5 января 1920 г., на заседании Верховного Круга, донской делегат полк. Назаров говорил: «Широкой волной лились беженцы на Кубань, от генералов до дам с собачками включительно. Эти беглецы не давали возможности вывезти ценные военные грузы. А власти на местах, вместо водворения порядка, сами давали взятки и удирали первыми».

об этом, окончательно разбежались и спрятались по домам, предпочитая защищать свои очаги от грабителей.

Донское правительство еще в середине декабря отдало приказ окружной страже мобилизовать решительно весь колесный транспорт, какой только имелся в станицах. Скоро пустые подводы начали прибывать в город.

Для нашего суда дали две подводы на двадцать восемь душ. Затем еще добавили две поломанных. Каждый из нас мог взять с собой только небольшой запас белья и одежды.

В Новочеркасске я жил у нашего председателя ген. Петрова. Его семья уехала поездом, с женами донских министров, в Екатеринодар. Нам приходилось бросать все свое имущество в пустой квартире, обрекая его на немедленное разграбление своими же казаками, еще до прихода неприятеля. Знакомые или уже выбрались кое-как, или собирались бежать, или боялись взять на свое попечение офицерское добро.

Я готов был плакать, расставаясь со своей библиотекой. Приходилось бросать оттиски своих небольших научных работ, отпечатанных еще до революции; журналы со своими статьями; рукописи, вполне подготовленные к печати; этнографические материалы, собранные перед войной, во время командирования меня Академией Наук на север, и еще не обработанные; альбомы со снимками, разные коллекции, письма некоторых видных ученых, — словом, все, что давало содержание моей духовной жизни. Мировая война помешала мне уйти с военной службы и отдаться научной деятельности. Гражданская — погубила те материалы, над которыми я всегда работал с гораздо большей любовью, чем над обвинительными актами.[1]

Но один ли я в это ужасное время терял частицу своей души?

Общее несчастие сглаживало тяжесть утраты.

21 декабря мы уложили свои крошечные тючки на телеги и ждали сигнала к выступлению.

Погода несколько изменилась. Таяло.

— Будет «оплаканное»[2] Рождество! — предполагали казаки.

На замусоренных и загаженных улицах зачернели лужи.

Днем я прошелся по Платовскому проспекту в направлении базара. Там уже всевеликое добывало зипуны. Толпа казаков, большею частью без погон, разносила деревянные ларьки и расхищала фрукты и сласти.

---

[1] По странности судьбы, только в Советской России автор получил возможность осуществить мечту своей жизни.

[2] Мокрое.

Напротив громили бакалейно-гастрономический магазин. Рамы уже были высажены. Пьяная орда хозяйничала внутри. Порой через окна летели на улицу то ящик с мылом, то шпагат, то еще какой-нибудь товар. Все это спешно подбирали мальчишки или оборванцы, о присутствии которых в чиновном Новочеркасске я и не предполагал.

Казаки, видимо, искали спиртного. Мыло и прочая дребедень их не интересовали.

— Партизаны, за мной! — вдруг раздался молодой, пьяный голос. На улице гарцует юный сотник, находившийся в состоянии, которое зовется «еле можахом». В правой руке у него обнаженная шашка, которой он размахивал, точно с кем-то сражался.

Часть пеших громил, толпившихся у дверей магазина, кинулась за сотником.

В городе еще существовала власть.

Начальник гарнизона ген. Яковлев, узнав о погромах, двинул на базар броневик с вооруженной командой. Хулиганов разогнали.

Приказ по гарнизону от 23 декабря за № 224 лаконически извещал:

«Сего числа повешен бывший сотник Ежов за вооруженный грабеж в г. Новочеркасске».

Город загромождался все более и более, превращаясь в цыганский табор. На улицах разводили костры. Во дворах учреждений жгли ненужные канцелярские бумаги. Наш военный суд оставил решительно все дела в шкафах, не имея возможности что-либо вывезти.

Распоряжения о выступлении все еще не приходило. Ночь на 22-е провели в полной походной готовности.

Настало утро, а за ним день, но только по названию. Тоскливая мгла висела над площадями, улицами, садами, и казалось, что без конца тянется утренний рассвет. Погода вполне соответствовала мрачному настроению уходящих.

После полудня обоз войскового штаба, к которому придали и наш, стал вытягиваться в колонну перед величественным новочеркасским собором. Гигантская фигура Ермака с недоумением рассматривала эти приготовления к великому исходу.

Рассвет, сумерки, — кто их разберет, — пропали. Окончательная тьма объяла город.

— Хотите раздобыть лошадь? — предложил мне один из наших следователей, есаул В. В. Калмыков, приехавший верхом на соборную площадь.

— Хорошо бы, но как?

— Во дворе войскового штаба стоит штук десять оседланных. Их приготовили для штабных, но канцелярские крысы предпочитают трястись в телегах.

Отправились, и через четверть часа я уже взгромоздился на невзрачного мерина, которого, как потом выяснилось, реквизировали в цирке.

Обоз медленно потащился по Ермаковскому проспекту.

Подвод не хватало. Многие двинулись по способу пешего хождения. Только женщины и старики забрались поверх вещей.

Ехали и шли тихо, без шуму и гаму, словно воры, чтобы не потревожить обывателей. Всевеликое войско Донское, в лице своего старейшего учреждения — войскового штаба, уходило из стольного города в задонские степи.

Момент был грустный и трогательный. Но за время двухдневного пребывания на улице, в походной обстановке, публика уже успела одеревенеть. Из наших лишь генерал Л — в, сидя на телеге, плакал. Плакал не от обиды за судьбы своего казачьего отечества, не от горечи за несбывшуюся белую мечту, а оттого, что забыл уложить в свою корзину «Протоколы сионских мудрецов».

Едва выбрались за город, как нас обвеяло ветром и посыпал в лицо пушистый снег.

Лошади еле плелись по неудобопроходимому пути. Бог знает, когда их выгнали со дворов и когда кормили досыта последний раз. Подводы то утопали в рытвинах, изъевших путь, то выскакивали на бугры. Беспрерывно происходили катастрофы. Через час пути обоз уже растянулся на много верст. Повозки одних учреждений втерлись в другие.

Наш скорбный путь на липком снежном вихре освещали зловещие сполохи, которые то и дело окровавливали небо над Новочеркасском. Это на Хутунке, в военном предместье города, взрывали цистерны с бензином.

К утру мы добрались только до Аксайской станицы, расположенной посредине дороги между Новочеркасском и Ростовом, на самом берегу Дона. Весною здесь ловят в изобилии «сулу», — так в Приазовье величают северного судака.

Станцию забили поезда—товарные, санитарные, агитационные и всякие другие, в том числе бронепоезд «Генерал Гусельщиков».

Плохо верилось, чтобы им удалось пробиться в Ростов.

В Аксайской обозы стали переправляться на другой берег. Оттепель порядком испортила зимнюю одежду Дона Ивановича. Чтобы волна повозок не проломила лед, установили очередь. Благодаря этому, произошла заминка в движении.

От переправы дорога идет к станице Ольгинской по дамбе, длиною в 7 верст. Этим же путем в феврале 1918 года ген. Корнилов уводил из Ростова в степи свою крошечную армию, разросшуюся потом в Доброволию.

К полудню нас обласкало солнышко. Стало веселее, несмотря на бессонную ночь. Повеселел и мой мерин, впрочем больше оттого, что дорога по дамбе была в полном порядке. Иногда он пускался рысью, и я имел возможность то отставать, то уезжать вперед от своего учреждения.

— Какой части?—спрашиваю довольно плотного, бородатого мужчину, в английской шинели, но в шляпе. Он ехал сам-друг с казаком-возницей в недурном тарантасе.

— Управляющий канцелярией епископа Гермогена, священник Андроник Федоров,—не без важности отрекомендовался он мне.

— А где владыка?

— Владыка впереди.

Вместе с всевеликим отступал и его духовный пастырь. Хотя донским архиепископом считался еще со времен царей престарелый Митрофаний, а Гермоген носил лишь титул епископа аксайского, но викарий, как владыка «своего донского корня», играл первую скрипку на Дону. Митрофаний не появлялся на официальных торжествах. Его бы и в самом деле «сковырнули», но он не проявлял никакой активности и не претендовал на почет.

За свое смирение он получил награду. Теперь, когда всевеликое должно было бежать, Митрофаний, почти не якшавшийся с донскими властями, преспокойно остался на месте. Он не прогадал. Советская власть его не тронула. «Сковырнула» его лишь через два года живая церковь.

По обе стороны высокой дамбы расстилается снежная равнина, на которой кое-где чернеют кусты. Весной ее заливает вода, и тогда между Новочеркасском и Ольгинской образуется море.

— Какой части?—снова спрашиваю, на этот раз строевого казака, который кормил своего коня хозяйским сеном во дворе домика путевого сторожа.

— Мамонтовской. Что это не Круг кружится?

— Войсковой штаб. Круг уехал с атаманом «самоопределяться» на Кубань.

Казак смачно выругался.

— Что ж «хузяева» на фронт не пожалуют? Там братва налила бы им сала за воротник.

— А ты сам чего не на фронте? Драпаешь?

— Так их душу так, я сам себе враг, что ли? Круг в тыл, войсковой штаб в тыл, так и я с ними. Была нужда воевать до победы!

При переправе в штабной обоз еще больше влилось посторонних повозок. Я обгоняю какую-то не то саперную, не то техническую часть,—судя по знакам на погонах. Тут пеших нет, что служит признаком фронтового учреждения. Офицеры довольно интеллигентного типа,—совершенная редкость в это время.

— Какие последние вести с фронта, что там происходит?— спросил я одного средних лет капитана в поддевке.— Неужели наши армии разгромлены окончательно?

— Разгромлены,—не разгромлены, а только дальше воевать нечего. Эта война какая-то бессмыслица.

Я осадил своего россинанта и вопросительно поглядел на крамольника.

— Да, да!—продолжал он нервно, словно вопрос касался его самолюбия.—Во имя чего и кого воевать? Чтобы Шкуро в 30 лет дослужился до чина фельдмаршала? Чтобы Деникин прославился, как Александр Македонский? Для блага спекулянтов? Казачьи политики кричат о защите древних казачьих вольностей, а кому они нужны, эти допотопные вольности? Казакам нужно лишь закрепить за собой свои земельные наделы. Так ведь они двадцать раз могли бы сами договориться с большевиками, не вмешайся в станичную потасовку разные Бычи и всякая прочая отрыжка керенщины. Этим нужна была казачья государственность, чтобы тешить свое самолюбие.

Я не стал отстаивать чуждых мне казачьих политиков, но заикнулся про ужасы советского режима, о которых везде трубили.

— Этих криков, подлинно, хоть отбавляй! А знают ли, хотят ли здесь знать Совдепию? Кто из здешних мудрецов занялся всерьез изучением советского законодательства? Анекдотики преподносят нам целый год господа журналисты, это мы сразу видим. Как знать, а вдруг у нас не только не лучше, а хуже, чем у них?

При той катастрофе, которая только-что постигла белый стан, протест против дальнейшего братоубийства был неизбежен, особенно среди тех, которые имели время и ум, чтобы думать. Но протест слабый, разрозненный, ничуть неопасный вождям.

Новочеркасск переселился в Ольгинскую.

Здесь мы стали считать раны, товарищей считать. Товарищи оказались все налицо, но две подводы пришлось бросить в пути, переложив вещи на две других. Это на первом же переходе!

В станице стоял дым коромыслом. Хорошая погода подняла настроение. Оставив за спиной Дон, хотя и замерзший, беглецы чувствовали себя в безопасности.

С дали не доносилось ни одного орудийного выстрела.

— Быть-может, красные разбиты? Неужели Деникин допустит сдачу Новочеркасска? Ведь это потрясет донское казачество.

Появились «пластинки».[1] Начали судить, рядить, думать, гадать.

— Потому, должно быть, эвакуировали из Новочеркасска, чтобы не мешать боевым операциям.

— Мамонтов, говорят, у Репной пленил чуть не половину армии Буденного.

Мамонтов, действительно, начал проявлять активность и имел кой-какой успех северо-западнее Новочеркасска, у Провальского завода. Частичный успех раздули в крупную победу.

Ген. Гусельщиков, командир 3-го донского корпуса, предполагал даже зажать в тиски красные части, наступавшие на Новочеркасск; в тылу у них, несколько восточнее этого города, застряла конная дивизия ген. Лобова. Гусельщиков ожидал, что она воспользуется случаем, ударит на красных и поставит их в положение между двух огней. Но генерал Лобов, человек нерешительный, тяжелодум, решил за лучшее отступать по инерции и не врезался в спину зарвавшегося врага. Его дивизия отошла еще восточнее, к Дону.

Участь стольного города была решена.

В Ольгинской, однако, в сочельник царило праздничное настроение.

Оно всегда поднимается, когда человек обогреется и поест.

— Чего унывать!—поясняли оптимисты.—Весной прошлого года была точь-в-точь такая же история. Тоже чуть не весь Новочеркасск бежал в Заплавы.[2] И что же? Отсиделись! Отсидимся и теперь за Доном. Рождество проведем здесь, а Новый Год во всяком случае отпразднуем дома.

Захваченные с собой снеди, приготовленные к Рождеству, еще не иссякли.

Кой у кого имелось и спиртное. Сочельник хотя и на походе, и в тесноте, но прошел не так уж плохо. Не бегство, а зимний пикник!

К вечеру стрелка боевого барометра показала «неустойчиво».

— В шесть часов утра выступление в Кагальницкую,—пронеслось из конца в конец долговязой станицы.

---

[1] Утка, слух, выдумка.

[2] Станица Заплавская, на левом берегу Дона, недалеко от Богаевской, находящейся напротив Новочеркасска, в десяти верстах от него.

— Вот тебе и рождественская заутреня!

Завтра двинемся в глубь степи. Путем Корнилова. Куда-то он нас приведет?

«Ночь под Рождество не дает нам прежней радости,— писал некий Треплев в экстренном выпуске «Приазовского Края», от 24 декабря.—Не праздничные подарки несет нам дед мороз; в его сказочной корзине нет игрушек. В ней новые лишения, новые скитания, горькие испытания. Словно наступили средневековые времена, когда при приближении врага население города в паническом страхе убегало, куда глаза глядят. Кто из нас готовится к наступающему празднику, кто из нас думает зажечь веселые огни на елке? У всех одна мысль: Бежать. Уйти. Не рано ли? Кто знает, быть-может, рождественский дед обрадует нас не сказочной радостью: неожиданно принесет нам праздничный подарок— победу».

Какой-то подголосок тянул в последнем, праздничном номере той же газеты:

«Звезды кровавые горят в эту рождественскую ночь. Пустыня задушила наши сады, оголила наши деревья, смяла цветы. Пустыня победила. В горячке, в бреду, но мы не смеем останавливаться, не смеем падать духом. Надо нести свой крест и итти, двигаться, будить в себе и в окружающих настойчивые зовы жизни. Слышишь ли, путник? Надо итти. Перевяжи свои раны, утри горький пот с своего чела, смахни налипшую пыль, и дальше, дальше».[1]

Дальше, в Кагальницкую!

Рождественский дед не принес желанного подарка. Победа улетела от белых знамен. Новочеркасск и Ростов агонизировали.

24 декабря генерал Богаевский издал приказ № 2404, обращая его к донским законодателям:

«Предлагаю членам Круга поступить в ряды Донской армии, обещаю за это опубликовать фамилии поступивших. Я уверен, что державные хозяева земли донской на деле покажут свою любовь к своему краю».

— Нема дурных!—молчаливо ответили законодатели.

Круг горел желанием сражаться, но только словопрениями и резолюциями.

Добороволия, армии которой большевики разгромили и выгнали во мгновение ока с Украины, потерпела страшное фиаско. Удельный вес ее падал. Ей приходилось прятаться за спины кубанцев, укрываться на территории Рады. Деникин понимал, что какая-нибудь надежда на успех возможна лишь в том случае, если кубанцы, напуганные при-

[1] «Приазовский Край», № 290, от 25 декабря 1919 г.

ближением большевиков к своей области, выйдут из состояния «нейтралитета» и возьмутся за оружие. В силу необходимости приходилось сбавить тон даже в разговоре с зачумленной Радою.

Зная, сколь ненавистно казачьим политикам особое совещание, Деникин 17 декабря упразднил его, но не отказался от мысли иметь свое собственное, «общерусское» правительство.

В свою очередь южно-русская конференция, уже вовсе не считаясь с Добpayволией, постановила устроить в Екатеринодаре съезд всех трех казачьих парламентов, чтобы решить вопрос об организации «обще-казачьей» власти.

Донские законодатели устремились вместе с атаманом на Кубань, а не на фронт.

Стольный город опустел. Его начали занимать войсковые части.

25 декабря начальник новочеркасского гарнизона ген.-лейт. Яковлев поздравил оставшихся жителей с праздником приказом № 227:

«Воспрещаю после 7 часов вечера кому бы то ни было выходить из города, под страхом наказания в пятьдесят розог».

Но он сам первый нарушил приказ, убежав ночью вместе со своим управлением.

В Ростове хозяйничал Кутепов, командир добровольческого корпуса, в который свели «цветные части». Врангель остался не у дел и уехал на Кубань.

Кутепов, этот двойник испанских конквистадоров, решил проявить свою «железную волю». Он объявил всеобщую трудовую повинность. Мужчинам, под страхом смертной казни, воспрещался выезд. Злосчастных обывателей выгоняли рыть окопы, которые потом совершенно не пригодились.

«Цветные войска» производили в городе мобилизацию для пополнения своих опустевших рядов.[1] Проходя по улицам, они хватали встречных мужчин и ставили в строй. Эти новые «добровольцы» утекали, куда глаза глядят, при первом же случае.

На ряду с мобилизацией шла усиленная реквизиция всяких ценностей, которой так давно и так страстно жаждали темные элементы Ростова. Раньше они ожидали сигнала от черносотенцев. Теперь решили проявить инициативу и начали погром. «Орлы», «дрозды», замешкавшиеся «волки» и всякие другие хищники помогали им, сколько могли.[2]

---

[1] Во исполнение приказа Кутепова от 22 декабря, № 414.

[2] Кутепов в приказе по добровольческому корпусу от 23 декабря писал: «До моего сведения дошло, что злонамеренные лица, зачастую в военной форме, производят, под видом обысков, грабежи и насилия над местным населением».

Начальник обороны ген. Канцеров распорядился ловить пьяных и вешать грабителей.

Нескольких, действительно, повесили на фонарных столбах и оставили висеть до прихода большевиков.

— Тут и там трусливо шушукаются, что добровольческих частей яко бы не существует, что армия бежит, что все потеряно. Преступная клевета!—возмущался Кутепов в беседе с журналистами.[1]

Деникин засел в Батайске, по ту сторону Дона, напротив Ростова. Официальное сообщение его штаба от того же числа говорило об искусном маневрировании армии и о планомерном отходе на позиции, прикрывающие ростовский и новочеркасский плацдармы. Правда, однако, резала глаза, и приходилось кстати объявить о том, что Добровольческая армия сведена в один корпус, Врангель же, совместно с лучшими казачьими генералами, формирует кубанские и терские части. И наконец пророчески указывалось на то, что на случай окончательной неустойки имеется резерв—Крым.

Одновременно с этим Деникин проехался по адресу врагов Доброволии:

«Когда армия победно доходила до Орла,—писал он в приказе от 24 декабря, № 2747,—русские граждане, едва оправившись от пережитых страданий, ушли с головой в свои личные дела, забыв армию. Теперь, в страдную пору армии, очень многие, все так же постыдно равнодушные к ее интересам, вместе с тем окружают ее атмосферой лжи, клеветы и зловещих слухов, одни преднамеренно, другие по малодушию. Делается это все для того, чтобы подорвать веру в идею борьбы и ее вождей, в единение с казачьими войсками, в силу добровольческих частей и в прочность старых союзов. Работа гнусная, но бесплодная, ибо то, что сейчас происходит на фронте, только тяжелый эпизод. Надо пережить его твердо и без колебаний. Впереди цельный и окончательный разгром большевизма, который, напрягая последние силы, поставил на карту свое существование. Ожидаю от армии полного напряжения сил, того самопожертвования, которое одухотворяло ее в самые тяжелые дни кубанских походов. Требую реальной помощи от всех граждан, кто в силах работать. Приказываю беспощадно карать сеющих смуту, а бесполезным, жалким, малодушным людям, по крайней мере, молчать, чтобы не мешать работе честных и сильных духом людей».

---

[1] Экстренный выпуск «Приазовского Края», 24 декабря 1919 г.

Этого приказа, пожалуй, никто и не читал среди начавшегося великого переселения народов.

Деникин зря тратил слова и бумагу. В это время дух обанкрутился, мужество капитулировало. Большинство думало только о том, как бы унести по-добру, по-здорову свои ноги.

Незваные гости покинули станицу Ольгинскую в Рождество, в такой час, когда добрые люди еще стояли у заутрени. Хозяева лишились случая попотчевать столичный люд своим станичным угощением.

За рождественскую ночь температура понизилась. Дед Мороз, для праздничка христова, сильно щипал щеки, уши, ноги и руки бездомных скитальцев, облегчая зато тяжесть лошадям. Тыловую братию бегство застигло врасплох. Теплую одежду имели немногие. Руки большинство прятало в рукавах. И почти все для согревания трусили рысцой, то сзади, то спереди подвод, по твердой снежной поверхности степи.

На телегах мерзли только женщины. У нас—всего одна, графиня Канкрина, жена следователя. Посинела, сжалась в клубок.

А муж ее, в летнем офицерском пальто, отплясывал мазурку по снегу.

Большинству женщин нашего круга мешала встать на свои ноги модная обувь. Не создан буржуазный дамский каблучок для похода.

Тащимся час, тащимся два по белоснежной скатерти. Куда ни взглянешь, влево ли, вправо ли, всюду вдали бороздят покров степи живые черные ленты. Они то тянутся параллельно нашей дороге, то косвенно к ее направлению. Это струились ручьи беглецов, перебежавших Дон у Богаевской, у Старочеркасской и в других пунктах.

Великий исход всевеликого войска Донского!

Вон на собственной телеге зябнет новочеркасский присяжный поверенный А. И. Карташов с супругой. Добрейший человек, мухи за свою жизнь не обидел. Слабый, болезненный. Был мобилизован, но прослужил всю гражданскую войну писарем в нашем суде.

Теперь он тоже выехал. Зачем? Кто гнал его из Новочеркасска? На этот вопрос он сам не мог дать путного ответа.

Пара дивных лошадей мчит легкие санки, обгоняя обозы.

Мужчина в черном полушубке, с барашковым воротником и в офицерской фуражке сам правит лошадьми. Рядом

с ним женская фигура. Из-под толстой, полосатой шали выглядывает миловидное личико.

Это Патушинский с «походной женой».

Бывший комендантский адъютант и карточный шулер. Два месяца промурыжили его на гауптвахте, подозревая в большевизме. За два дня до бегства, как говорили на походе, наш следователь полк. Р., родной брат сенаторши Э., освободил его за мзду и вернул конфискованные бриллианты. «Большевик», раздобыв каким-то темным путем лошадей и санки, улепетывал от большевиков. Авантюрист знал, где глубже взбаламученное море и где легче колпачить доверчивых людей. А следователь остался в Новочеркасске,—единственный чин нашего суда, скомпрометировавший себя нечестным отношением к службе.

Вон месят снег кадеты, еле-еле волоча за плечами кавалерийские винтовки. Не политики кадеты, члены особого совещания. Тех я с радостью хотел бы видеть в степи на морозе, а этих жалел.

— В наше суровое время люди зреют не по дням, а по часам. Вчера вы были еще учениками, а сегодня—воины. Атаман приказал поручить вам охрану войскового штаба на походе.

Так польстил неоперившимся птенцам начальник колонны полк. Ударников при выходе из Ольгинской.

Кадетский корпус менее всего готовился к походу. У многих юношей сапоги просили каши, шинели были подбиты ветром. Рукавиц ни у кого. Они только тем и спасались, что бежали, стиснув зубы и сжимая холодными красными ладонями уши.

В виде особой льготы им разрешалось подсаживаться для отдыха на любую телегу. Охрана!

Часа через четыре добрались до Хомутовской. Ее еще до нас переполнили цыганские таборы беглецов. Драп был великий, решительный и всеобщий.

Ни в одной хате не удалось найти угла, чтобы обогреться. Дальше! Дальше!

К вечеру мороз усилился. Опять публика обогревалась под свинцовым шатром зимнего неба, конвоируя свои повозки. Но «дрожамент» под конец прохватывал и тепло одетых. Кадеты, выбившись из сил на полдороге, забились в щели между тюками клади на телегах и согревали дыханием отмерзшие пальцы.

Мерз и я на своем «Игрушечке-Коньке». Так коллеги прозвали мою лошадь, которая на втором переходе вдруг вспомнила свою цирковую науку. Иногда она поднимала передние ноги и пыталась итти на задних, совершенно не заботясь об участи всадника. Чаще же всего она «умирала»,

то-есть быстро приседала и падала на какой-нибудь бок, точно мертвая, придавливая при этом мои ноги, если я не успевал их вытащить. Из-за ее любви к искусству я постоянно рисковал слететь с седла или изувечить свои оконечности при неудержимом хохоте публики, которой она показывала свои фокусы.

Квартирьеры отвели для суда в Кагальницкой дом священника. Но когда мы, полузамерзшие, притащились на ночлег, его перехватили другие по праву сильного. Мы и не подумали заикнуться о своем юридическом праве и потребовать эвакуации насильников, а вступили с ними в переговоры и выторговали для двадцати восьми человек половину поповской залы, чтобы разлечься вповалку на соломе.

Подводчики не имели ни малейшего желания спасать великую и неделимую в задонских степях. Некоторые из них убежали еще из Ольгинской; были среди них и такие ловкачи, которые увели своих лошадей. За последними вообще приходилось смотреть в оба, так как их крали, одно учреждение у другого. Как мы ни устали, но должны были караулить свой транспорт, разбив ночь на смены.

Наш рождественский обед, — он же завтрак и ужин, — составили только мясные щи. Но мы их хлебали с большим аппетитом, чем самые изысканные праздничные блюда.

«Елка в Совдепии и елка на Дону», — вспомнил я прошлогоднюю рождественскую карикатуру. Слева — бедная семья, в лохмотьях, грустно сидит вокруг пустого стола, украшенного только горшком с засохшим цветком. Справа — сытая трапеза, подле разукрашенной елки, в богатом доме.

По прихоти судьбы в нынешнем году многие «спасатели отечества» завидовали советской елке, даже в том виде, как изобразил ее белый карикатурист. Там хоть нищие, зато у себя дома. А мы и нищие, и притом бездомные бродяги. У нас даже не было засохшего цветка.

В Кагальницкой простояли двое суток.

«Вдовья станица» — зовут ее казаки. В каждой хате вдовы. За годы мировой и гражданской войны погибло около тысячи кагальницких казаков, мужчин в расцвете жизненных сил.

Пострадал и мертвый инвентарь станицы. Несколько кварталов выгорело до тла, кое-где — отдельные дома. Обгорела даже одна церковь.

И все-таки казачки относились к нам сносно. Только у епископа Гермогена вышел конфликт с хозяйкой, и она погнала его вон из хаты. Святительский сан не остановил расходившуюся бой-бабу.

*

На третий день праздника я ходил по станице с одним коллегой и разыскивал хлеб для своей судейской «братвы».

Дальновидные казачки крайне неохотно продавали его на «ермаки», а реальных ценностей у нас не было. Мы обошли несколько улиц, заходя почти в каждый дом.

— Нет... Не пекли.

— Пекли для праздника, а теперь весь вышел.

— Пекем только для себя.

Так отвечали, правда, очень вежливо, повсюду.

В сенях одной мазанки два коровая, плохо прикрытых салфеткою, не ускользнули от моего взора.

— Не продаем. Самим нечего будет есть.

— Продайте хоть полхлеба. У нас на обед нету.

Казачка,—добродушная баба средних лет,—поглядела на меня с жалостью. Потом взяла нож, отрезала ломоть и подала мне:

— Примите, бедненький.

Кровь прилила к моему лицу. Меня расценивали как попрошайку!

Силясь сохранить спокойствие, я ответил, однако, с нотками обиды:

— Я донской полковник и получаю жалованье. Я хочу купить хлеба, а не прошу милостыни. Все-ж таки вы видите, что перед вами не нищий. Продадите, скажу спасибо, а нет — пойду искать более добрых людей. Иногородние, может, лучше отнесутся.

Хозяйка несколько смутилась и убежала в хату. Ко мне вышел хозяин.

— Уж вы того, господин полковник... знаете бабий ум. Такая их звание и такая их порода, — извинился он и продал мне полкоровая втридорога.

Но я обрадовался, что добыл хлеба, и не скорбел об «ермаках».

28 декабря мы выступили в Гуляй-Борисовку.

— Большевистская слобода: там сплошь живут крестьяне. Держитесь настороже, иначе ночью перебьют всех, — предупреждали нас казаки в Кагальницкой.

Эти слова оказались ложью. Гуляй-борисовские крестьяне так тепло, так человеколюбиво встретили бездомных скитальцев, что даже епископ Гермоген рискнул отслужить всенародно молебен. С кагальницкими казаками у них существовали свои домашние счеты, чуждые политической окраски.

Дальше уже начиналась Вольная Кубань,—Ейский отдел.

Недалеко от границы повстречали толпу казаков, конных и вооруженных.

— Какое войско?

— Всевеселое Донское.
— На фронт?
— Как есть туда. Воевать до победы.
— Каким ветром на Кубань занесло?
— Верховым, советским. Дунул товарищ Буденный, так и летели к щирым кубанцам, задрав хвост морковкой.
— Летели бы и дальше, этак до конца свету, что ли. Чего воротились?
— Вам хотим оставить место на Ридной Кубани. Всем там не разместиться, тесновато.

Это были донские дезертиры. На границе двух казачьих областей стояли заградительные отряды, которые гнали всех строевых донцов назад.

— Треба воюваты, а воны, донци, бисови хлопци, втикають, — возмущенно говорили нам кубанские власти в первой же станице, Ново-Пашковской.

Но они, видя сучок в глазу брата, в своем не чувствовали бревна. Чрезмерное обилие мужчин в кубанских семьях наводило на грустные мысли.

— Да тут все они дезертиры, — объясняли нам беженцы, прибывшие сюда днем раньше. — В каждой хате по паре, а то и по три. До зимы, сказывают, отсиживались в степи. Как дождутся весны, опять думают драпать на этот же фронт. Зеленая армия!

Действительно, каждая кубанская станица представляла из себя настоящее дезертирское царство. Станичные власти знали, видели и ничего не могли поделать с «братами» и детьми, порой же сами укрывали их от отправки на фронт.

Нетрудно было заметить, что в станицах царила скорее анархия, чем осуществлялась власть демократии. Кубанская «цитадель народоправства» ограничивалась только пределами екатеринодарского зимнего театра.

В Ново-Пашковке нас застиг Новый Год, от которого теперь мы уже не ждали ничего хорошего. Оптимисты теперь все перевелись.

— Тут что за заведение? — спросил я донцов, сгруппировавшихся возле плохенькой хатки, с бутылками, кувшинами и даже ведрами в руках.

— Станичный писарь тут живет. Большое начальство.

— Он разрешения на покупку вина раздает, что ли? Разве в этой станице есть винный склад?

— У його самого хвабрика... Дюже хороший первак... На всю станицу гремит егова изделие. Братва еще вчера разведала.

После Нового Года двинулись дальше, в станицу Екатерининскую.

Погода на Кубани стояла совсем не святочная. Ежедневно моросил дождь, растворяя чернозем и превращая его в густой кисель.

Лошади изнемогали, то и дело застревая в грязи. Наши два подводчика давно уже исчезли, слава богу, не захватив свою «худобу». Один бежал из Хомутовской, другой заболел тифом в Гуляй-Борисовке. Судейцы, по преимуществу молодежь, не привыкшая к барству, быстро освоились с лошадьми, а при переездах, в случае надобности, дружно принималась вытаскивать повозки из грязи. Работал, на других глядя, и сиятельный граф Канкрин, позабыв на время и свой титул, и свое высокое происхождение от знаменитого министра Николая I.

В других учреждениях грязную работу выполняли денщики, писаря и другая челядь. Суд сам обслуживал себя.

При передвижении почти все наши юристы брели пешком по громадным лужам, образовавшимся на дороге. Местами вода доходила до колен. Иные выбирались на пахоту, — по-здешнему «стерну»; но тут не хватало силы тащиться долгое время, так как вокруг сапог моментально нарастали тяжеловесные комья липкой грязи.

Я, путешествуя верхом, мог бы считать себя счастливцем, если бы не цирковое образование моего «Игрушечки-Конька». Чуть только я останавливал его, как он спешил «умереть», подминая меня под себя и вываливая в грязи.

Рассердившись на эти выходки, я отдал его, верст за пять до Екатерининской, офицеру-квартирьеру, который поскакал вперед выбирать нам пристанище. Но без лошади оказалось куда хуже. Много горя хватил я при переезде через реку Ею, перед самой станицей. Здесь дорога шла до моста по гати. Фашинник в одном месте прогнил; пустоту заполнила грязь и образовала колодец. Я, оступившись, провалился в него до плеч. С великими усилиями меня извлекли из грязевой ванны писаря войскового штаба, ехавшие на телеге.

Эта гать осталась памятной не только мне. Одна чья-то повозка сползла в Ею, другая застряла в том же колодце, где выкупался я, так что ее пришлось бросить. Засело и погибло несколько лошадей. Граф Канкрин оставил в грязи свои сапоги и полверсты шлепал в одних чулках, пока его не подобрала наша подвода. Несмотря на такую напасть, его сиятельство не схватил даже насморка. Удивительно здоровы бывают люди, когда спасают свою шкуру!

Если поход Корнилова по этому же пути назвали Ледяным, то нашему не могло быть дано другого названия как Грязевой.

В Екатерининской провели Крещенье.

Еще накануне праздника, с полудня, в станице началась невообразимая пальба. Многие из беженцев всполошились.

— Это святят воду, чтобы завтра Христа крестить, — успокоили туземцы. — Тут такой обычай, чтобы каждый казак выпалил пять раз по этому случаю.

Стрельба не умолкала и в день праздника.

— Сколько тратится даром патронов! Шла бы лучше Вольная Кубань палить на фронт, — назидательно говорила донская «козя».

Каждый кубанец выстрелил, наверно, не пять, а пятьдесят пять раз в Крещенье. Иные до того разохотились или так обильно запаслись патронами, что не унялись 7-го числа и палили уже ради озорства.

В этот день, под сухой ружейный треск, покинули мы Екатерининскую и перебрались в Павловскую.

Здесь вздохнули облегченной грудью, выбравшись на железную дорогу. Станица — подле самой станции Сосыка, между Ростовом и Тихорецкой, в 45 верстах от последней.

Во время блуждания по степным захолустьям мало какие вести доходили до нашего слуха. Знали только одно: дело дрянь, раз драпаем и драпаем без конца.

Теперь насладились самыми достоверными известиями, почерпнув их частью из газет, частью из штаба Донской армии. На станции стояли поезда ген. Сидорина и оперативной части; в станице разместилось «дежурство» [1] и управление начальника снабжений.

В Новочеркасске и Ростове, узнали мы, хозяйничают красные.

Но они не могут перейти Дон, снова освободившийся ото льда на святках.

— Живая сила сохранена, и не все еще пропало! — утешали газеты.

— Все зависит теперь от того, пойдут ли воевать кубанцы, — говорило начальство.

Мы, побывавшие в кубанских станицах, убедились, что кубанцы не пойдут.

В Павловской, забитой донскими и добровольческими учреждениями, мы долго мучились, прежде чем нашли койкакое пристанище. Мне две ночи пришлось провести в одной хате с корниловским знаменным взводом. Душ двадцать мальчишек охраняли полковую «святыню», решительно никому не нужную. Они очень тосковали в тылу.

— Прожились тут почем зря. Можно прямо сказать: профиршпилились. Самогону хорошего здесь, знаете, нету, больше налегаем на спирт. А этот только у фельдшеров

[1] Административная часть штаба армии.

и сестер милосердия добываем на обмен. Загнали все золото.

— Как же теперь будете?

— Если на фронт, то две-три удачных атаки, и поправим дело.

— На кого в атаку? Если на неприятеля, то скорее на тот свет отправитесь, чем разбогатеете.

— Атакуют не всегда противника. За что мы кровь проливаем? За буржуев! Добром они ничего на армию не дают. Почему бы изредка их не поатаковать?

Наши газеты писали, что сущность социализма заключается в ограблении имущих неимущими. Если это так, то корниловские солдаты, судя по их же речам, были настоящие большевики.

— Чорт возьми, — возмущался один из юнцов, — что здесь за народ проклятый! Я в три дома заходил, продавал веревку, — хоть бы один подлец купил на счастье. Федералисты сволочи, Бычи! Развратила их Рада.

— Что у вас за веревка?

— Бесценная: веревка от повешенного. Жида раз под Курском вешали, задорный такой. Ему петлю надевали, а он же крыл нашего брата. Угробили. Веревочку-то я припрятал потом. От самого Курска вожу с собой. Не здесь, так в другом месте загоню за дюжину «колокольчиков».

Павловская — родина Быча.

«Хведералисты» здесь поработали изрядно.

— Нам ни красных, ни белых, ни зеленых, ни зрелых. Кубань сама по себе. Демократичная республика! — заявляли павловцы.

— Политики, рак их съешь, — иронизировали донцы. — Понимают в политике столько же, как наши кривянские бабы-молочницы. Избаловались, испохабились! Отяжелели от урожая. Буржуями живут. А где слыхано, чтобы буржуй шел на фронт!

Кубанцы на своем тучном черноземе живут куда зажиточнее донцов.

Гражданская война мало разорила здешний богатый край.

Даже бедняки, воевавшие под знаменами Шкуро и Покровского ради зипунов, теперь поправили свои дела.

Благоденствие и пресыщенность породили неслыханный эгоизм. Несчастье братьев-донцов мало трогало кубанцев. Они не только не выказывали русского радушия, но обнаруживали изумительное хамство. Мы, судейские, например, от них ничего не требовали, кроме ночлега и приветливого слова. А вместо этого часто слышали незаслуженную брань.

— Приехали, хамы, свиньи, объедать нашу Кубань, — вопила дебелая хозяйка-казачка, выгоняя из квартиры

нашего смиренного, тихого, деликатного ген. Петрова и нескольких других, вполне приличных офицеров, втиснувшихся было, с помощью администрации, в хорошую хату.

— Что тут за паны явились? Моя хата! Кого хочу — пущу, а не желаю — не пущу, — разорялась она, выпятив грудь и воткнув сжатые кулаки в свои бока. — Мы к вам на Дон не лезем. Маруся! тащи сундуки, выноси стол и стулья.

Воинственная баба оставила бедному нашему председателю и его компании голые стены.

Некоторые хозяева, чтобы избавиться от постоя, уходили на целые дни и запирали хаты снаружи. Озлобленные донцы вышибали прикладами двери в присутствии станичных властей.

— Чорту они братья, а не нам. Не надо нам таких братьев, — горячились донцы. — Не стоит и защищать такую пакость. Пусть их проучат большевики.

Я, с группой своих офицеров, остановился, наконец, у казачки-чиновницы, недавно овдовевшей.

— Нам ничего не надо, ничего кроме стен, — предупредил я ее вначале.

— Ну, да, да, да! — раздраженно шептала хозяйка, еще не старая, но нервная женщина. — То́ вам подай, да другое подай. А я лакейничать не умею. Я вам не какая-нибудь. Мой муж коллежским регистратором служил в Ставрополе. Принесла вас нелегкая на мою голову.

Мы заняли крошечную боковушку. Нервная барыня требовала, чтобы мы громко не разговаривали, ходили на пятках и т. д. Через несколько дней она простудилась и заболела. Так боявшаяся уронить свое достоинство услуживанием нам, она теперь принимала, как должное, когда мы топили ей печку, подавали пищу и даже ссужали деньгами в долг без отдачи.

Наш генерал Л — ев, хватив нужды и горя на походе, плюнул на все и сбежал в Екатеринодар, куда заблаговременно выехала его семья. Командующий армией ген. Сидорин хотел было объявить в приказе о дезертирстве прокурора, но ограничился тем, что назначил меня на его место.

Здесь, в Павловской, беглое всевеликое остановилось на более или менее продолжительное время.

XXV.

ВЕРХОВНЫЙ КРУГ.

В двадцатых числах января ген. Сидорин отправился в Екатеринодар в своем поезде. Я не преминул воспользоваться случаем и поехал на несколько дней в стольный

город Кубани, к которому сейчас было приковано всеобщее внимание.

Сюда хлынули все остатки деникинского государства. Федералисты опять увидели своих старых недругов. Еще в августе, перекочевывая в Ростов, «единонеделимцы» очень высоко задирали нос и презрительно поглядывали на Кубань, почти уверенные, что, если и явятся когда-нибудь снова в эти места, то только для того, чтобы княжить и володеть.

Судьба сыграла с ними злую шутку. Большевики показали им кузькину мать, к великому злорадству федералистов. Сам Деникин теперь походил на льва, лишенного когтей. Федералисты его уже не боялись.

2 января 1920 года Рада, притихшая было после ноябрьских событий, опять зашумела, загудела, забуянила. «Бычье стадо» подняло голову. Стремительное падение великой и неделимой разочаровало в ней и линейцев, сторонников союза с Деникиным. Они виновно опустили глаза. Рада немедленно восстановила в прежнем виде кубанскую конституцию, измененную в ноябре, и аннулировала распоряжение Деникина об изгнании лидеров черноморской фракции.

Казачьи политики, уже больше не обращая внимания на Доброволию, задались целью образовать свое казачье государство.

«В тылу жизнь приняла уродливую форму. Спекуляция, хищения, зеленоармейцы, дезертиры, — все это переплелось в чудовищный клубок. Мысль об единой народной власти, опирающейся на народ, осуществляется, наконец, в лице Верховного Круга. Эта власть успеет избежать ошибок прошлого и изжить их. Эта власть сможет создать новые армии, снабдить их необходимым, прокормить и устроить жизнь в тылу при ближайшем участии и поддержке всего населения».

Так писала 29 декабря «Вольная Кубань», уверенная во всемогуществе казачьей демократии.

Чтобы не выпустить из своих рук инициативу в деле создания новой власти, с уклоном в сторону казачества, Деникин образовал, вместо кадетского особого совещания, новое правительство, назначив премьером не кого иного, как ген. Богаевского. Безземельный глава донского государства теперь соглашался служить на каких угодно ролях.

Образование этого правительства, в которое вошли многие члены особого совещания, разожгло ярость Рады.

— Все, что будет возможно, чтобы сгладить ошибки прошлого и чтобы избежать их повторения, будет сделано ген. Деникиным,—заявил Раде новый деникинский премьер.

— Вон! долой! — вопило «бычье стадо».

— Позор! Неслыханный позор! Донской атаман на ролях деникинского лакея!

— Тоже буфер выискался! Молчал бы, когда бог убил.

«Особое совещание переименовано в «правительство», — иронизировала «Вольная Кубань», — в награду за его предательскую деятельность, чего не решались сделать раньше. К счастью для России никакого практического значения это переименование иметь не может и останется лишь характерным штрихом для окружающих ген. Деникина сфер. Первым шагом нового «правительства» была эвакуация из Ростова. Эвакуация была проведена в «полном порядке». Вывезены столы, стулья, шкафы, вагоны бумажного хлама, который представляет собою годовую работу особого совещания».

«Кадеты и кадетствующие, — писала та же газета 4 января, — развели в тылу армии целую систему кумовства, сватовства, подсиживания, низких интриг. Они не смущались тем, что за все это расплачивалась кровью своей и добром своим армия и чуждое им население. Прежде всего нужно оздоровить наш центр — Екатеринодар. Мы не представляем себе, чтобы тыловые учреждения армии нуждались в тысячах офицеров, фланирующих по Красной улице в то время, как на фронте батальонами командуют иногда урядники и нижние чины. Тысячи служащих бывшего особого совещания получили четырехмесячное жалованье, четырехмесячный отпуск и с отсрочками от призыва в кармане, вследствие незаменимости этих драгоценных работников для драгоценной деятельности не существующего особого совещания. Они равнодушно смотрят, как на фронт, исполняя свой высокий долг, отправляются старики. На территории Кубани даже еще действуют какие-то клочки учреждений особого совещания, о которых никто не знает, кому они теперь подчиняются. Без ведома кубанских военных властей совершаются ими перевозки.[1]»

По адресу пагубной политики особого совещания раздавались голоса не только в Раде. Критика, порой осторожная, порой переходившая в филиппики, раздавалась и в прессе, и в обществе, и в военной среде.

— Наши ошибки, — высказывал свое мнение в беседе с журналистами ген. Шифнер-Маркевич, сподвижник Шкуро, — наблюдались в практике административной и в практике военной. В военной области главной ошибкой была наша экономия средств. Мы не дали новых форми-

[1] «Вольная Кубань», 1920 г., № 3.

рований; у нас не было сплошного фронта, нас обходили, а мы были лишены возможности активного сопротивления. Печальным откликом на положение фронта сказалось неправильное решение земельного вопроса. Помещики являлись на старые места и сводили старые счеты. В этой области их бестактность была безграничной.[1]

Полк. Лисовой, организатор так называемой корниловской выставки, рассказывал на страницах «Вестника Верховного Круга», какие речи он слышал в поезде среди офицерства.

— Тыл виноват? Спекулянты грабили? Администрация брала взятки? А власть что делала? Писала по старой системе приказы. Людей не было? Неправда, были! Не нужно сватовства, кумовства... Мы ведь стояли у Москвы, перешагнули порог ее. Махно, и всему конец. Нет ни Москвы, ни Добровольческой армии, осталась лишь одна голая, дрожащая от зимней стужи в кубанских степях идея.[2]

Политические страсти разгорались. Они и раньше, как ржа, разъедали тело белого стана; теперь доканчивали его труп.

Кубанцы все еще трактовали о конституции!

— Смешно говорить о конституции, когда фронт под руками, — осуждал кубанцев еще в ноябре «Приазовский край».

Теперь фронт подошел уже к сердцу казачьих областей, но казачьи политики и не думали умолкнуть. Бездомные донцы, убитые несчастьем, сократились. Но кубанцы не знали удержу. Теперь они и атамана имели подстать сумбурной Раде.

Ген. Успенский, преемник Филимонова, едва приняв булаву, заболел тифом и умер. Выбрали ген. Букретова, того самого сподвижника Быча, которого в ноябре 1918 года с таким фасоном арестовал Филимонов по подозрению в злоупотреблениях, продержал до 18 декабря под стражей и потом, с помощью суда чести, лишил его права поступления на службу.

Я знал Букретова по Кавказскому фронту, где он в мировую войну командовал пластунской бригадой. В 1917 году, в г. Эрзеруме, благодаря его бестактности и демагогии, в бригаде произошли беспорядки, причинившие не мало хлопот командарму и мне. Казаки тяжело ранили начальника штаба бригады полк. Кучапова. Поддерживая домо-

---

[1] «Вестник Верховного Круга», 1920 г., г. Екатеринодар, № 7.
[2] «Вестник Верховного Круга», № 9.

гательства своих пластунов, стремившихся с фронта, чтобы защищать свою Кубань от неизвестного врага, Букретов был чуть ли не единственный генерал на Кавказском фронте, проявивший неповиновение командующему армией ген. Одишелидзе. В кабинете последнего на моих глазах разыгрывались бурные сцены. Мятежный вождь пластунов ничуть не боялся командарма, не имевшего в своем распоряжении ни одного покорного ему солдата.

Военное ведомство Кубани новый атаман поручил бывшему профессору Академии генерального штаба ген.-лейт. Болховитинову.

Судьба этого была довольно чудесна.

В мировую войну он занимал должность начальника штаба Кавказского фронта, которым командовал, лежа в постели, умирающий граф И. И. Воронцов-Дашков. Желая захватить всю власть на Кавказе в свои руки, Болховитинов старался всякими путями прогнать генералов, которые, подчиняясь прямо главнокомандующему, не считались с ним.

Больше всех досаждал ему начальник военных сообщений ген. Карпов. Чтобы сковырнуть этого, довольно независимого, человека, Болховитинов возбудил дело против его подчиненного, начальника этапно-транспортного отдела полк. Предейна, который заключил договор с одной фирмой на организацию обоза. Нашли, что этот договор не выгоден для казны и что Карпов виноват в отсутствии должного надзора за своим подчиненным.

Направили дело к военному следователю, который выяснил полную невиновность Предейна в каком-либо злоупотреблении, а экспертиза признала договор выгодным для казны. Более того, по отзыву Юденича, ведшего операции в Турецкой Армении, приобретенный полк. Предейном обоз работал великолепно и спас армию от голода в период наступления на Эрзерум в январе 1916 года.

Я давал заключение по этому делу и добросовестно заявил, что полк. Предейн скорее заслуживает награды, нежели предания суду, Карпов же здесь совершенно зря примешан.

Взбешенный этим, Болховитинов написал, от имени нового главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, письмо в Петроград главному военному прокурору, ген. Макаренко, жалуясь ему на то, что военная прокуратура так легко относится к тем делам, которые он возбуждает.

Сухомлиновский лакей страшно взбеленился на своего подчиненного, не желавшего сделаться лакеем Болховитинова. Мне сделали весьма интенсивное внушение, преду-

преждая, что такие непокорные высшему начальству чины прокуратуры истребляются с головокружительной быстротой. Сорвав на мне злобу, Болховитинов все же не мог упрятать на скамью подсудимых неугодных ему лиц.

Через год грянула революция. Грозный кавказский Юпитер, игравший крупную роль и при великом князе Николае Николаевиче, сильно распустившем вожжи после разжалования его из главковерхов в главкомы, вдруг преобразился. Он начал посещать митинги, брататься с солдатами. Однако всплыла история с делом Предейна. Чрезвычайная следственная комиссия напомнила ему насилие над совестью прокуратуры.

Ген. Болховитинов бежал с Кавказа. По телеграмме из Тифлиса его арестовали в Ростове, но по телеграмме из Петрограда выпустили. Керенский назначил его командиром 1-го армейского корпуса на северо-западном фронте.

После Октябрьского переворота ген. Болховитинов одним из первых предложил свои услуги военно-революционному совету, а через полгода с небольшим одним из первых же бежал к ген. Деникину. Здесь для проформы его судили, приговорили к расстрелу, расстрел заменили разжалованием в рядовые; потом восстановили в правах и назначили председателем комиссии по оказанию помощи лицам, пострадавшим от большевиков.

Теперь этот генерал, владелец такого пестрого прошлого, спасал Россию в роли военного министра Кубани, вместе с сумасбродным Букретовым и вздорной Радой.

Кубань теперь имела свою армию, которой командовал Шкуро.

Деникин, с отступлением Кавказской Добровольческой армии от Царицына на линию Маныча, уже не мог воспрепятствовать Раде объявить ее своей собственностью. О Покровском, который предводительствовал этой малочисленной армией после Врангеля, Рада и слышать не хотела. Герой ноябрьских событий, опасаясь мести, с наиболее преданной ему шайкой отъявленных архаровцев, поспешил уплыть к берегам Крыма. Его примеру последовал и Врангель, оставшийся теперь не у дел и столь же ненавистный кубанским политикам, как и генерал-вешатель.

Кубанская троица, ген. Шкуро, Букретов и Болховитинов, формировала теперь пополнение для кубанской «национальной армии» под аккомпанемент бешеной свистопляски, происходившей в державных верхах.

Деникин жил в Тихорецкой, в поезде.

В Екатеринодаре собрался Верховный Круг.

По всей Кубани, по словам ее официоза, рассеялись злопыхатели, ненавидящие казачью демократию, провалившиеся в своем завоевательном стремлении.

«Выброшенные из Курска, Орла, Киева, Харькова, изгнанные восставшими крестьянами из Украины, все эти губернаторы, вице-губернаторы, патентованные патриоты очутились в кубанских станицах», — глумилась «Вольная Кубань» над «единонеделимцами».

5 января открылись заседания Верховного казачьего Круга, в который вошло по пятидесяти представителей от Дона, Кубани и Терека.

— Верховный Круг строит оплот, о который должны разбиться волны большевизма, — гордо провозглашал официоз этого учреждения в № 1.

В председатели избрали кубанца И. П. Тимошенко, после чего, стоя, пропели три «национальных гимна» — донской, кубанский и терский.

У собравшихся первоначально было определенное намерение создать общеказачье государство, без всякого участия «единонеделимцев». Провал политики особого совещания вызвал у казачьих политиков такое враждебное отношение к кадетам, что даже Харламов не попал в Верховный Круг.

Деникин отлично понимал, что никакого общеказачьего государства не удастся создать «ораторам», но он опасался, как бы эс-эрящий Верховный Круг не пошел на мировую с большевиками.

6 января на Круге выступал Богаевский. Ему дали задачу урезонить Круг не порывать с Деникиным.

— Не забудьте того, — говорил междупланетный премьер, — что союзники обещали свою материальную помощь только ген. Деникину. Не забудьте, что Деникин, при прорыве фронта Буденным, приказал Добровольческой армии итти на соединение с Донской. Добровольческая армия выполнила тяжелый фланговый отход. «Если же теперь,—сказал мне Деникин,—казачество не пожелает итти рука об руку со мной, что делать... У меня есть Крым, Польша... Но России я не изменю». И, господа, Деникин своему слову не изменяет. Пусть вы порвете с ген. Деникиным, — его армия уйдет. Уверены ли вы, что ваши части устоят? Я предлагаю не выбрасывать лучшего работника на благо России. От ваших решений зависит—быть или не быть России, быть или не быть казачеству.

Кубанский атаман Букретов уличил Богаевского в передержках.

— Ген. Хольман, глава английской миссии, любезно обещал дать все нужное для кубанской армии.

Гром аплодисментов приветствовал появление Мамонтова. Этот вождь теперь тоже громил Доброволию.

— Высокий идеал, провозглашенный Деникиным: «За великую, единую и неделимую», нам оказался не по плечу. Ни для кого не секрет, что Деникиным были допущены ошибки. При нем не было казаков, его советчиками были люди, чуждые казачеству. Они губили народное дело. Мы продвигались вперед, а за армией ехали губернаторы и везли с собой становых приставов и помещиков. Мне самому говорили русские мужики: «Вы нас обманули. Мы вас ждали, а вы отдали нас в рабство помещикам, предложив два дня работать на себя, а третий на помещика». Неужели при ген. Деникине не нашлось ни одного умного человека, который сказал бы: если нужен армии хлеб, возьми третий сноп и отдай интендантству, но не устанавливай барщины.

Провозгласив неприкосновенность депутатского звания (слабая гарантия от повторения ноябрьского кровопускания!), Верховный Круг начал обсуждать вопрос о взаимоотношении общеказачьего государства к России. Полились бесконечные разговоры о том, что более приемлемо, автономия или федерация, и в каких пределах продолжать борьбу с большевиками, защищать ли только свои области или освобождать всю Россию.

Сотник Филимонов, линеец, когда-то яростный сторонник Деникина и войны до победы, теперь пел уже другое:

— Нам надо в первую же голову декларировать, что целью нового государственного образования является защита края, своего физического существования и мозолями нажитого имущества. Что касается пределов борьбы, то эта последняя должна быть ограничена рамками наших краев. Дальше мы не пойдем, не имеем права этого делать. Казаки шли недавно освобождать, помогать русскому народу, а вышло, что мы шли устанавливать старые порядки. Наш поход оказался, действительно, походом контр-революции.

Н. М. Мельников, председатель донского правительства, высказался, вторя Богаевскому, против федерации:

— Объявить себя союзным государством — значит порвать с теми, кто охраняет сейчас самое уязвимое место. Обстановка фронта заставляет иногда принимать решения и не такие, какие хотелось бы.

— Горбатого исправит одна могила! — крикнул кто-то из делегатов с места.

Эту реплику следовало бы отнести не к Мельникову, а ко всему Кругу, который после этого еще десять дней

спорил о целях, задачах и конституции общеказачьего государства. Наконец, 17 января на заседание явился Деникин, которому надоела эта волынка.

— Все ищут объяснения причин неудачи, — сказал он. — Правые — в недостаточно твердом проведении своих программ, левые — в реакционной политике правительства, другие — в нетерпимости главного командования к государственным образованиям, и все — в грабежах и бесчинствах. И вот теперь, когда все горит в огне политических страстей, развивается шкурничество и сеется преступная пропаганда за прекращение войны, что делает тыл для воодушевления борцов? Екатеринодар устранил Россию, создал казачье государство, формирует самостоятельную армию и готовится принять на себя всю полноту военной и гражданской власти на юге России. Одно только не принято во внимание, что Добровольческая армия и главнокомандующий служат России, а не Верховному Кругу. Тем не менее екатеринодарские речи сделали свое дело. На фронте явилась неуверенность. Там знают, что, в случае разрыва, я уйду и отзову из казачьих армий русских офицеров с техническим образованием. И в тот день рухнет весь фронт. Большевики не забудут ни чрезвычайных судов, ни порок. Пощады не будет. Кубанская и Донская армии должны драться заодно с Добровольческой. Борьба до конца! Надо спасти Россию, а будущую ее судьбу предрешит Учредительное Собрание.

Деникину ответил председатель Круга:

— Мы пойдем сражаться, но не как рабы, а как свободные граждане, которые не подчиняются никакой диктатуре, как бы велик диктатор ни был. Казачество хочет свободной жизни. Крупная ошибка расценивать современные достижения как измену и предательство. Мы знаем, что уход добровольцев — гибель для казачества, но едва ли это спасет и добровольцев. Не в этом дело. Мы смущены тем, что наши разногласия погубят идею великой России и осуществится мечта Троцкого об единой, великой, неделимой Совдепии. Нужно пойти на уступки.

Терская фракция настаивала на организации общерусской власти на юге России, а не казачьей гегемонии, ссылаясь на то, что на Тереке слишком мало казаков, «русского» элемента много и гегемония не пройдет. Донцы, которых несчастие стукнуло по башке, тоже склонялись к той мысли, что с Деникиным, пожалуй, лучше не ссориться. Кубанцы остались в меньшинстве и сдались.

К Деникину отправили делегацию, во главе с Тимошенко и Гнилорыбовым, которая предложила ему возглавить южно-русское государство, если он согласен иметь пред-

ставительное учреждение с законодательной властью и ответственное перед этим учреждением правительство. Круг, в свою очередь, соглашался вести войну до победного конца, т.-е. до «восстановления» России.

Деникинский поезд превратился в говорильню. Целый день спорили и ссорились. Деникин требовал абсолютного veto и несколько раз просил оставить его в покое, не приставать к нему с разными конституциями. Наконец, плюнув на veto, требовал ответственности министров военного, морского, снабжений и путей сообщения только перед ним. Делегация не возражала.

— Соглашение с генералом Деникиным достигнуто! — принес наконец телеграф радостное известие в Екатеринодар.

В. Л. Бурцев, посетивший в это время Кубань, считал, что уж теперь-то, наконец, Россия спасена: глава общерусской власти признал демократический строй!

— На-днях будет написана новая страница русской истории, — говорил он журналистам. — Ген. Деникин беспощадно подводил итоги ближайшего прошлого и определенно указывал на выход из создавшегося положения. Установлены лозунги: 1) единая, великая, неделимая при автономии окраин; 2) Всероссийское Учредительное Собрание; 3) земля крестьянам и трудовым казакам; 4) борьба с большевиками до конца.

— Я возвращаюсь обратно в Париж, — заключил он беседу, — и еду туда с твердой верой в близкую победу над большевиками, с непоколебимой верой в возрождение России. «В Москву!» — вот наш лозунг[1].

Деникин пытался оставить «правительство» Богаевского. Круг и слышать не хотел об этом. Тогда выплыла кандидатура Н. М. Мельникова, подголоска Богаевского.

На Мельникове помирились.

В состав кабинета вошли: адвокат Зеелер, бывший ростовский градоначальник при Керенском, — министром внутренних дел; ген. Баратов, любезный Англии, — министром иностранных дел; П. М. Агеев — министром земледелия; Ф. С. Сушков — народного просвещения; Ф. Леонтович — торговли и промышленности; ген. А. К. Кельчевский, начальник штаба Донской армии, — военным министром.

А кубанцы попрежнему не хотели воевать!

Не только не шли на фронт из станиц, а, напротив, убегали с фронта в станицы и жили там легальными дезер-

---

[1] «Вечернее Время», 1920 г., г. Новороссийск, № 456.

тирами, — как писал об этом в своем приказе от 28 января, № 76, ген. Болховитинов.

В бодрящих телеграммах недостатка не было.

«Все воодушевлены порывом вперед и верой в успех», — сообщали из тех пунктов, откуда посылали на фронт вновь сформированные кубанские части.

— Мобилизация здесь проходит блестяще, — телеграфировали 7 января из Армавира. — Старики говорят: «Пойдем на фронт и не вернемся оттуда, пока не прогоним красных. Тех, кто не хочет воевать, и дезертиров, мы, вернувшись, прогоним из станиц».

На деле выходило по-иному. Те, которых кое-как довозили до фронта, определенно не хотели итти в бой.

Таманский отдел, как и раньше, не признавал ни бога, ни чорта, тем более своего кубанского правительства, и смеялся над приказом о всеобщей мобилизации. Здешнюю анархию усиливали члены Рады, ругавшие теперь безбоязненно Деникина, кадетов и их политику. Орган федералистов, «Кубанскую Волю», пришлось даже закрыть за то, что она, по словам правительственного сообщения, разжигала страсти, осуждая уже сданный в архив путь государственного строительства.

За Кубанью, по железнодорожной линии Екатеринодар—Новороссийск, в предгорьи, собрались громадные шайки зеленых под главенством сотника Пилюка. Одно время газеты писали, что вместе с Пилюком орудует И. Л. Макаренко, который хочет занять Екатеринодар с помощью зеленой армии. Это оказалось вздором. Макаренко в феврале вернулся из изгнания и заявил, что политической деятельностью больше не намерен заниматься. Екатеринодарское действо пошло ему на пользу.

В Таманский отдел и против Пилюка двинули 1-ю донскую дивизию, в состав которой входила и гвардия.

Теперь братья донцы гнали на фронт братьев кубанцев.

— Мы ждем от кубанцев ответа. Мы имеем право так разговаривать с ними и требовать их всеобщего ополчения, — говорил на Круге Гнилорыбов.

Озлобившись на скверный прием, оказанный в станицах, на нежелание мобилизоваться и выручать брата из беды, 1-я донская дивизия не церемонилась. В станице Славянской каратели расстреляли члена Рады Щербака, который яко бы отговаривал кубанцев мобилизоваться; в других станицах — расстреливали шестидесятого, пороли десятого. Тут же, по сообщению кубанских газет, не преминули попартизанить, раздобывая зипуны.

У Ильской (за Кубанью) произошло сражение между бандами Пилюка и донской дивизией. В результате зеленые

*

отошли к Абинской, еще далее в горы. Но железная дорога фактически все время находилась под угрозой их набега.

Шкуро выбивался из сил, разъезжая по станицам и уговаривая.

— А зачем повесили Калабухова? Пусть Деникин отдаст нам его, тогда пойдем! — ответили казаки командарму в Павловской.

Тень Калабухова витала над станицами и подстрекала казаков на сопротивление.

В роли главноуговаривающего выступил и ген. Хольман, очень подружившийся с Деникиным. 10 января, на ст. Тихорецкой, он сочинил и разослал для расклейки следующее воззвание:

«Казаки! Меня послал сюда его величество король Англии для того, чтобы помогать вам в вашей борьбе против врагов христианства. Не забывайте, что с большевиками идут китайцы, латыши и другие наемники, которые хотят справить кровавый праздник в ваших домах и станицах. Допустите ли вы, чтобы ваши жены и дети стали посмешищем этих убийц? Я доложил его величеству, что вы все решили во что бы то ни стало уничтожить этих людей.

«Я знаю, что война трудна; я знаю, как доблестно вы сражались везде в безвестных степях Царицына в холод и вьюгу с начала войны. Я знаю, как вы боролись до сих пор, будучи лишены многого необходимого. Но этому всему я могу помочь и буду помогать, пока только смогу, обмундированием и снаряжением.

«Но я хочу, чтобы вы знали, что Англии не так легко сейчас помогать России, потому что война за пять лет и нас сильно потрепала, и в то время, как теперь нам следовало бы беречь каждую английскую копейку, на самом деле вышло так, что многие государства, участвовавшие в войне, просят их кормить и одевать. Чтобы не было того, что было до сих пор, что на фронте люди голы и босы, а в тылу спекулянты продавали обмундирование, я теперь прошу вас, полагаясь на вашу честность, следить за тем, чтобы обмундирование и снаряжение, какое вы получите, не было растрачено. Я помогаю России, чем могу, и требую, чтобы и вы помогали мне, сохраняя во всем порядок.

«Казаки! В сердце вашем помоги вам бог! Вы боретесь за славное и святое дело. С вами ген. Деникин. Если бы таких людей, как он, было больше в России, вы бы давно победили. Верьте ему. Не верьте тем, кто говорит, что Россия одно, а Кубань и Дон — другое.

«Со временем, когда правительство получит возможность, с помощью Англии, оно даст вам мануфактуру и товар. Не верьте также тому, кто говорит, что счастье Кубани и Дона в том, чтобы они были отдельные государства. Я за свою службу объездил весь свет и скажу вам, что малым государствам живется трудно и что, рано ли, поздно ли они все равно соединятся в одно большое. Я видел Россию двадцать четыре года тому назад и полюбил ее. Поэтому, несмотря на то, что я англичанин, мне больно видеть, как некоторые ее сыновья колеблются сейчас в момент ее опасности и не идут горячо и быстро на помощь обиженной матери.

«Помните, одно имя проклято в истории, имя того, кто сказал: — «Я умываю руки», когда Христос шел на крестное страдание. Не допустите, казаки, чтобы вас прокляли потомки ваши. Лучше заслужить вечную славу в бою за родину.

«Помоги вам бог!

«Генерал-майор Хольман. Начальник его величества английской военной миссии, почетный казак станиц Незамаевской и Старочеркасской».[1]

Обещание товаров и мануфактуры не дало желательного эффекта.

Не только не знавший слова по-русски почетный казак двух станиц, но и сам Шкуро, подлинный потомок запорожцев и «народный герой», ничего не мог поделать с кубанским казачеством. Разочарование все более и более охватывало душу этого стихийного человека. Предчувствуя близкий крах всему, он заблаговременно отправил в Константинополь своих родителей и вел переговоры о продаже своего дома на Крепостной улице через посредство нотариуса Подушко.

Супруга его пока еще жила в Екатеринодаре. Я навестил ее и был поражен изысканным тоном, который теперь царил у Шкуро, совершенно не гармонируя с его бесшабашной натурой. Мебель в стиле empire. Лакей в нитяных перчатках. Прекрасная сервировка стола, прекрасная кухня и великолепные вина, особые к каждому кушанью.

Роль церемониймейстера при дворе Шкуро играла графиня Воронцова-Дашкова, невестка бывшего наместника Кавказа, жена его младшего сына. Она, что называется, охаживала жену «народного героя», относясь к ней отчасти

---

[1] В гражданскую войну было в обычае зачислять иностранцев в казаки. Так в октябре 1919 г. зачислены в донские казаки: по станице Старочеркасской англичанин, капитан Клавдий Паско, и по станице Грушевской американец, лейтенант Иван Бойель, за их активное участие в борьбе и защите Дона от красных банд. («Донские Ведомости», 1919 г., № 232.)

заискивающе, отчасти покровительственно и стараясь подготовить недавнюю скромненькую офицершу к роли знатной дамы. Сам «герой» очень плохо поддавался светской дрессировке, и громкая фамилия графини не мешала ему называть ее довольно фамильярно «графинчиком».

«Герою» все прощали, извиняли даже самое грубое нарушение светского этикета.

За обедом графиня рассказала несколько интересных подробностей отречения великого князя Михаила Александровича со слов своего мужа, который присутствовал при этом историческом акте. Потом речь зашла об убийстве Рябовола. Обе дамы высказали все, известные им, слухи по поводу того, кто бы мог отправить на тот свет председателя Рады.

— Ах, да, кстати: где сейчас ваш племянник по мужу граф Илларион? — спросил я графиню.

— Это Ларька-то? Андрей Григорьевич пристроил его у себя при штабе. Этот Ларька — позор всей нашей семьи, совсем беспутный юноша. Представьте себе: рябоволовская история высоко подняла его марку. Еще бы! Его сочли способным на участие в политическом заговоре, сначала считали чуть ли не организатором! После этого он сам поднялся очень высоко в собственных глазах. Сферы, полагая, что он и в самом деле участник этого убийства, начали ценить его. Счастье само свалилось ему на голову.

Чтобы нанести визит самому Шкуро, я отправился на следующий день на вокзал, где он жил в своем поезде, приезжая домой в редких случаях.

По вокзалу обыкновенно можно судить о целом городе, т.-е. о характере его населения, о темпе его жизни и т. д. Екатеринодар, действительно, отражался здесь. Ни нагрузки товаров, ни отправления поездов, никакой деловой работы. Но много военщины и много разговоров. На запасных путях в этот день стояло четыре «собственных» поезда: Деникина, Богаевского, Сидорина и Шкуро. Подле каждого из них прохаживались с самым беззаботным видом чистенькие офицерики.

В двух воинских поездах, предназначенных завтра к отправке на фронт, шум, ругатня, песни. На рельсах подле одного из них летучий митинг.

— Уж надо нам, браты, что-нибудь одно делать: или воевать, так воевать, как следует; или же прямо заявить: мир с большевиками, долой войну. А то с этой канителью мы и сами маемся, и других мучим, — ораторствовал молодой интеллигент в новенькой черкесске.

— Нейтралитет лучше... Ни за Деникина, ни за большевиков. Мы сами по себе, — гуторили станичники.

Обращение ген. Хольмана, умолявшего казаков не умывать рук наподобие Пилата, не проняло хохлацких натур. Интеллигент начал доказывать им нелепость нейтралитета, но я пошел дальше и не слышал конца речей.

Шкуринский поезд отличался от других оскаленными волчьими пастями, намалеванными на каждом вагоне.

— Андрей Григорьевич сейчас занят в оперативной части. Минут через двадцать он явится сюда, — сказал мне личный адъютант ген. Шкуро, молоденький, краснощекий горец Аликов, приведя меня в вагон-столовую.

Человек десять дожидались приема у кубанского командарма.

В томительном ожидании я осмотрел внутренность вагона до мельчайших подробностей. На стене, возле стола, висел неизбежный портрет генерала, писаный масляными красками; у входной двери — таблица штатного состава штаба кубанской армии. Столько-то офицеров, столько-то врачей, и, между прочим, — фотограф.

Шкуро более всех других вождей белого стана любил рекламу. Фотограф сопровождал его везде, увековечивая его бессмертные деяния. Рассказывали, что однажды в Кисловодске он попал в не совсем приятное положение, зайдя с супругой в кино-театр, где демонстрировали небольшую фильму «Ген. Шкуро на фронте», при чем на экране он увидел себя на башне бронепоезда в обществе юной сестры милосердия. После этого даже острили: «Какой же Шкуро храбрец, если он побледнел, увидя себя «на фронте».

— Вы по личному делу? — спросил меня пожилой инженерный полковник. — Говорят, генерал не в духе. Вчера ездил куда-то на станичный сход, но едва ноги унес. Я к нему по важнейшему делу. Вчера не мог приема дождаться. Даже и такой популярный человек уже ничего не может сделать с казаками. 2 января он пожертвовал два вагона мануфактуры для шитья и раздачи белья казакам. —«Ну и штука,—говорят станичники,—не свое же жертвует? Вывез казенное добро и дарит; подумаешь, благодетель!» Ничем теперь не проймешь казака.

В это мгновение Шкуро вошел в вагон.

В течение минувшего года мне приходилось видеть его несколько раз, хотя и мельком. То был другой человек. Этот же и впрямь походил на волка, притом затравленного. Грубая, желтая кожа его лица сильно сморщилась, воспаленные глаза провалились. Волосы совсем не напоминали теперь хохлацкого чуба, а торчали клочьями во все стороны. Щеки сводила нервная судорога. От веселого, бесшабашного Андрюши не осталось и следа.

Не по плечу, видно, пришлась ему работа, которую взвалил на него Деникин. Наездника посадили в штаб, рубаку заставили уговаривать. Одно дело собирать шайку сорви-голов, другое — поднимать на бессмысленную, опротивевшую войну народ, не желавший воевать.

«Герой», беседуя с кем-то из штабных, прошел за занавеску, которая отделяла небольшой угол, предназначенный для приема командармом посетителей.

Старенький генерал генерального штаба, с порыжелым портфелем под-мышкой, степенно раздвинул полы занавески. Почтительно, обстоятельно, спокойно начал он свой доклад о том, как в декабре отправился в командировку в Ростов, и как военные обстоятельства помешали ему выполнить поручение.

— А знаете, ваше превосходительство, вы в Ростове баклуши били, больше пьянствовать изволили, — вдруг резко и громко оборвал докладчика Шкуро. — Да, да, я имею точные сведения. Что? Ничего слушать не желаю. Мне не надо таких работников. Кто следующий?

Старик, пожимая плечами, вынырнул из-за занавески и поспешил к выходу, стыдясь глядеть на публику, свидетельницу нанесенной ему, быть-может и незаслуженно, обиды.

Есаул-кабардинец, небольшой, приземистый, с продолговатым лицом, очень смело шагнул к генералу.

— Пакорнэйше прашу, ваше превасхадытэлство, принять минэ снова. Желаем командовать своя сотня...

— Вы? Вы? Как вы смели явиться на мои глаза? — еще более свирепо кричал герой. — Вам сотню возвратить? Да ведь вы у меня только и делали, что грабили. Вспомните Новомосковск...

— Ваше превасхадытэлство, разрешение было... — начал кавказец, но резкий и внушительный удар кулака о письменный стол оборвал его объяснения.

— Вешать вас надо было! Из-за вашего увлечения грабежом чуть весь полк не погиб. Я вас только выгнал тогда. И теперь видеть не желаю.

— О, господи! — прошептал полковник-инженер, два дня дожидавшийся приема. — Лучше уж я в другой раз.

Стремительно схватив со стола фуражку, он опрометью бросился к выходу.

— Савсэм шайтан... Савсэм зазнался, — вполголоса лепетал кабардинец, представ перед публикой.

Постояв некоторое время возле стола, он развел руками, прищурился и прохрипел в направлении занавески:

— Нэ хочишь — нэ надо. Сам абреков [1] наберу. Сам атряд сфармирую. Сам Шкуро буду.

[1] Абрек — кавказский разбойник, головорез.

С этими словами будущий Шкуро медленно поплелся из вагона, положив руку на кинжал.

Настоящий же Шкуро в это время выслушивал доклад третьего посетителя, хилого, невзрачного врача.

— Аликов! — загремел генерал через минуту. — Возьми этого типа. Я вас арестовываю. Вы в Харцызске не погрузили транспорт раненых вопреки моему приказанию.

— Я не мог погрузить... Все платформы, которые предназначались для транспорта, захватила администрация под свою мебель, Везли рояли, шкафы...

— Слушать не желаю. Увести его, Аликов! Под суд без всяких разговоров.

Когда Аликов вывел из-за занавески перепуганного врача, в вагоне, кроме меня, никого не было. Напуганные участью первых трех, остальные посетители в панике бежали.

Прием у кубанского командарма должностных лиц и просителей быстро кончился.

XXVI.

НА ПОСЛЕДНИХ ЭТАПАХ.

Оттепель, испортив дороги и лед на Дону, приостановила головокружительное наступление красных.

Белые войска немного передохнули, расположившись по левому берегу реки и заняв оборонительное положение. В низовьях, против Ростова, стоял малочисленный корпус ген. Кутепова, — все, что осталось от Добровольческой армии. Далее к востоку, до устья Маныча и по нижнему течению его — все еще многолюдная Донская армия, с надломленным духом, но не вышедшая из повиновения вождям. Наконец, еще восточнее, по среднему течению Маныча, перпендикулярно к линии Царицын — Торговая, расположились кубанские части, которые чем более пополнялись людьми, тем сильнее разлагались. Это место было наиболее уязвимое. Противник быстро нащупал его.

Штаб Донской армии сейчас играл главенствующую роль. Добровольцев в оперативном отношении подчинили ген. Сидорину, значение которого быстро возросло.

Когда 7 января мы впервые притащились в Павловскую, после своего Грязевого похода, на заборах увидели расклеенные номера «Вестника Донского Штаба», в которых прочли биографию донского командарма и лицезрели его портрет с надписью: «Вождь донского казачества». При наличии у донцов атамана такое титулование Сидорина носило характер вызова.

Между их превосходительствами еще летом пробежала черная кошка. Ген. Богаевский, слишком покорный «единонеделимцам», понемногу начал опасаться честолюбивого, самовластного «приказчика души Каледина». Командарм пользовался популярностью среди членов Круга, имел к своим услугам бойкое перо талантливого публициста Виктора Севского, а главное — распоряжался реальной силой—армией. Атамана на фронте знали разве по наслышке.

Сидорин опасался каких-нибудь подвохов со стороны «божьей коровки» и его клевретов и держал своего агента, капитана Бедина, в Новочеркасске, чтобы следить за настроением сфер.

Богаевский, в свою очередь, подозрительно относился к тому кружку, который образовался возле Сидорина. Видную роль в сидоринской «лавочке» играл Александр Михайлович Агеев, родной брат П. М. Агеева, виднейшего донского демократа.

Сейчас звезда Богаевского померкла. Он окончательно скомпрометировал себя в глазах казачьих политических деятелей, возглавив маргариновое деникинское правительство, перелицованное из особого совещания.

Сидорину, при новом южно-русском правительстве, открывались широкие перспективы. Смелые планы рождались, если не в душе самого командарма, то в кружке близких к нему лиц. Политика постепенно начала отодвигать на второй план стратегию и в поезде донского командарма.

В верхах и низах беглого всевеликого раздавались все громче и громче нарекания на атамана.

— Ну и вождь! Закрылся шапкой-невидимкой. Сидит у Деникина, забыл про фронт, забыл про беженцев. Не пора ли сковырнуть?

«Родные донцы! — откликнулся, наконец, атаман 25 января (приказ № 25). — Временно оторванный от фронта, я зорко слежу за вашей жизнью и боевыми успехами, глубоко сожалея, что не могу пока быть на фронте и делить с вами горе и радость... Мы сейчас могли бы взять Ростов и Новочеркасск, но лучше подождем немного и соединенными силами нанесем врагу страшный удар».

Пресса, по примеру атамана, утешала измученных беженцев надеждами на скорый успех. Приятнее всего щекотали казачьи нервы газетные сообщения о восстаниях. На эту удочку долго ловили казаков и впоследствии.

Восстание в апреле 1919 года вешенцев, мигулинцев и казанцев сначала считали за миф, а потом оно оказалось фактом, сыгравшим крупную роль в весеннем освобождении Дона от большевиков.

«Восстание в Ростове, Новочеркасске и прилегающих станицах приняло грандиозные размеры. Восставших насчитывается до пятидесяти тысяч»,— сообщал «Вестник Верховного Круга», редактируемый Гнилорыбовым.

Заодно писали о развале Красной армии, об уничтожении донцами конницы Буденного, о том, что сам красный вождь едва спасся бегством, и о прочих сенсациях, изобретенных собственными корреспондентами.

«В штабе Донской армии царит спокойное, бодрое настроение. Чувствуется уверенность, что наступление красных будет не только ликвидировано но, в свою очередь, под натиском наших частей противник начнет катиться к северу», — утешал неграмотных в «Вестнике Верховного Круга» журналист Г. Н. Раковский.

В результате всех этих мер бродячее всевеликое несколько поуспокоилось и терпеливо ждало разгрома красных.

В Павловской скрипели перья. Тиф свирепствовал и уменьшал число донцов, но не число входящих и исходящих. В хатах жили по десяти и по пятнадцати душ, но в канцеляриях каждый чинуша имел угол стола или ящика, чтобы строчить рапорты, сношения, предписания.

В судной части штаба армии служили два юриста, поручик Побединский и подъесаул Филиппенков, остроумный фельетонист, сотрудник «Донской Волны». Первый кое-как бродил, второго мучил сыпняк, но оба они по необходимости спали на одной койке.

Больных не могли вывезти в екатеринодарские лечебные заведения, так как узловые станции были забиты. Возвращаясь из Екатеринодара, я видел на ст. Тихорецкой несколько безжизненных поездов с танками, которыми ген. Бригс думал уничтожить большевиков. Теперь эти ржавые, ни на что ненужные клочья железа беспомощно лежали поверх платформ, которые загромождали пути.

У нас в суде тоже кой-кого сразил тиф, неизбежный спутник грязи, стужи, голода и лишений. Впрочем, про одного офицера рассказывали, что он, не взирая на лютый приступ сыпняка, при приближении большевиков к Новочеркасску бросился бежать из лазарета и почти без памяти добрался до Ольгинской. Там он пришел в себя и внезапно почувствовал улучшение, как бы в оправдание пословицы: клин клином вышибают.

Появилась, одновременно с тифом, и кой-какая судебная работа.

Ген. Гусельщиков требовал предания суду ген. Лобова, не выполнившего директивы, благодаря чему Новочеркасск сдали без боя. Но вышло comme toujours. Ген. Лобов не-

медленно отправился реабилитироваться к атаману, и дело кончилось разговорчиками.

Милый красновскому сердцу детка, войсковой старшина Роман Лазарев, все еще занимая какую-то тыловую должность, продолжал шалить и на Кубани, озлобляя хозяев, и без того не очень ласковых к нам. Я доложил Сидорину о спешной необходимости ликвидировать золотопогонного бандита, с чем командарм вполне согласился. Порешили вызвать Лазарева в Павловскую и здесь схватить его. Однако военные обстоятельства помешали на этот раз избавить землю от преступника, который лишь через полгода получил должное возмездие.

Больше всего ко мне поступило дознаний или простых сообщений о хищениях, произведенных под шумок в период бегства. Казначеи редко где не скрылись с чемоданами, набитыми деньгами. В Новороссийске еще можно было приобрести за южно-русские дензнаки фунты, доллары и лиры, и даже выбраться за границу. 8 января Деникин разрешил выезд раненым, больным, статским лицам и семьям военнослужащих на Принцевы острова, Кипр и в Египет, где англичане предполагали устроить складочные места для обломков белого стана. Чиновные «единонеделимцы» почти все выбрались в феврале в Новороссийск и запасались здесь иностранной валютой за счет казенных сумм.

При всеобщей деморализации, казнокрадстве, жульничестве просто уж и не верилось, что остались еще честные люди. Деникин с радостью отметил в приказе от 26 декабря пример добросовестного отношения к казенным деньгам со стороны пяти лиц. Увы! Это были не офицеры, не чиновники, не контр-разведчики, не члены монархических организаций, а простые солдаты.

«22-го сего декабря, — писал Деникин, — к коменданту штаб-квартиры главного начальника снабжений явился старший унтер-офицер охранной роты той же штаб-квартиры Башмаков и представил мешок с деньгами, коих по подсчету оказалось девять миллионов рублей. 24 декабря явились туда же рядовые той же роты: Переверзев Александр, Катицын Александр, Жиленко Василий и Кармушенко Федор, представившие также: первый — 9 200 000 руб.; второй — 9 094 000 руб.; третий — 9 000 000 руб. и четвертый — 8 500 000 руб. При опросе ст. унт.-оф. Башмаков и поименованные рядовые доложили, что они были посланы в качестве конвойных при вагоне с деньгами, отправленными распоряжением начальника управления финансами в некоторые пункты каменноугольного района. Поезд их подвергся на ст. Иловайская нападению большевистских банд, при приближении коих везший деньги чиновник роздал

их частями на руки бывшим при нем чинам ведомства финансов и поименованным конвойным с приказанием приложить все усилия, чтобы вернуть эти деньги в Ростов. Молодцы конвойные честно исполнили это служебное поручение и, отстреливаясь от противника, добрались частью пешком, частью верхом до Ростова, где и сдали вверенные им деньги».

В награду за такой подвиг Деникин произвел Башмакова в подпоручики, а рядовых — в унтер-офицеры, и всех наградил денежными суммами.

«Пусть все порадуются, — заканчивался приказ, — вместе со мною, что есть в наших рядах доблестные, честные сыны своей родины, бескорыстно и самоотверженно служившие ей в тяжелые дни лихолетья».

Наступил февраль, такой же холодный, как и конец января. Морозы достигали двадцати градусов и больше, что редко бывает в здешних местах.

7-го числа марковцы, переправившись через замерзший опять Дон ниже Ростова, у ст. Гниловской, внезапно ударили на красных и заняли город.

Неописуемый восторг обуял донских беженцев. Сначала боялись даже верить этой вести, так как в последние дни многочисленные слухи об успехах все без исключения принадлежали к породе уток. Но штаб Сидорина подтвердил эту новость, добавив, что и Новочеркасск падет не сегодня, так завтра. Начальник новочеркасского гарнизона ген.-лейт. Яковлев отправился к месту штатного служения.

Хотя до Благовещения осталось еще более полутора месяцев, но донское духовенство на торжественных молебнах пропело благовещенский тропарь:

— Днесь спасения нашего главизна (начало)...

С минуты на минуту ждали вести об отвоевании стольного города.

В глухую ночь с 9 на 10 февраля меня разбудил неистовый стук в окошко.

— Этакое безобразие! И ночью нет от них покоя! Когда их чорт унесет, — желчно ворчала за перегородкой наша больная домохозяйка, которой вечером мы купили в складчину фунт меду.

Едва один из моих офицеров отомкнул задвижку, как бурею влетел в нашу боковушку граф Канкрин.

— Вставайте! Сейчас же поднимайтесь! Положение безнадежно... Надо немедленно бежать.

Если бы одновременно со словами графа с улицы не доносилась матерная брань, скрип телег, топот пешеходов,

мы, пожалуй, графу не поверили бы. За время похода он зарекомендовал себя сумбурным человеком. То впадал в беспричинную апатию, то прыгал как ребенок, то паниковал, то предавался радужным мечтам. Недаром в гвардейском полку, где он ранее служил, про него сложили куплет:

Ай, Ваня, Ваня, граф Канкрин!
Какой же, право, ты кретин.

— Председатель уже уложил вещи, — убеждал нас ночной посетитель. — В шесть часов утра поедем по Черноморке. Другие драпают на подводах.

Приходилось верить даже и графу Канкрину.

Одевшись, я отправился в донскую комендатуру. Станица, погруженная во мрак, не только не спала, но бурлила, как кипяток в чайнике.

В комендатуре уже сидели на чемоданах, но телефон еще работал.

— Снова драп! — уверил меня комендант. — Из оперативной части мне сообщили, что кубанцы изменили, пропустили Буденного возле Белой Глины. Красные идут на Тихорецкую. Сейчас они в сорока верстах от нас.

1-я Конная сделала свое дело.

Пока Верховный Круг создавал южно-русское государство, а Богаевский и Сидорин утешали беглое всевеликое скорым возвращением домой, Буденный перебрался на левый берег Дона и начал действовать со стороны Царицына. Сильнейшая красная часть столкнулась с наиболее слабой белой армией.

Шкуро спешно выехал в Торговую руководить боевыми операциями, погнав сюда все резервы, какие удалось выжать из Кубани.

Ставка Деникина понимала значение 1-й Конной. Парализование ее деятельности сулило решительную победу над красными.

Буденный же, перестав совершенно уважать противника, проник в Ставропольскую губернию и делался все смелее. Белое командование составило довольно искусный план, чтобы поймать его в ловушку. Главная задача возлагалась на мамонтовский корпус.

Самого Мамонтова уже не было в живых. Он умер от тифа в январе. Но его корпус, ослабевший после рейда, теперь снова окреп, так как поневоле возвратились все отпускники, и, кроме того, многие охочие люди стремились попасть в прославленную боевую часть.

Преемником Мамонтова назначили ген.-лейт. Павлова, командовавшего в мировую войну кавалерийским корпусом в Персии. С Доном он не имел ничего общего, так что

самое назначение его вызвало ропот среди офицерства, не терпевшего командиров не своего донского корня.

Не зная местных условий, Павлов повел корпус быстрыми переходами от реки Дона на юго-восток через голые степи, чтобы выйти на линию Царицын-Торговая, отрезать Буденного от связи с прочими красными частями и опрокинуть его на Кубанскую армию.

Морозы погубили все предприятие. В безжизненной степи, при сильном ветре, люди мерзли сотнями. Лошади гибли от бескормицы, если не от стужи. Ночевать приходилось в лучшем случае на зимовниках, куда в прежнее время загоняли в период холодов табуны лошадей и где теперь торчали одни развалины сараев и домишек.

Поход при таких условиях доканал лучшую донскую кавалерию. К намеченному пункту прибыли обессиленные люди, почти все с отмороженными руками и ногами, на жалких, никчемных лошадях. Калеки не могли ударить, как следует, на такого серьезного врага, как 1-я Конная. Вместо боевых действий, офицеры мамонтовского корпуса начали митинговать. Павлова прогнали и избрали своим вождем ген.-лейт. Секретева.

Не встречая серьезного сопротивления, Буденный разгромил один кубанский корпус и обрушился на другой около ст. Белая Глина. Кубанцы сражались так, как и подобало солдатам демократической Рады, т.-е. воткнули в землю штыки, выкинули белый флаг и завопили:

— Мы — нейтралитет!

После этого, пропустив красных, вся кубанская армия бросилась бежать, куда глаза глядят.

Дорога на Тихорецкую и Екатеринодар была открыта.

Подвиг марковцев, взявших Ростов, не принес никакой пользы. Пришлось даром отдать то, что добыли кровью. Донская армия, бросив последние клочки родной территории, спешно начала отходить на Кубань, загибая правый фланг для соединения с обессиленными мамонтовцами.

Началась борьба за подступы к Екатеринодару. Тяжесть ее всецело легла на Донскую армию. Борьба затруднялась тем, что при стремительном отходе Донской армии с линии реки Дона нарушилась связь между войсковыми частями и штабами.

Покинув Павловскую, штаб Донской армии, с которым теперь странствовал наш суд, прибыл в Тимашевскую, в сорока пяти верстах от Екатеринодара по новой Черноморской железной дороге.

Здесь мы долгое время жили в поезде, набитые как сельди в бочку. Спать приходилось по очередям. Пита-

лись большей частью пышками, которые приносили на станцию бабы.

Однажды я подобрал на площадке нашего вагона какого-то высокорослого старика в статском костюме. Он совершенно обессилел и почти умирал. Мы отогрели его, а главное дали ему возможность выспаться.

Это был член судебно-следственной комиссии, крупнейший помещик Хоперского округа, миллионер Иван Иванович Миронов.

Столь изменчива судьба!

Другой раз, выйдя из вагона ночью, я натолкнулся на человеческое тело, лежавшее поперек рельс.

— Видно, пьяный! — мелькнуло у меня в голове.

— Кончимшись! — сказал подоспевший сторож, осветив фонарем тело.

Наклонившись, я различил голову и туловище, отделенные друг от друга рельсой, возле которой на снегу чернело большое расплывчатое пятно — след крови. Я повернул голову лицом вверх и увидел пару мутных глазных яблок, совершенно выпяченных из орбит.

— Да ведь это подпоручик Иваницкий! — воскликнул я, узнав в мертвеце одного из своих подчиненных.

Несчастный, страдая тифом, час тому назад ушел из вагона и более не возвратился, сочтя за лучшее прекратить свои страдания с помощью вагонных колес.

Через несколько дней мы его хоронили в станице. Нашлось любящее женское сердце, которое даже в это ужасное время сумело явиться бог весть откуда в Тимашевскую, оплакать и снарядить покойного в далекий путь. Это была сестра милосердия Диана Дюбуа, участница корниловских походов.

Мы, судейские, сами пели на похоронах вместо хора и, не взирая на ужас собственного своего положения, не могли удержаться от слез, видя трогательное прощание несчастной женщины с прахом любимого человека.

Старик Миронов ожил, юноша Иваницкий погиб. Идя с похорон, мы не могли решить, кто из них счастливее.

Разгром Буденным кубанцев все-таки не вызвал в белом стане немедленной катастрофы. Донцы загородили дорогу на Екатеринодар, заняв позицию вдоль степной речки Челбас. Произошла маленькая передышка, так как красная конница, утомленная беспрерывным движением, видимо, решила отдохнуть.

26 февраля ген. Сидорин предполагал отправиться в своем поезде в столицу Вольной Кубани. Я и ген. Петров тоже

решили проехаться туда. Председателю хотелось навестить свою семью, меня же сильно подмывало расспросить Н. В. Чайковского о событиях на моей родине, в Архангельской губернии. Бывший глава северного правительства прибыл теперь на юг и занял пост министра без портфеля в южно-русском правительстве.

На нашу беду командарм изменил свое решение и не уехал, а улетел в Екатеринодар на аэроплане.

Вечером стало известно, что скоро отправится в Екатеринодар бронепоезд, носящий гордое название «На Москву». Мы с ген. Петровым, ежась от холода, залезли на площадку первого же попавшегося вагона бронепоезда.

Дул порывистый ветер. В моменты затишья мы стали улавливать какой-то несуразный гул, доносившийся из вагона. Не то пели, не то кричали, но как-то не по-человечески.

Вдруг распахнулась дверь и вместе с волною теплого, пропитанного спиртом и табаком воздуха, нас обдало целое море звуков. В вагоне, несомненно, шла пирушка.

— Здесь офицерское собрание... Тут нельзя стоять... Эй, живо, эвакуируйся! — с присвистом закричал какой-то офицер, вывалившийся из-за двери.

Мы назвали себя. Он притих и исчез за дверью. Через минуту его фигура снова появилась перед нами, но уже почтительно выпрямившись.

— Командир бронепоезда, господа, будет очень рад вас видеть. У нас сейчас ужин с возлиянием, так как только-что получили десять ведер спирту для технических надобностей.

Войдя в вагон, мы увидели за маленькими столиками десятка три совершенно пьяных офицеров. Солдаты прислуживали им, то и дело принося из-за перегородки новые закуски и полные графины, которые опустошались с головокружительной быстротой.

Командир, молоденький капитан, со значком Павловского военного училища, поспешил усадить нас за свой стол и похвастаться своими заслугами:

— Это мы брали Ростов с марковцами. То-есть они атаковали, чорт возьми, а мы били по городу из орудий Канэ. Теперь едем чиниться в Новороссийск. И отдохнуть немного. Надо же нам, чорт возьми, передышку. А потом наш «На Москву» двинется снова на Москву. Хорошо наше имя? «Ннна Москву!» Одно наше имя пугает красных, распротак их душу так... Сегодня же гуляем и пьем, еле можахом... Господа, чарочку гостям.

Он поднялся и, покачиваясь, начал дирижировать пьяным хором.

Спели чарочку и прокричали ура.

— Донцы? — спрашивали из дальних углов.

— Донцы.

Эх, не за Троцкого,
Не за Ленина, —
За донского казака
За Каледина, —

бессвязно прохрипело несколько пьяных глоток.

Едва прозвучало последнее слово куплета на мотив «Яблочка», как дремавший возле окна, совершенно осоловелый офицер вскочил, как ужаленный, и, неистово хлопнув кулаком о деревянный столик, завопил на тот же лад, как бы продолжая песню:

Я на бочке сижу
И кричу народу:
Распротак вашу мать
За вашу свободу!

Под хохот и аплодисменты он обвел собрание диким взглядом, выругался и бухнул за стол. Через минуту он снова дремал, уткнувшись лицом в руки, сложенные на столе.

Мало кто слышал, как поезд тронулся и поплелся почти шагом в Екатеринодар.

Командира, уже в пути, солдаты увели под руки в свой вагон. Другие с трудом уходили сами. Про нас забыли. За неимением других логовищ, мы кое-как улеглись на столиках.

Посередине пути поезд сошел с рельс. Утром все ликовали, что отделались таким пустяком. Машинист и его помощники пили не хуже других, и можно было ожидать более скверной истории.[1]

На этом бронепоезде служил добровольцем профессор Даватц, который впоследствии, в эмиграции, написал немало гимнов в честь защитников великой и неделимой, облекая их подвиги легендарным туманом.

По адресу своих сподвижников по бронепоезду он тоже рассыпал множество похвал в печати... Я, к сожалению, имел случай наблюдать только ту их работу, которая не заслуживает восторженных отзывов.

В Екатеринодаре происходило вавилонское столпотворение. Через весь город, с востока на запад, уже пятый день тянулась бесконечная лента обозов. Преобладали

---

[1] В гражданскую войну машинистами на бронепоездах были офицеры в виду того, что опасались измены железнодорожников, что неоднократно и случалось. Так, весною 1919 года со станции Глубокой ушел к большевикам донской бронепоезд «Атаман Назаров»; его увел машинист, воспользовавшись случаем, когда офицеры ушли с паровоза.

калмыцкие кибитки. Все население Сальского округа по приказу своего «бога», окружного атамана ген. Рындина, снялось с мест со своим скотом и домашним скарбом и бросилось в неведомую даль. Екатеринодарцы с изумлением смотрели на желтолицых детей степи, в которых теперь проснулся дух предков-кочевников.

Необычайное зрелище сейчас же нашло отражение в местной прессе. Его воспели даже в стихах:

Вчера у нас был карнавал,
Какого, смею поручиться,
Париж ни разу не видал,
Не наблюдали Рим и Ницца.
По нашим улицам ползли
Коврами крытые кибитки
И в край неведомый везли
Детей, и женщин, и пожитки.
Неся с достоинством горбы,
Верблюды плыли вереницей;
За каждым шел, сойдя с арбы,
Его хозяин желтолицый.
Куда стремится этот люд,
В какую весь, в какую землю?
За всех ответил мне верблюд:
— Я коммунизма не приемлю.

На другой день я разыскал Н. В. Чайковского. Он приехал из Парижа и жил в одной квартире с молодым полковником Павловским, бывшим соратником ген. Перхурова по организации ярославского восстания и будущим сподвижником Савинкова по формированию повстанческих отрядов на Украине.

— Представитель адмирала Колчака в Париже, — отрекомендовался мне Павловский.

Чайковский (иногда его звали «дедушка русской революции») встретил меня очень мило и просто.

— Моисей! — приходило в голову при виде этого старца, с большой окладистой бородой, так похожего на известную статую Микель-Анджело.

Но в нем уже угас вдохновенный огонь энтузиаста. Годы изгнания превратили старого революционера в спокойного кабинетного политика. Рассказав мне довольно подробно все перипетии борьбы с большевиками на севере, Чайковский о настоящем моменте ничего не сообщил, так как сам не особенно хорошо знал, что сейчас происходит в Архангельске.

— Знаю, что фронт дрогнул, и жду подробных сведений из Парижа. Когда я уезжал из Архангельска, там все обстояло благополучно.

— А, скажите, что теперь намерен предпринимать Деникин? Куда он денет эту полумиллионную армию беженцев

и солдат? Почему бы не начать переговоры с большевиками? Опыт показал полное наше бессилие. Дальнейшая борьба вызовет только бессмысленные жертвы.

— Боже сохрани армию от таких взглядов, как ваши. В руках Деникина есть Крым. Наиболее боеспособные части армии можно перевести туда и продолжать начатое дело. Крым нам нужен как очаг, хотя бы самый маленький, для того, чтобы здесь тлела антибольшевистская искра. Надо, чтобы Европа видела, что русский народ не мирится с большевиками.

— А разве, Николай Васильевич, на севере местное население принимало какое-либо участие в белом движении? Приходится констатировать, что и здесь, на юге, широкие народные массы не шли за Деникиным.

Старик, вместо опровержения моих слов фактами, начал развивать такую теорию, по которой выходило, что русский народ исповедует эс-эровский символ веры.

Тут я невольно вспомнил слова ген. Свечина, который, по возвращении в апреле 1919 г. из Парижа, в докладе Кругу так охарактеризовал Чайковского:

— Он не знает России и ее настоящего, так как сорок лет прожил за границей.

Эс-эровщина вообще в данный момент выплыла на поверхность взбаламученного южно-русского моря, как неизбежный продукт разложения белого стана.

Деникин окончательно на все махнул рукой. В январе он еще хорохорился. Объявил даже войну Грузии только из-за того, что партия каких-то бродяг перешла границу.

Теперь он опустил вожжи и плыл по течению, заботясь только о том, чтобы в критический момент обеспечить пароходы «единонеделимцам» и своим «цветным войскам».

С навязанным ему южно-русским правительством он не имел никакой органической связи.[1]

Эс-эрствующим открылась, хотя и на короткое время, арена для обнаружения своих талантов. Они не пропустили случая. Погибающая русская Вандея в этот миг покрылась сверху эс-эровской краснотой, столь же неестественной, как румянец на лице чахоточного.

В прежнее время Осваг беспрестанно сообщал, со слов «военнопленных» или «прибывших из России лиц», что Совдепии народ жаждет твердой единоличной власти,

---

[1] До какой степени были непримиримы взгляды Деникина, показывает его приказ от 18 февраля 1920 г. о том, что законы об амнистии, изданные правительствами казачьих областей, он не признает и не допустит зачисления в ряды войск лиц, амнистированных казачьими правительствами. Даже в такой момент, стоя во главе казачьего юга, он подчеркивал свое презрение к проявлению казачьей самостоятельности.

желает выкупить помещичью землю и закрепить ее за собою с помощью гербовой бумаги и т. д. Теперь, с появлением на клочке Кубани демократического «общерусского» правительства, изменились и чаяния русского народа. Теперь, оказывается, подавай ему Учредиловку, подавай землю безвозмездно и в придачу к земле подавай еще всякие демократические свободы.

В феврале екатеринодарские газеты сообщали о захвате в плен донской партизанской бригадой начальника 28-й советской дивизии латыша Азина. Потом, яко-бы со слов этого пленника, писали, что Красная армия войны продолжать не может вследствие массового дезертирства, голода заболеваний, отсутствия обмундирования, что искреннее настроение и желание 99% населения Советской России покоится в лозунге: «Долой коммуну с самодержавными комиссарами. Да здравствует Учредительное Собрание».[1]

Азину приписали целую проповедь эс-эровских идей, которую приводит в своей книге «В стане белых» Г. Н Раковский.[2]

«Вестник Верховного Круга» в передовице, посвященной Азину, ликовал:

В Советской России народ отстаивает те же идеалы, что и армии юга России. — Красные и белые уничтожают друг друга по какому-то жуткому недоразумению, в поддерживании которого заинтересован кто-то третий. В первом пункте обращения Азина к красным войскам говорится: желание масс и цели борьбы, наши и деникинские, одни и те же. Мы уверены, что красноармейцы поверят искренним заявлениям Азина и бросят штыки.[3]

Сфабрикованное воззвание Азина к красноармейцам напечатали во множестве экземпляров и очень усердно развешивали в более видных пунктах, перед сдачей их неприятелю.

Авось подействует и вызовет «внутренний взрыв», о котором все время мечтали эс-эры!

Они очень ловко спекульнули именем злополучного начдива, в действительности, очень быстро расстрелянного вскоре же после пленения. Мертвец ведь не мог опровергнуть того, что ему приписывали.

27 февраля южно-русское правительство объявило программу своих работ. Фронт в это время совсем приблизился к Екатеринодару. Красные части перешли речку Челбас. Сидорин попытался последний раз толкнуть свои войска в бой, сосредоточил большие массы конницы против крас-

[1] «Вестник Верховного Круга», 1920 г., № 30.
[2] Издана в 1920 г. в г. Константинополе на средства эс-эров.
[3] Та же газета, № 33.

ных, — и в результате едва сам не попал в плен. Донцы тоже утратили боеспособность и могли двигаться по инерции только в одном направлении — назад!

Шкуро, не сумевший увлечь своих родных кубанцев на борьбу, 17 февраля получил от Деникина задание формировать партизанские отряды. Народ не хотел воевать. Как всегда, последнюю надежду возлагали на партизан.

Но и Шкуро ничего не мог сделать. Кто хотел грабить, предпочитал итти не к «волкам», которых иногда гоняли в бой, а к шайкам зеленых.

Ген. Улагай принял командование кубанской «армией», т.-е. разогнанным у Белой Глины сбродом, который в панике утекал в Усть-Лабу, чтобы поскорее перебраться через Кубань и драпать через горы на побережье. Единственное боевое распоряжение нового командарма заключалось в приказе своему поезду возможно скорее выбираться в Екатеринодар, подальше от своей армии.

Ловкий предприниматель, полк. М. Н. Гнилорыбов, тоже «формировал», т.-е. получил деньги на формирование «отряда Верховного Круга».

Южно-русский белый стан явно заканчивал свое существование. Но, умирая, оставался верен себе: политиканствовал до конца.

1 марта, за два дня до сдачи Екатеринодара, открылась 4-я сессия Краевой (Чрезвычайной) Рады!

Добрых две трети кубанской земли уже находились в руках врага. Съехалось лишь сто четырнадцать депутатов, менее половины. Но говорильный зуд был так велик, что и эта горсть признала себя правомочным законодательным органом и начала работать языком. Катастрофическое положение мало трогало этих людей, не допускавших даже мысли, чтобы кто-нибудь когда-нибудь заткнул им навсегда глотки.

— Наблюдаемое сейчас движение на улицах Екатеринодара является стихийным отливом, — радовал Раду вновь избранный глава правительства В. Н. Иванис. — Но достаточно одного толчка на фронте, чтобы большевистский фронт, остающийся уже несколько дней без перемен, покатился обратно. Кубанское правительство, если ему придется покинуть Екатеринодар, не уйдет в такие места, откуда бы оно не могло поддерживать связи с населением. Правительство пойдет навстречу фронту.

На 2-е марта Рада назначила пленарное заседание, но в этот день, вместо разговоров, пришлось укладывать пожитки.

Страдавшая запойной болтовней «цитатель народоправства» «проговорила» и свою столицу, и свою эфемерную государственность.

XXVII.

В ЗЕЛЕНОМ КОЛЬЦЕ.

Ничего нет ужаснее, как крик: — «Спасайся, кто может!». Он окончательно заглушает здравый смысл, убивает все человеческие чувства, превращает людское общество в дикое звериное стадо.

23 марта этот крик пронесся по Екатеринодару.

— За Кубань! — отозвалось эхо.

Десятки тысяч людей и десятки тысяч всяких экипажей, от изящных колясок до архаических калмыцких кибиток, устремились к заветному мосту.

Уже целую неделю перед тем обозы переправлялись через реку в большем или меньшем порядке. Теперь здесь возникла свалка.

Кубань раздулась от дождей, ливших в последние дни, и никого не пропускала через себя иначе, как по железнодорожному мосту.

4 марта в городе поднялись местные большевики и обстреляли переправу. Отступающие казачьи части даже не отстреливались, занятые разгромом винного склада на окраине Екатеринодара.

Самые трагические сцены разыгрались возле моста, когда распространилось известие, что больше никого не пропустят.

Одни бросались в воду и тонули. Другие, как безумные, все-таки лезли на мост, рассчитывая как-нибудь перебраться пешком. Офицеры, ехавшие с семьями, выскакивали из телег и, проклинаемые женами, не взирая на плач детей, кидались в кучу, рвавшуюся через мост.

Стоны, рев, проклятия...

Грянул взрыв.

Между правым и левым берегами разверзлась пропасть, разделившая человеческое стадо пополам. Для одних кончились скитания по Кубани; дальнейшая судьба их в руках победителя. Для других опять скорбный путь, голодный, мучительный, в беспросветную даль.

В Георгие-Афипской, в пятнадцати верстах от р. Кубани, столпились верхи всевеликого.

Кубанская армия, т.-е. банды кубанцев, не разбежавшихся по домам, перейдя в Усть-Лабинской Кубань, направилась горами к Туапсе, почти никем не преследуемая. На соединение со своим воинством поспешило и кубанское правительство, думавшее искать помощи у Грузии. Один только опереточный кубанский командарм ген. Улагай попал со своим поездом в гущу донцов.

Река Кубань задержала наступление красных лишь на несколько дней.

Деникину было бы в пору позаботиться о постепенной эвакуации своего бродячего государства в Крым, за границу или в Грузию, если только он не хотел сдаваться на милость победителя.

На деле вышло по-иному.

Деникин, плюнув на все, распорядился заготовить в Новороссийске пароходы только для корпуса Кутепова и для «единонеделимцев». Этих было не так уж много по сравнению с всевеликим.

Донские политические деятели еще чесали языки в Георгие-Афипской. Так как Верховный Круг перед самым бегством высказал недоверие Деникину, то донские «хузяева» считали, что не следует итти туда, куда повезут добровольцев, а надо двигаться за кубанцами, пробиваться в Грузию. Ведь это демократическое государство; когда-то окраина России, а теперь самостоятельная, меньшевистская республика. Она пособит демократам-казакам набраться силы и снова, после передышки, двинуться на добывание своих казачьих вольностей либо с помощью пушек, либо с помощью авторитета Лиги Наций.

Крым, напротив, пугал казачьих политиков. Сейчас там хозяйничал Слащев, двойник ген. Покровского. Только одна орловская история в Крыму несколько обнадеживала демократов. Вот что там случилось, по словам «Вестника Верховного Круга».

В то время, как Перекоп защищала горсть храбрецов, штабы пухли от укрывшихся в них дезертиров. Ген. Слащев отдал приказ об очистке тыловых учреждений и о борьбе с тыловой разрухой. Но принятые меры не дали должных результатов.

На фронт вместо здоровых комиссии направляли офицеров-инвалидов.

На ст. Джанкой ген. Слащев вышел к присланным из тыла офицерам и резко спросил:

— Что это за сволочь ко мне прислали?

Возмущенные офицеры заявили, что большинство из них ветераны германской войны, георгиевские кавалеры, и что подобная форма обращения недопустима. Слащев извинился и отдал распоряжение об отправке прибывших офицеров в госпиталя.

В это время были получены сведения о сдаче Одессы и о казнокрадстве высших начальствующих лиц. Среди крымских офицеров, недовольных Слащевым, началось брожение. В Симферополе возникла обер-офицерская организация, во главе с командиром 1-го Крымского добро-

вольческого полка капитаном Орловым. Последний издал следующий приказ:

«Исполняя долг перед нашей измученной родиной и приказы командира корпуса о водворении порядка в тылу, я признал необходимым произвести аресты лиц командного состава гарнизона г. Симферополя, систематически разлагавшего тыл. Создавая армию порядка, приглашаю всех к честной, объединенной работе на общую пользу».

Вслед за тем, дабы прекратить безнаказанный грабеж высшими начальниками казенных денег и приобретение ими валюты, Орлов распорядился, чтобы банки и казначейства не выдавали частным лицам свыше 10 000 руб. и учреждениям свыше 50 000 руб.

Адмиралы, генералы и прочие воры всполошились. Они обрисовали Слащеву Орлова как большевика. Тщетно герцог Лейхтенбергский, служивший в полку Орлова, доказывал, что обер-офицерское движение есть естественный протест офицерских низов против потерявшего стыд и совесть генералитета. Слащев все-таки приказал схватить Орлова и повесить вместе с членами его семьи без суда и следствия.

Ген. Май-Маевский, пропивший Харьков, двинулся против Орлова из Севастополя и победителем вступил в Симферополь. Орлов ушел со своим отрядом в Ялту и Алушту. Завязались переговоры. Мятежник требовал удаления генерала Шиллинга, адм. Бубнова, Ненюкова и других казнокрадов.

В это время (в феврале) к берегам Крыма выехал со своими бандитами ген. Покровский. Безработный кондотьер предложил крымским генералам выловить мятежного капитана. Но, едва он высадился в Ялте, Орлов арестовал его, не причинив, впрочем, никакого вреда генералу-отвиселиц.

Когда против Орлова двинули значительные силы, он ушел в горы и скитался там весь 1920 год.

— Еще новый зеленый!—не без удовольствия сообщали демократические газеты.

Мы стояли в Георгие-Афипской. На севере, у Кубани, грохотали орудия красных; на юго-востоке, в предгорьях, зеленая армия Пилюка и других знаменитостей бомбардировала бегущие обозы и войска.

Ген. Сидорин отправил к ним для переговоров начальника политической части штаба Донской армии сотника графа Дю-Шайла, эс-эра. Возвратившись, этот посол сообщил, что зеленые стоят вполне на эс-эровской платформе, подлинные демократы, враги большевиков и контр-революционных генералов.

Однако эти единомышленники казачьих демократов почему-то отбивали казачьи обозы, грабили беженцев, обстреливали донские части и т. д.

Черноморская губерния все время зеленела, а теперь совсем заэсэрила. Добровольческий режим до того замучил здешних крестьян, что они с великой радостью давали убежище и считали своими друзьями всех, кого преследовала Доброволия, будь то остатки большевистских отрядов, дезертиры или уголовные преступники. Когда Доброволия расшибла голову на Украине, в Черноморской губ. воцарилась анархия. Эс-эры Филипповский и Воронович поспешили придать ей эс-эровскую окраску.[1] Они наспех сфабриковали какой-то съезд советов, который постановил объявить,—не много, не мало,—независимую черноморскую республику, завязать сношения с соседними государственными образованиями и начать наступление на Новороссийск.

Куда ни взглянешь, у демократического казачества везде союзники: Колька Орлов, сотник Пилюк, Филипповский и Воронович, эс-деки Грузии. Это ли не залог скорого торжества в России демократических идей!

Казачьи политики до конца жили в эмпиреях, а не в окружении действительности. Сидорин доказывал «хозяевам» бессмысленность разрыва с Деникиным и предостерегал от увлечения Грузией.

Но в Георгие-Афипской так и не могли решить, куда итти донскому казачеству. Предоставленное самому себе, оно катилось по инерции к морю. Мимо нас тянулись бесконечные вереницы всадников и пеших. За день их проходили тысячи.

Сколько живой силы! Сколько еще вполне здоровых, боеспособных людей! Нет, не количеством победили большевики белых, а революционным энтузиазмом и организованностью!

На станции скопилось такое множество поездов, что ни один из них не мог двинуться дальше по загроможденным путям. Пришлось произвести расчистку, сбросив под откос сотни полторы вагонов. Несколько поездов отправили в Новороссийск под охраной бронепоездов. Братья зеленые, число которых увеличивалось за счет своих же казаков, беспрерывно переходивших к ним, только тогда держались на почтительном расстоянии от железной дороги, когда видели жерла пушек.

---

[1] Черносотенная пресса, чтобы дискредитировать черноморское эс-эровское движение и придать ему большевистскую окраску, сообщила, что главным воротилой в Сочи является эс-эр Питирим Сорокин (профессор Петроградского университета), командированный из Москвы.

Начался голод. Станицу объели очень быстро. Хлеб не всегда удавалось достать. Про горячую пищу забыли. И все страстно жаждали конца этому великому безумию.

Благодушно себя чувствовали шустрые люди, которые запаслись спиртом в Екатеринодаре при разгроме склада. Отойдя в сторонку, они пили мертвую под неистовый грохот орудий.

Вон на шпалах развалился ражий детина. Это персона: член Круга от станицы Березовской. Законодатель только-что пропустил целый стакан чистого, неразбавленного, спирта и философствовал в компании молодых казачат:

— Я что? Народный избранник! Да-с, народный избранник, чорт вас всех съешь с потрохами. А допрежь того— в цирке Чинизелли акробатом служил. Разные фокусы могу отмочить. Революция стряслась, новый фокус выкинул: из акробата законодателем стал. Потому у нас на Дону демократия. Приехал в свою с дула заряжаемую господа бога нашего станицу Березовскую, стал всенародно номера показывать. Диву дивится народ. А тут выборы в Круг. Кого выбирать? Знамо дело, питерца! Он всякую науку произошел, в столице жил, людей видал, все знает. Вô я какой! Теперь и к Труцци не пойду, и к Соломонскому [1] не желаю. Теперь бы ежели что,—в Думу Государственную. Демократ я, во что! На Янова чихал, и на Харламова, чортова кадета, мне наплевать. Самому Краснову не уважу. Потому наша хопра [2] — демократы сто первой пробы.

Здесь, на глазах Сидорина, их, законодателей, пока еще не били.

Зато впоследствии, во время странствований по черноморскому побережью, казачья плеть проехалась не по одной законодательной спине.[3]

7 марта административной части штаба было объявлено, что завтра она должна покинуть вагоны и отступать пешим порядком. Подводы будут предоставлены только для вещей. Цель такого распоряжения: сохранить обоз на случай, если будет решено двигаться через горы в Туапсе.

Взбунтовались старики. В штабные вагоны набилось много штаб-офицеров, негодных для фронта и числившихся в резерве. Одни ранее служили на Дону по административной части, другие—в военно-полевых судах и т. д. Часов в девять вечера они поймали между вагонами дежурного генерала (начальника административной части) Рыковского и заголосили:

---

[1] Владелец цирка в Москве в дореволюционное время.

[2] Казаки Хоперского округа.

[3] Так, напр., около Сочи командир Калединовского полка Чапчиков избил члена Верховного Круга Прокоповича.

— Мы не в состоянии двигаться... Куда нам... Мы пропадем. Доложите Сидорину, чтобы нас отправили поездом в Новороссийск.

— Я не могу, не могу,—затараторил суетливый генерал. Я исполняю распоряжения командарма.

— Полно... Ведь вы свои люди: он ваш племянник... Одна лавочка.

— Прошу без оскорблений. Будет так, как приказано.

— А! Хотите бросить нас на произвол судьбы... Сами, небось, улепетнете. Вожди! Замарали нас, выпачкали в грязи, а теперь оставляете на расправу большевикам... Знали бы раньше...

Начался шум, послышались угрозы. Рыковский поспешил скрыться в свой вагон.

На утро—последний драп.

Драп по грязи, по всплывшей степи, под мартовским дождем.

Пешком старики, пешком женщины.

Мне и тут улыбнулась судьба. Наш следователь, есаул Калмыков, всеми правдами и неправдами ухитрился довести с Дону до Георгие-Афипской пару своих лошадей, из которых одну предоставил в мое распоряжение.

Когда мы выступили, красные переправлялись через Кубань.

Ген. Мандель, начальник донской бронепоездной бригады, руководивший взрывом моста, не сумел даже этого сделать как следует. Красные под лютым обстрелом ухитрились починить мост. Деморализованные донцы, увидя, что красные переходят через реку, в панике бежали.

Теперь командующий красными войсками составил вперед на неделю расписание побед и сообщил в Москву, когда победоносно вступит в Новороссийск.

Белых армий более не существовало. Остатки добровольцев, пробиравшихся к Новороссийску параллельно берегу Азовского моря, давно уже прекратили всякие боевые действия. Донцы катились колоссальной лавиной, никем не управляемые, не зная, куда они бегут и какова конечная цель их бегства.

Строевые части перегоняли свои обозы, штабы оказывались в передовой линии. Беженцы сплошь и рядом не могли распознать, кто скачет рядом с ними, свои ли, красные или зеленые. Все сбилось в чудовищную кучу.

Орудия и рядом с ними стада овец. Тут пала лошадь, там издыхает верблюд. Десятки и сотни повозок застревают в грязи и безжалостно бросаются со всем добром на произвол судьбы.

Винтовки, как мусор, валяются на земле.

— Чорт еще вас навязал на нашу шею!—злобно выкрикивают нервные люди по адресу калмыков, запрудивших всю степь.

От них нет проходу, нет проезду. Их допотопные арбы, запряженные волами, тащатся по железнодорожному полотну, разбивая его до основания, по обочинам, в стороне полотна, в двадцати саженях от него, везде, где только может ступить нога скотины. Аварии у них на каждом шагу. Сломается дощатое колесо, и конец движению. Желтолицая семья знает, что теперь ее ждет верная голодная смерть.

— Цоб—цобе!

— Цоб—цобе!

Этот пронзительный крик на волов и сопутствующий ему свист бича режут уши.

Печальная картина бегства!

Убийственна музыка драпа.

Полковница Т-ва, по первому мужу светлейшая княгиня Ливен, месит грязь подле своей телеги. Молодая, но желтая, поблекшая. В платке, в высоких мужских сапогах.

Кто бы признал ее за бывшую княгиню, да еще светлейшую?

Подол ее юбки треплется в липкой кубанской грязи. Вот она зацепилась за колючий кустарник. Задирается и трещит юбка. На кустарнике остается длинный лоскут.

— Ну и хвотография!—заливается молодой казачонок на неоседланной, видно, только-что украденной лошади.

Бывшая княгиня ничего не слышит. Выбиваясь из сил, она лупит своих одров аршинной хворостиной.

Миновали Северскую, катимся к Ильской.

А сзади в вечереющем воздухе сверкают зловещие метеоры.

Это гостинцы красных—рвущаяся шрапнель.

Стоп, остановка. Дальше нет пути. Где-то впереди овраг, в темноте через него не перебраться. Мигом образовался затор.

Вся мокрая степь покрылась, точно скатертью, сплошным морем повозок.

Я ездил на фуражировку в отдаленный хутор добывать хлеб и отбился от своих, попав в кашу. Чужие обозы затерли меня. Пришлось ночевать прямо на мокрой земле, рядом с лошадью, среди телег, тачанок, кибиток.

С рассветом, гнилым, чуть заметным, закопошилась степь. Точно гигантское чудовище, точно гад пресмыкающийся, поползла вся бесформенная масса туда, где чернели горы.

Снова серый день,—и голод. Снова ночь,—и убийственная дрожь в болотном ночлеге.

10 марта выглянуло солнышко.

— Цоб—цобе!

— Цоб—цобе!

— Долой с пути: сзади бронепоезд.

— Бум! Бум!—гудят орудия.

Трое суток одна и та же музыка.

Не доезжая трех верст до станицы Абинской, я свернул с железнодорожного пути, завидя вдали хутор. Уже надвигалась темнота.

— Эх, выспаться бы!

Других желаний не существовало. Даже голод при безумной усталости почти не беспокоил.

Хутор—пять или шесть пустых лачуг, в которых когда-то жили греки-колонисты. При демократической кубанской власти они разбежались.

Беженцы и здесь. Но я нашел сухое место под навесом. Привязал коня и завалился на сгнившее сено.

Тра-та-та... Что это за странный треск? Во сне или наяву?

Резкий, сухой выстрел из орудия Канэ, чуть не под самым хутором...

Это она, проклятая действительность!

Впереди Абинской кипит бой. Но и сзади, как эхо, отзываются орудия красных.

На Абинскую, залитую человеческим потоком, напали зеленые. Они спустились с гор еще с вечера и ночевали в станице, подчас в одних хатах с теми, на кого пришли охотиться. На рассвете часть их открыла пулеметный огонь, чтобы создать панику. Тысячи людей в безумном ужасе бросились вон из станицы, погоняя своих лошадей и волов. Этого только и ждали хищники. Бурей налетели они на беженскую ленту, разогнали и наспех ограбили людей, и погнали отбитые телеги в горы, в свои логовища.

Этим бандитам эс-эры старались пришпилить свой ярлык и обратить их в свою армию!

Дезорганизация в белых войсковых частях дошла до такой степени, что они даже не защищали свои собственные повозки.

Обнаглев, зеленые повели наступление на станцию, где стоял со своим штабом ген. Гусельщиков и куда только-что подошел сидоринский поезд, охраняемый ротой юнкеров и двумя бронепоездами: «Мстислав Удалой» и «Иоанн Калита».

Орудия Канэ,—солдаты их звали «коневые орудия»,—напугали нападавших. Конвойная сотня Гусельщикова догнала банду хищников, кого порубила, кого забрала в плен. «Стопобедный генерал» приказал тут же перестрелять всех пленников.

Этот абинский бой продолжался часа два. Я ожидал исхода его возле самой станицы, в цепи обозов, которые не могли пройти вперед из-за сражения.

Наконец все кончилось.

Я въехал в Абинскую.

Возле одной хаты, где хохлушка угостила меня куском хлеба, стояла двуколка, заваленная бумагами.

— Охвицери були... Як зашумели гармати, втикли на бричках. А це бросыли. Це, кажуть, барахло, не треба нам.

Я поинтересовался бумагами.

— Денежная приходо-расходная книга 34-го Донского Екатерининского полка! – гласил верхний фолиант.

— Без слов все понятно,—подумал я,—рапортами донесут, что зеленые отбили и деньги, и отчетность.

В Крымской, громадной станице в сорока пяти верстах от Новороссийска, царила невообразимая паника.

— Красные обходят дорогу с запада. Добровольцы бросили фронт и ушли грузиться в Новороссийск.

Лавина по инерции покатилась туда же.

Ах, удастся ли пробиться?

XXVIII.

НОВОРОССИЙСКАЯ КАТАСТРОФА.

В то время, как всевеликое блуждало по кубанским станицам, в Новороссийске свили себе безопасное гнездышко «единонеделимцы».

В феврале сюда беспрерывно приходили поезда. Все, что имело отношение к великой и неделимой, спешно эвакуировалось на самый последний этап.

Здесь под боком синело море. Десятки судов, русских и иностранных, в случае неустойки на Кубани, могли мигом вместить в себя тысчонок пять-десять патентованных патриотов и увезти их за тридевять земель и за тридевять морей от большевиков.

Многие сюда перекочевали прямо из Ростова. Другие — после маленькой остановки в Екатеринодаре.

«Вечернее Время» Бориса Суворина было тут как тут и не переставало спасать Россию.

«Жив Курилка!» писало демократическое «Утро Юга» в Екатеринодаре, посвящая неунывающему россиянину эпиграмму:

> Беспечен и задорен,
> Не ведая забот,
> Опять Борис Суворин
> Газету издает.

Живя в Новороссийске,
Спасает криком Русь.
Как встарь капитолийский
Неугомонный гусь.
Опять пылает гневом,
И в позе боевой
Опять грозит он левым
Своей передовой.
Помилуйте: ему ли
Тужить и горевать:
Он может и в Стамбуле
Газету издавать.

— Да, я не теряю надежды издавать «Вечернее Время» и в Царьграде и ничего не буду иметь против сотрудничества у меня автора этой эпиграммы, — ответил необидчивый Суворин-сын.

Вокруг Новороссийска уже пала власть Доброволии. Шайки зеленых кружились возле города, как голодные зимние стаи волков кругом человеческого жилища.

В ночь на 21 февраля ушли в горы из тюрьмы все заключенные, в числе четырехсот человек. Офицерская рота сбежалась по тревоге и прибыла к тюрьме, но нашла ее пустой.

Если бы не англичане, в городе давно хозяйничали бы зеленые.

Только британские дредноуты и отряд шотландских стрелков оберегали последний пункт деникинского государства на Кавказе.

«В Новороссийске последний центр монархизма», — писала «Вольная Кубань» еще в январе.

Правильнее было бы сказать:

— В Новороссийске, как в громадной клоаке, собрались все нечистоты белого стана.

Легальные дезертиры, акробаты благотворительности, безработные администраторы, политические деятели и прочая тыловая шпана «формировали» «крестоносные отряды», чтобы наживаться на выгодном деле и чтобы оправдать свое вечное пребывание в хороших городах в хорошем расстоянии от фронта.

«В целях усиления нашей героической армии, — сообщало «Вечернее Время» 10 января,[1] — в Новороссийске началось формирование отрядов крестоносцев. Один из руководителей этой организации, генерал-майор Максимов, сообщает: шесть месяцев тому назад в Одессе группой общественно-политических деятелей основано братство Св. Иоанна Воина, поставившее первоначально идейную борьбу с большевиками. Однако, жизнь вскоре подсказала,

---

[1] № 445, г. Новороссийск, ст. «Воздвижение Креста».

что одной идейной борьбы, т.-е. агитации, недостаточно и что надо с большевиками бороться и оружием (!). Возник проект организации отряда крестоносцев, воодушевленных не только политическими, но и религиозными идеалами. Главнокомандующий согласился, запись дала ощутительные результаты. Крестоносцы — уже реальная сила, которая с каждым днем все крепнет и увеличивается. В ближайшем времени крестоносцы будут сведены в крупную боевую часть и затем выступят на фронт с оружием в руках и с крестом в сердце. Наш отличительный знак — восьмиконечный крест на груди. Настроение крестоносцев — полное самоотвержение и готовность отдать во имя родины все. В сознании предстоящего им подвига крестоносцы постановили наложить на себя трехдневный пост, исповедаться и приобщиться св. таин. Первое официальное выступление крестоносцев в рядах войск предполагается 12 января, когда они примут участие в торжественном крестном ходе по случаю пребывания в Новороссийске чудотворной иконы курской божьей матери».

В присяге «крестоносцев» были знаменательные слова:

«Я обязуюсь ничего не присваивать себе безнаказанно из боевой добычи и удерживать от насилий и грабежа слабых духом».

Князь Павел Долгорукий тоже «формировал».

«В Новороссийске, — писало «Вечернее Время» 29 февраля,[1] — открылось общество формирования боевых отрядов для отправки их на фронт для пополнения частей Добровольческой армии. Задача — призывать всех русских людей, способных носить оружие, в грозный для России час не уклоняться от долга и поступать в отряды. Членский взнос — 100 руб. Членами могут быть как мужчины, так и женщины. Председатель правления кн. Павел Долгорукий. Товарищи председателя: ген. Обручев и профессор Маклецов. Члены правления Н. Ф. Езерский, П. Н. Богаевский, В. И. Снегирев».

Сам Борис Суворин тоже устроил покушение на обывательский карман, занявшись сбором пожертвований на «армию», которая бежала, бросая свои последние штаны, и отказывалась оборонять от зеленых телеги со своим собственным добром.

Но дураки в Новороссийске вывелись.

«Никто ничего не пожертвовал, — с грустью сетовал предприниматель, — зато в Екатеринодаре некий аферист, вымогавший с коммерсантов деньги путем подложного циркуляра, в котором была помещена угроза, что, в случае

[1] № 481.

неуплаты требуемой суммы, виновные будут преданы военно-полевому суду, умудрился собрать около миллиона рублей.[1]

Суворин напрасно ссылался на Екатеринодар и на прошлое.

Подобные «пожертвования» собирали с большим успехом тут же в Новороссийске всякие «крестоносцы», чины боевых отрядов и другие спасатели отечества, демонстрировавшие свою боевую готовность в церковных процессиях.

«Вчера днем, — писало то же «Вечернее Время» 10 марта, — на Серебряковской улице несколько лиц в офицерской форме подходили к группам спекулянтов и спрашивали, есть ли у них валюта. После утвердительного ответа лица в офицерской форме требовали показать валюту, а затем... преспокойно клали ее себе в карман, говоря: «Мы тебе, такому-сякому, покажем, как спекулировать». Спекуляция валютой, конечно, не может быть названа достойным занятием, но вряд ли таким именем может быть назван и грабеж среди бела дня».[2]

Деникин без зазрения совести назвал Новороссийск «тыловым вертепом».

Красные уже приближались к городу, а суворинцы не унывали. Великая и неделимая, кормившая их, еще, оказывается, не погибла. К. Острожский 10 марта твердо заявлял:

Пессимисты, число которых с каждым днем увеличивается, шепчут на всех перекрестках: —«Вот видите! Видите: хороши итоги». Но это не беда. Идея борьбы все-таки не умерла. До тех пор, пока остался в России хоть один человек, не желающий подчиняться диктатуре пролетариата, идея борьбы с насилием не умерла. Окончательные итоги подводить рано. Армия проходит сейчас свой самый тяжелый крестный путь. Но ее ждет светлое, радостное воскресение».[3]

За полной невозможностью обольщаться победами над большевиками, тыловой вертеп кичился успехами в войне с зелеными. Штаб главнокомандующего, перебравшийся сюда, 9 марта с самым серьезным видом сообщал:

«Наш отряд, продолжая наступление от Кабардинки (в двадцати верстах от Новороссийска) на Геленджик (в тридцати пяти верстах от того же города), весь день вел бой с зелеными, занимавшими высоты, и к вечеру занял Марьину Рощу. Захвачены пленные. Продолжая на-

---

[1] «Вечернее Время», Новороссийск, 1920 г., № 456.
[2] Та же газета, № 488, ст. «Итоги» Острожского.
[3] «Вечернее Время», от 10 марта, № 488.

ступление, наши части сбивали зеленых с высот и угоняли их в горы».[1]

Зеленых, которых так жаждали сделать своей армией эс-эры, еще могли бить деникинцы.

Наконец и в Новороссийске воздух стал очищаться.

Едва только красные обошли Крымскую, как всякие «крестоносцы», «формирователи», генералы-от-спекуляции, штаб-и обер-хулиганы, попы, грабители, дамы-патронессы, дамы-проститутки хлынули на приготовленные для них пароходы, таща за собой горы благоприобретенного под знаменами Деникина имущества. Когда бешеный поток беглецов докатился до Новороссийска, город уже опустел. Все, что имело отношение к Доброволии, или уже уплыло к берегам Крыма и Царьграда, или сидело на пароходах, любуясь той трагедией, первый акт которой разыгрался утром 13 марта.

Генерал Кельчевский, начальник штаба Донской армии, он же военный министр в южно-русском правительстве, прилетел в Новороссийск на аэроплане, чтобы хлопотать о пароходах для донцов. Политика уже была позабыта. Донская волна неудержимо катилась к Новороссийску. Никакая сила, — ни Сидорин, ни атаман, ни все триста членов Круга — не могла бы ее свернуть с торной дороги и направить на сочинское шоссе, минуя Новороссийск.

Деникин обещал...

Когда же всевеликое привалило в Новороссийск, ему предоставили... один пароход!

Утра 13 марта в жизнь не забыть. Десятки тысяч народу, конных и пеших, запрудили портовую набережную, атакуя пристани, возле которых грузились остатки великой и неделимой. Но донцы везде видели перед собой добровольческие пулеметы или штыки шотландских стрелков.

А из гор выплывали все новые и новые тысячи. Люди стремительно соскакивали с подвод, бросали все свое добро и поодиночке устремлялись к пристаням.

Тщетно!

В безумном ужасе иные бросались в воду. Упрямых сбрасывали с пристаней. Корниловцы утопили донского полковника:

— Самостийник, сволочь! Залез к гвардии.

Всевеликое, при грохоте английских пушек, пугавших зеленых,[2] металось из стороны в сторону. Искали атамана.

---

[1] «Вечернее Время», от 10 марта, № 488.

[2] Ген. Киийз, помощник Хольмана, заблаговременно объявил, что английская судовая артиллерия не допустит кого бы то ни было воспрепятствовать посадке на суда армии ген. Деникина.

Но он окопался на цементном заводе, вдали от города. Юнкера Атаманского училища охраняли его особу от изъявлений любви подданными. Англичане обеспечили ему место на пароходе «Барон Бек».

Отчаяние охватило толпы краснолампасников.[1]

— Так за какими же сволочами мы шли? Где же они, вожди? В какие заползли щели?

Это был день суда. Великого, страшного суда. Донское казачество получило возмездие за ту веру, за то ослепление, с которым оно воевало «до победы», следуя призыву генералов-честолюбцев и окопавшихся в тылу политиков.

Деникин и Романовский не доверяли «демократически организованному казачеству» и боялись взять его с собой. Политики всевеликого слишком долго ломались, вести ли свой «народ» в генеральский Крым или в «братскую» меньшевистскую Грузию.

Сатанел и генерал Кутепов. На Кубани ему, главе «цветных войск», пришлось подчиняться донскому командарму! Этого он не мог забыть.

Усевшись на пароходы, Доброволия наслаждалась своей страшной местью. Она свела счеты с вождями и политиками донского казачества. За грехи и ошибки этих последних расплатились низы.

Часть донцов ринулась в бедственный поход по сочинскому шоссе, вдоль берега моря. Ничтожное число их успело погрузиться. Глава английской миссии, ген. Хольман, сжалился над всевеликим, разрешив принять их на английские военные суда.

— А этот хлам куда? Вон!—закричал он, заметив, что на пароход втаскивают мешки с дензнаками.

Около 100 000 человек забрали красные в плен в самом Новороссийске и 22 000 в Кабардинке. Громадный процент здешних пленников составляли донцы.

Я выехал чудом.

Меня затерла толпа возле пристани Русского Общества пароходства и торговли. Несколько раз я летел в море, раза два меня сбивали с ног. Наконец, кое-как добравшись до каменной стены, ограничивающей набережную, я залез наверх ее и выбрался к английским складам.

Тут не было толпы. Тут хозяйничали отдельные личности. Кто тащил ворох шинелей или френчей. Кто тут же переодевался, сбрасывая на асфальтовый пол ужасающие лохмотья и вытаскивая из кип любую рубаху, любые штаны.

---

[1] Все донские казаки носят красные лампасы на брюках и шароварах.

Добрый дядя, король Англии, много навез сюда всякого хлама, оставшегося от мировой войны, в обмен на кубанский хлеб.

Англичан отсюда уже след простыл.

Выбравшись на станцию, я поплелся в город, пересекая сотни запасных путей и пролезая под опустелыми вагонами, возле которых валялись груды всякого имущества,

Я брел параллельно набережной, за спиною толпы. Тут же бродили тысячи брошенных лошадей, изнывавших от жажды. Мечась из стороны в сторону, они мяли груды всякого хозяйственного хлама, оставленного на земле. Их копыта нередко попирали то миски и тарелки, то священнические облачения и разные предметы культа. Спасая шкуры, обезумелые люди все оставляли на произвол судьбы.

Тупое безразличие к своей дальнейшей судьбе давно уже овладело мною. Предшествующие лишения, ряд бессонных ночей, хронический голод, полное физическое истощение обесценили жизнь, и как рукой сняло чувство страха перед пленением

Шатаясь от усталости, я прошел Серебряковку и свернул направо по Вельяминовской улице. Выбравшись за город, я разыскал отдельный домик, в котором жил мой давнишний друг, почтовый чиновник Н-ов, и, едва зайдя в квартиру, бухнул на кровать и впал в забытье под треск английских пушек.

Голос друга вернул меня к действительности:

— Вставай и беги немедленно.

В комнате тускло светит свеча. На улице тишина.

— Который час?

— Часов одиннадцать ночи. Не медли.

Я с изумлением смотрю на своего друга и не могу узнать его лица. Оно холодное, жестоко-неумолимое.

— Вставай и скорей уходи.

— Почему?

— Большевики входят в город. Уходи же, ради бога.

— Но куда?

— Куда хочешь, только из моей квартиры. Найдут тебя здесь, не сдобровать и мне.

Можно ли обижаться на обывательскую трусость людей, не причастных к гражданской распре? Каждому дорога своя жизнь, свое маленькое благополучие.

Вздох облегчения вырывается у моего друга, когда я поднялся с дивана.

— Счастливого пути... Прости, что я так...

Но я уже за дверью. На улице. Один в ночной темноте.

Один,—точно отверженный от всего человечества.

Сыро... Противно... Водянистую мглу разрезало только зарево громадного пожара в порту. Это горели склады английского добра, которое не успели погрузить.

— Стой! Кто идет?—чуть не над самым ухом раздается энергичный окрик.

Это застава марковцев. Они сторожат вход в город.

Я назвал себя. Пропустили.

Через квартал опять застава. Здесь те же марковцы, но говорят грубее.

— Назад! Не можем пропустить. Движение пешеходов запрещено.

На мое счастье по улице, направляясь к городским пристаням возле мола, пробирался мимо заставы броневик. Я шмыгнул сбоку и проскользнул.

На набережной копошится кучка людей. Я не решаюсь подойти. Гнать, думаю, будут. И вдруг они запели вполголоса донской «национальный» гимн.

Я опешил.

— Донцы?

— Донцы.

— Что тут за часть?

— Марковский полк.

— Какие же донцы в марковском полку?

— Мы только с полудня марковцы. «Нибилизованные». Они нас понахватали на улицах. Говорят: вас надо в наши руки взять, тогда вы станете солдатами. Нас тут целый взвод донской, во 2-й роте.

— А где ваш пароход?

— Тут возле мола. Пароход «Маргарита». Полк уже погрузился. Первый батальон в сторожевом охранении. Через два часа снимут посты и с богом в путь.

— Как бы мне, станичники, с вами?

— Будем рады-радешеньки. Свой ведь полковник под боком будет. Со своим легче. А то тут чужая братва.

Казаки указали мне, где найти командира полка, капитана Марченко. Это был долговязый, весьма надменный юноша.

— Объявляю вам, что вы отныне солдат 1-го офицерского марковского полка. Нам нужны люди. Пожалуйте в строй,—заявил он мне и крикнул стоявшему поблизости симпатичному, интеллигентному офицеру:

— Капитан Нижевский! У вас есть мобилизованные донцы, я сейчас мобилизовал для них командира.

Выслушав с великим изумлением эти речи, я заикнулся было о своей неприспособленности к строю и о своей основной профессии, но капитан Марченко меня живо осадил:

— Теперь судить некого. Теперь надо воевать. Война до победы.

И распорядился снабдить меня винтовкой и патронами.

— Вот и хорошо!—обрадовались казаки, узнав, что и меня «нибилизовали».—Что ж они, дурные, думают, что мы останемся у них служить? Дал бы бог доехать до каких-нибудь волостей, а там в два счета эвакуируемся от белых шапок. Аль не сумеем? Мы-то, всевеселое войско Донское?

В компании добродушных «козунь» я продежурил остаток ночи на улице. Они раздобыли мне и кружку, и ложку, и английскую сумку, подбирая это добро где-то поблизости, прямо с земли. А когда, перед рассветом, заставы сняли, я с ними же поднялся по сходням на палубу «Маргариты» и уместился на корме, с которой на город смотрело дюжины две пулеметов.

Порт попрежнему освещало зарево.

И долгое время после того, как пароход отделился от пристани и заковылял по Цемесской бухте, выбираясь в открытое море, столб пламени указывал то место, где испепелялось английское добро—цена крови, пролитой в братоубийственной войне белыми воинами.[1]

---

[1] Дальнейшие судьбы южно-русских контр-революционных армий описаны в книгах того же автора: «Под знаменем Врангеля», 1925 г., г. Ленинград, изд. «Прибой», и «В стране братушек», 1923 г., г. Москва, изд. «Московский Рабочий».

ОГЛАВЛЕНИЕ.